

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

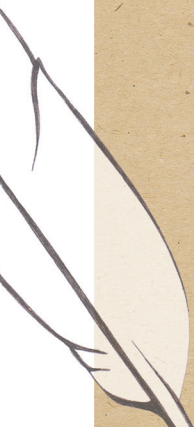
Журнал русской литературы

Книга десятая

(II - 2007)

Verlag "Partner"

2007



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ДЕСЯТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Елагина. Всё ещё возможно... <i>Стихи</i>	2
Дина Рубина. Фарфоровые затеи. <i>Рассказ</i>	9
Борис Хазанов. Полное собрание сочинений Тучина. <i>Рассказ</i>	27
Феликс Чечик. Тростник. <i>Стихи</i>	36
Леонид Левинзон. Коми-Африка. <i>Повесть</i>	42
Аркадий Бартов. Два рассказа из цикла «Восточные миниатюры»	89
Беседа достопочтенного Чеун Тая с юной Мей Су в ресторане «Лин Фэт»	
Обед в китайском ресторане	
Борис Юдин. Рассказы из цикла «Счастливые люди»	94
Они жили долго...	
Лётчики	
Дядя Вася	
Профессор	
Андрей Грязов. Три стихотворения	102
Хаим Соколин. Серая зона. <i>Роман (продолжение)</i>	104

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь Сухих. Сны Михаила Булгакова. <i>Сон первый: гибель Дома</i>	144
Самуил Лурье. Два эссе	156
Человек со вздохом	
Злак земной	
Майя Туровская. Заметки на полях «Еврейского века»	163
Леонид Гиршович. Эмиграция как уход из прямой речи в косвенную. <i>Интервью</i> ..	167
Беседа словенской переводчицы Лияны Деяк с Мариной Палей	170
Людмила Агеева. Траектория сострадания	176
Евгений Кочанов. Вращая разноцветный глобус (<i>продолжение</i>)	179

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Илья Мильштейн. Пародии	188
Коротко об авторах	199

Июнь, 2007

ВСЁ ЕЩЁ ВОЗМОЖНО...

* * *

Куда меня везет «двенадцатый» трамвай?
Опомнюсь, оглянусь – к Некрасовскому рынку...
Знакомые места. Как в юность ни играй,
Совсем другой мотив тягучая волынка
Выводит... Мхом оброс и ракушкой мешок
Шотландского шитья, наполненный дыханьем.
Ну что там – липов цвет набрать на посошок?
А может быть, сирень? С пугающим стараньем
Волынщик мой гудит... Все ниже, ниже звук,
Всё тоньше, тоньше нить, но всё острее зренья
Привязчивой души, свой обошедшей круг,
Но неспособной жить, как зверь, вне мест рожденья.

* * *

В промёрзшем Купчине, в простуженном, в навывлет
Проветренном, в продрогшем навсегда,
В промёрзшем Купчине, где снег на рельсах стынет
И замерзает на лету вода,
В промёрзшем Купчине я столько бедовала
С больным ребёнком, а потом с двумя...
Стихи писала, ссорилась, рыдала,
Три тыщи книг в болезных прочитала,
И против доли женской бунтовала...

...А оказалось – счастлива была.

* * *

Дорога забылась иль смылась, как грим,
И двор проходной оказался глухим.
Заминка. Зачем я свернула поспешно
Не в ту подворотню? Брандмауэр слеп.
И двор не колодец, скорее, а склеп,
И нежилью пахнет, как в старой скворешне.
Не память подводит, а время... И винт
С резьбою в разладе. Ушной лабиринт
Другую тональность в уме подбирает.

Покуда я выберусь... Но Минотавр
С улыбкою дикой, как оперный мавр,
«Молилась ли?» – шепчет. И горло сжимает.

Рождество

Снова хвойный дух растревожил твое нутро –
Так внезапно врезается в кожу болотный осот.
Видно, там и гнездится душа, где изъято ребро,
Потому как не только природа не терпит пустот.

Потому как хоть раз в году пропади и сгинь,
Бросив оземь нажитый трудно свой скарб земной.
Если слишком много проблем, то считай, что их нет – аминь! –
Кроме той, одной, для которой был создан Ной.

Ведь вступив в эту воду раз, не войдешь в другой.
Только в детстве думаешь – в жизни всё навсегда.
Поменяй глагол на тире, как «олим» на «гой»,
Поменяй и смотри, как блекнет к утру звезда.

День военно-морского флота

Октябрь уж наступил, как слон, на ухо лету,
Хоть на дворе июль струится и поёт,
И мальчик, дожевав дежурную котлету,
Боится прозевать всептичий перелёт.

Рябины рыжей гроздь, до времени созревшей,
Печалит и клонит о вечном размышлять,
И горестно пиит твердит о наболевшем,
Хабарик мнёт в горсти и шепчет: «... твою мать!...»

Я так тебя люблю, мой милый, что напрасны
Все доводы ума, мораль и прочий вздор,
И, как могу, таю от ока, ежечасно
Сулящего забвенье, гибель и разор.

А горло жжёт печаль очередной разлуки,
Вплетая давний вкус в истёртую канву,
И размыкает даль сомкнувшиеся руки,
Тишком входя в судьбу, как корабли в Неву.

Столичный житель мой, любовь провинциальна,
Как этот город, как парады на воде,
На скорости другой она живёт печальной
Стрельчихой без стрельца в забытой слободе.
И ходит за скотом, и ткёт холсты прилежно,
Смиреница... Персты бы только крепче сжать!
Октябрь уж наступил так искренно, так нежно,
Как дай вам только Бог, коль Он захочет дать...

* * *

Вот он, кармический узел, потуже того, что Гордий
Предлагал оппонентам... Рыдай теперь двое суток –
Ишь, как стягивается! Как точки, на кратчайшей, должно быть, хорде.
И рубцы с каждым днем отчётливей, сам посмотри, кроме шуток!

И каким усилием снимается, и каким неременным уроком –
Кто б сказал? О, какой Геракл намекнул хотя бы,
Сколько нужно терпеть, и каким избывается сроком
И какую болью обыденной дыбы, дабы

В наших следующих – поуспешнее – перерожденьях,
Никогда и нигде не приметили чтоб друг друга,
Чтобы разные страны сменялись во всех хожденьях-вожденьях,
Сферы жизни и прочие, скажем так, формы досуга...

Но боюсь, как зверей, что чуют друг друга за километры,
Нас потянет всё с той же давно наработанной кармой
Разбираться дальше – хоть в ураган сольются все ветры,
Но не выдуют из ноздрей ни запах борьбы, ни жар твой, ни жар мой.

* * *

Моей подружкой был бы самой лучшей,
И знал бы все дела мои и тайны,
И так бы утешал меня прилежно
В несчастьях и в романах бесконечных,
Извилистых, как тело танцовщицы,
Как на ладони линии судьбы,
И столь же безнадёжных, как погода
Для высеванья выгодных озимых
В нечернозёмной нашей полосе...

Так нет!
Полез зачем-то целоваться
И все испортил!
Вот какой дурак...

* * *

Теперь и улицу эту себе не представить без случайной встречи
На одном и том же по-гоголевски заколдованном месте
У газетного киоска с усатым хлопцем в окошке времён Запорожской сечи –
Что за сладкое чувство вины набухает общею кровью, как при инцесте?

Безответная дружба бывает ли, юный мой друг, скажи мне?
И на что она всё-таки, если бывает, бывает похожа?
О, как фальшивят два слога в дряхлом, как юность Эллады, гимне,
Славящем душ и умов слиянье, а вовсе не тел и кожи.

Ах, как фальшивят они, как сияет фиксою это
В белозубой улыбке жизни искреннее подвиранье,

Так хромает привычная форма у псевдосонета,
Так безупречный торс в мастерской бутафорски венчают рванью.

В этой разрухе, витающей в воздухе, словно
Вирус заморского гриппа иль палочка старомодной чахотки,
Не остаётся сил следить за новой весною, любовно
Заметающей снегом единственность каждой своей походки.

Не остается времени видеть, как вновь трудолюбивым мулом
Провиденье залатывает щель, возникшую между
Здравым смыслом и тем, как звенит саранчовым назойливым гулом
Перерезаемая ходом трамвая, но выживающая вопреки всему надежда.

* * *

Потерявши скальп, не плачут по волосам,
Потерявши клан, не хнычут: народ, мол, зверь,
И пока медовуха течет по твоим усам,
Сам найдёшь, что ответить, найдёшь, что сказать, поверь.

Сам поймёшь, чем встретить тяжёлый прищур зимы,
Снег в запавших глазницах и в оспе морозной твердь,
И пока хороши блины у любой кумы,
И пока лишь с чужими внезапно случается смерть,

Всё ещё возможно, ещё поправимо, как
Поправима глина до обжига, как зима
Поправима весной. Не упрямясь, отшельник-рак.
Лишь любовь непоправима, незряча, нема...

* * *

То, от чего в двадцать лет рыдаешь
и жить не хочешь, о Боже правый,
в пятьдесят если и вызовет слёзы,
то лишь от смеха,
потому что давно уже всё отклассифицировано:
все обманы, а также отравы
рядом с противоядиями по полкам расставлены.
И любая помеха, прореха
тут же будет заштопана
или долгом твоим перед ближним,
или иронией,
или обязательствами перед –
бери-ка, мой друг, повыше!
И такая тоска вдруг нахлынет,
как в Заречье, в каком-нибудь Нижнем,
беспросветная –
наперёд всё знаешь:
где прохудится крыша,
и какая спица вывалится в велосипеде,
и какая курица в лаз удерёт к соседям,

что и жить не хочется дальше,
и то же отчаянье, то же,
как в какие-нибудь двадцать лет,
когда всё – впервые,
и в кармане твоём свежий
незахватанный вовсе ещё билет
на проезд
на все виды транспорта
на всех континентах мира,
когда цель, как у Бога –
любовь,
а не как у лысого члена СП –
полудохлая
коммунальная лира.
Когда то, что твой друг обронил
между прочим о фигуре твоей – важнее
и Монтеня опытов
и Нострадамуса предсказаний,
когда небо – синее,
а весенняя зелень – нежнее,
когда ещё не знаешь,
что нет в этом мире ничего нужнее
обыкновенных
невзрачных,
непрошенных
наших
страданий...

* * *

Т.К.

Исчисляя жизни знаковое письмо,
Продираясь к лику сквозь луковую шелуху личин,
Обнаруживаешь: настроенье исправляется вдруг само,
Вне любых понятных сознанию причин:

То ли удача такая, что меньше магнитных бурь,
То ли звонков особых больше хоть на один,
Замечаешь вдруг в небе лермонтовскую лазурь,
А на земле – вполне терпимых мужчин.

Чёрт его знает, отчего наше сердце вдруг начинает петь,
Оттого ли, что химия жизни сдвинулась, оттого ль,
Что каких-то соединений стало больше на четверть или на треть,
Оттого ль, что несчастья вконец отвердела мозоль?

* * *

Выбирай между мраком и тьмой,
Выбирай между мором и гладом,
Между Питером и Ленинградом,
А ещё меж тюрьмой и сумой.

А ещё между страхом не жить
И несчастьем дожить до маразма,
Горловые залечивай спазмы,
Ухватившись за липкую нить.

Выбирай, коли дал тебе Бог –
Нет, не время, а бремя свободы
Выбирать – то ли неба клочок,
То ли душу обьяввшие воды,
Что просвет заполняют собой
Между Ждановкой и Иорданом,
Меж Евангелием и Кораном,

А ещё между мраком и тьмой...

* * *

Когда шапка Мономаха невидимкой становится в одночасье,
Когда скатерь-самобранка улетает ковром-самолётом,
Когда двое из ларца не способны добавить счастья
Никакими усилиями, никаким премиальным лотом,

Когда гуси-лебеди заклевали твою удачу,
А емелина щука золотую твою рыбку съела,
Когда жалкую мелочь тебе выдают на сдачу
И не ладится давно никакое благое дело –

Это значит одно: пора изменить хоть что-то
В отношениях с миром. Конкретно себе задачу
Обозначь и действуй, как на равнине пехота,
Изменяя рельеф. И систему мифов в придачу.

* * *

А.А. Нейхардт

Чувство дня недели. Зрительное. Со времён школьного дневника:
Среда – это слева внизу. Воскресенье – вообще вне страницы.
А ещё о среде – помните? – стихотворение Маршака...
О, как блестят на солнце времени перелётные спицы!
Как в пластилиновом мультфильме постоянно видоизменяется
последняя цифра на обложках календарей,
И уносятся вдаль високосных лет столбы верстовые!
Неужели из одной стороны налетают Аквилон и Борей,
Перекручивая на ходу свои не по годам любопытные выи?
Как могли эти греки так мужественно жизнь любить,
В предчувствии Леты, трепеща от рассказов тени Ахилла:
«Лучше здесь, на земле последним батраком быть, чем в Аиде царить»...
Как только жили они без нашего христианского чувства тыла?
Без вечной наглой надежды – Христос спасёт!
Без свидетельств очевидцев, побывавших за пазухой у клинической смерти,
Где душа и тело впервые садятся за табльдот,

Заговаривая зубы себе надёжным, как страховка, «верьте!»
А может быть, «верую»? Откуда покуда нам знать
Эти тонкости, нам, до поры не ведающим, каково там на самом деле
бывает,
Даже если, как сало из нутра Каштанки, тебя доктора за ниточку
вытягивают вспять,
даже если чувство времени насквозь тебя продувает...

* * *

А что останется? Две-три, ну, пять прогулок,
Канал, решётка, запах вод сырой,
И неприметный этот переулок,
И небо с вечно-серой пеленой.

Все так законченно и так угодно глазу –
Природы с городом – мираж? слиянье? блажь?
И вспоминаешь пришвинскую фразу
О родине...

Она всегда – пейзаж...

* * *

Памяти О. Бешенковской

Невнятица словес и быстрый наговор,
Грамматики разлад – фальшивит пианино,
Но на таких как раз судьбе наперекор
Играет мудрый джаз, когда душе пустынно.
Вот на таких, где сдвиг на звуке, на струне,
На клавише – в зазор вмещается пространство
Судьбы, души, любви и счастливо вполне,
И дышит, и живёт геройством новых странствий.
Пока хрипит трубочка и пианист горазд
На трелях выжимать единственную ноту,
Пока трубит трубочка, пока играет джаз,
Пока блестят лицо и лысина от пота,
И пузырится звук, вскипая на губах,
И рвётся из-под рук, и стонет в новой гамме.
И стих, как этот джаз, с гармонией в ладах,
С капризами судьбы и с терпкими словами.

ФАРФОРОВЫЕ ЗАТЕИ

РАССКАЗ

Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой

Она крошечная, смуглая, иссушённая, словно обжиг прошла. Седая косица, заплетённая сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.

1

Просто жизнь

– ...Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому... Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка... На-страдалась от добрых людей...

Что это за свёртки ты вытаскиваешь, какого чёрта? У меня всё есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь, сиди голодной... Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет – это уже не возраст, это эпоха...

...Пойдём, сядем на диван... он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упростила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но всё ж поехал.

Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно, чтоб раскладывался? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берём!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится всё это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон, любая старуха тут, на лавочке, – она тебе интереснее расскажет... Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя, вот знаешь что – этому президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моём сне спас Гулю от наводнения... Серьёзно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остаётся за бортом. И знаешь, мы плывём, а Гуля – за лодкой, и лает, и стонет... У меня просто сердце рывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой, – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да, – и забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи – как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит – ведь ему вряд ли дадут сделать что-то хорошее. Потому что он не может окружить себя теми, кто умеет что-то делать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? – Парни с его двора, говнюки какие-нибудь... Ты как относишься к плохим словам?

– К матерным?

– Ну да.

– Хорошо отношусь. Это же определённая эмоциональная краска в разговоре, иногда вещь необходимая.

– А я могу и без них вытерпливать. Немного, но могу.

– ...и Раневская ваша, вот тоже...

– ...да, доктор Бакулев знаменитый однажды был приглашён к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил её очень... Мы с ней сделали обед, такой – приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял... Пришёл, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

– «Александр Николаевич, не сру!»

– «Сейчас посмотрим».

– «Что – посмотрим?!»

– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопку... Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы – легенда, так сказать, российского фарфора – дали на неё согласие... Я вот, знаете, долго не могла придумать – с чего разговор начать... А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые я с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала...

– ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый, семьдесят лет – это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и – никуда от неё не деться...

– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

– Чего ты не можешь, дура! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове...»? А кстати, родилась-то я – знаешь, где? В Пензе... Дед был – миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе... После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?» ... Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

А в Пензе... там был большой дом?

Ну, был домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж... А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, неродной, сын моей тётки Полюси... Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тётя Полюси стояла такая величаявая, она у нас дородная была, в отличие от Саши...

– А... Саша?

– Саша – это моя мать. Я её всю жизнь называла – «Саша». Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

– Как это – свистела?

– погоди, не плунтайся под ногами... Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень большая, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!» ... Я – про что? ... Да: так тётя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева... в разные стороны так разбегалась... И она стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках... Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо про себя говорила: «А мне – ничего»... И всё думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо... Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальни... тяжёлый, сволочь!

– Это вы – чтоб брата зарубить?

– Ну, само собой... Да, тащу топор... А наверху меня уже нянька моя Настя поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты тащишь ночью топор?» Я говорю: «Оську убить. Помоги мне, я не могу, он тяжёлый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать... Грех это... Ежли родился, пускай живёт...

– И вы смирились?

– Не сразу. Приходили всё новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то в смокинге, не то во фраке... Кудрявый.

– Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?

И я ему раскрыла сердце.

– Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привёз гостинец!» Открыл коробку – и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравы, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешёвая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дорожке её у меня не было. И на этом кончились мои страдания... Я ведь вообще – в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, тёплое, оно так ни-изенько висело... и я подошла и вот так подставила руку, и оно, опушённое какой-то нежной пыльцой, такое... под-линное... оно село мне в руку, улеглось... понимаешь? – не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь... Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. Это было такое мощное восторженное ощущение жизни...

И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шёл всеобщий любимец селезень Васька... Шёл себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепелённая шейка, глаз такой весёлый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шёл в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлеба каждый день. Все его любили. Получив гонорар, отправлялся к своим... Я увидела, что Васька идёт в кухню, подумала, не буду ему мешать, обожду здесь... И села в траву... А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущённо и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй», – и что-то бросила мне в руки, холодное, мокрое. Я вышла на улицу, где было светло, – разглядеть... Это была Васина головка. Ладонь омочилась его кровью, белая плёнка закрыла глазки... Я даже не плакала, я онемела. Не-

сколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неопи-
суемой красоты... я не могу тебе даже объяснить – что это для меня было...

пауза

– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко... а что, революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал...
Ваша семья...

– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алупке, в частном пансионе – у Саши были слабые легкие.

Хозяином этого пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной разбойной бородой... У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где приговорили Фрунзе к смертной казни, он того отбил.

– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе...

Ну, и отец повёз меня на поезде в Алупку, к Саше. Тащились несколько недель, время-то было опасное, глумливое... Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи здесь есть? Выходи!» Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведёте?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот не пригодится ли вам эта вещица? Смотрите, какие драконы на ней великолепные, какая тонкая работа...» Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный благоуханных отцовских папирос, буркнул: «Ладно, проваливайте, пока не смотрю!..»

И мы с отцом бросились бежать... А ту, другую семью, голь перекатную, понятно – куда повели...

И вот, не помню уж, как, – добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, прошли через огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная показала её комнату... Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела...

– Что-что?! Погодите, я н-не совсем...

– Мне было шесть лет... И мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной её стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И только когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела...

Я робко к Саше приблизилась... Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьём в поездах, да еще после того налёта спали где попало, скитались по сёлам, добирались на попутных шарабанах... можно вообразить – во что превратилась моя, и без того всклокоченная, голова. Саша подошла поближе, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела меня мыться...

И всё это уже было счастьем... Дивный парк... Море...

– В те годы там жилали многие замечательные люди?..

– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы – с семнадцатого по двадцать пятый – многие интеллигенты скопились в Крыму – в Коктебеле, в пансионатах в Алупке, Мисхоре... были там и Аверченко, и Тэффи, Волошин... всех не перечтёшь – очень благородная публика. Я при них там крутилась... И ещё были дети...

Мы учились там, знаешь?. Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева... Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас всё это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева. Она поставила вазу на лавку, и в ней три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны...

«Где ты их увидела?» – спросила меня Хотяинцева.

«А мне так хочется!»

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

– Угадала...

– Да, вот такие люди... Поэтому-то и говорю таким языком – их языком... А Саша свистела... Она божественно свистела!

– Да что это значит, наконец?!

– Пока Саша была в Италии, кто-то научил её свистеть не открывая рта. Она божественно свистела! Казалось, что звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невежей!» ... Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземую, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья... А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, всё надеялись... Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...»

– Сколько же километров вы отмахивали?

– До Мисхора не так много... Каждый день в оба конца... Саша делала всё, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

– А было голодное время?

– Совсем голодное... Опухшие трупы на улицах.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» – «Как это – «мимо»? – удивилась она. – «Ну, вот я расту себе, пью, гуляю... а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер... это ощущение опустошённости – как влетала и вылетала из окна лёгкая тюлевая занавеска. И ни единого звука... «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

– Сколько вы пробыли в Крыму?

– В двадцать первом году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сперва в Алупке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра... Потом приехал её муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву... двадцать четыре дня.

– В Москву – двадцать четыре дня?!

– Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался безо всякой причины, то вдруг, безо всякой причины, мчался...

– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?

– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошёл совсем молодой, хо-рошенький такой... У него вот тут, на руке, висели сумки... Навёл на меня дрожащий пистолет... кажется, он сам его боялся... сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!» ...Повращал глазами и ушёл. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..

– Ну а когда добрались в Москву?

– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптура? Моя бабушка... Вот такая она сидела: величавая красавица, рыжая, с рыжим котом на руках, у ног чёрный пудель, а на нём верхом сидел маленький королёк-петушок. У него там было гнездо, на

пуделе. Это – первое мое впечатление в Москве... Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

– А где вы там жили?

– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился... В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены... но сам Елоховский не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение... особенно в страстной четверг.

– Вас крестили?

– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется... И пусть будет что будет... Пусть нас вышлют»... Но никто нас больше не тронул.

– В какой школе вы учились?

– Это была девятая школа имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Например, помню Женский праздник. Зал был набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

– Это была женская школа?

– Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль, который давался в их честь... И вот, только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротное выстроенное прекрасное здание в стиле «модерн»... Внутри зал огромный... И я на сцене этого зала: беленькие в резиночку чулочки, лаковые туфельки, чёрное бархатное платье... И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабочего района!» Дальше я забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале... И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

– Это было завершение вашей артистической карьеры?

– Нет, зачем же... Я ещё в нескольких спектаклях с неменьшим успехом участвовала. Но главное таинство Посвящённых, помню: вступление в пионеры... Экзамены проводили не на шутку, задавали такие страшные вопросы, с идеологическим подвохом... Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убеждённые были люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. – «Скажи, Горштейн... (это моя девичья фамилия), когда было Боксёрское восстание в Китае? Знаешь?»

«Никогда в жизни!» Мне было одиннадцать лет.

«Ладно, дам тебе вопрос полегче», – говорит Яша Кронос. – «Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем лёгкий вопрос»... Совсем лёгкий! Да только я такая незадачливая...

«А что ж ты знаешь?»

Я сказала, что знаю всё про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им всё рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить Французскую революцию, Францию... Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб убить тирана!

Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома рассказала про всё это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота была тебе вступать в эту сволочь!»

Но дома я отстаивала репутацию своих друзей. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы очень дружили, часто гуляли по Новодевичьюму... Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству.

Много чего смешного было – например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит – морда, как полено, говорит по телефону. Интересно – с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, всё строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы... Его, само собой, посадили в своё время... Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, я как-то столкнулась с ним в коридорах Министерства культуры. Он выглядел снятым с креста... Очень скоро умер...

пауза

– Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы – художник?

– Ну, ты как-то торжественно это... Сейчас, я задумаюсь... Да не было у меня никакого такого чувства. Не было... Сперва лепила на пляже из чёрной глины, потом из пластилина. Все удивлялись, как это у меня хорошо получаются всякие золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова... Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении... Но так, чтоб почувствовала, мол, «нет пути иного» – дудки! А вот потом, когда появился Менделевич...

– Который скульптор?

– Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У неё был роман со скульптором Менделевичем. Но она почему-то считала себя обязанной жить в семье, со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней – мне было лет двенадцать – и стала уговаривать её уйти из дома.

«Саша, – говорила я, – не мучайся ты ради меня, уходи... Ну подумай: пройдёт ещё несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже жизни...»

Она проволынила ещё год и ушла к Менделевичу... И все разом повеселели...

– Так вы стали учиться у отчима?

– Ну, не совсем «учиться»... скорее просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции, у Карла Росси? Это как получилось: он на весеннем вернисаже выставил мраморную головку «Смеющаяся девушка», прелестная была работа. И она приглянулась богачу Гиршману – помнишь, Серов писал портрет его жены с палантином? Гиршман. Так он буквально влюбился в эту головку (она была с четверть натуры, мраморная)... И говорит: «Если принесёшь мне её домой, пешком, я тебя на два года отправлю во Францию учиться».

– Изверг какой...

– Да-да, Гиршман, богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил её на плечи прямо с вернисажа, да и поволок...

– Сколько же она весила?

– Не знаю. Наверное, много. Мрамор же. Мрамор, не что-нибудь, не вынутый, ничего. Да и на подставке...

– Сколько же он так шёл, бедный?

– Не помню. Гиршман жил на Поварской. А где проходил вернисаж – не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке. Недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Голицын строил для своей возлюбленной цыганки Шурочки Христофоровой, с которой дружила Саша.

– В каких же годах это было?

– Спроси что полегче...

– Спрашиваю: значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделевичу, и?..

– Ну, да... просто сидела, смотрела... Он делал какую-то вещь, деталь самолёта или группу «Три лётчика», и однажды сказал: «Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь». Видно, как-то понял, что я что-то могу. Так я стала помогать ему на подхвате. Однажды он лепил Громова, лётчика. Тот приходил позировать после Чкалова – так это были день и ночь. Громов – денди, со стеклом ходил. А Чкалов был обаяшка, очень простой, очень свойский... Ты знаешь, что он после перелёта, из Америки возвращался на пароходе? И какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: «Если б я знала, что вы попливёте на этом пароходе, я бы сдала билет, вы испортили мне всю рекламу!» Понимаешь, на эту дурынду никто уже не смотрел. Все хотели потрогать живого Чкалова... А он позировал Исааку Абрамовичу... Ну, и Громов позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот, за час. Бывает так, нашло какое-то вдохновение... Головочка вот такая вот, манюсенькая... Но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошёл, посмотрел и сказал: «Мала голова», – и размял. Сердце у меня развернулось на другую сторону...

– ...и не простили вы ему?

– ...дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой... техникум художественный, в Леонтьевском переулке... Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны... Болталась я неприкаянная, кислая, и – горевала... И Валерий Павлович, Чкалов, говорит: «Погоди, я сейчас всё устрою. Как этому вашему Грабарю звонить?» Тут же набирает номер: «С вами говорит Чкалов Валерий Павлович, у меня к вам большая просьба: есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите её на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы её прогоните, я не буду в претензии, а если покажется и будет работать, я вам век буду обязан...»

– Да уж... свойский человек...

– Свойский! Так что я Валерию Павловичу всецело обязана.

– И вы стали там учиться...

– ...и это, доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчимом была обучена. А он как: сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее... И когда я стала этот способ при всём классе воспроизводить, все на меня смотрели, как на монстра. Потому что скульптура строится с основания кар-каса, с построения головы.

– Ну, а Менделевич?

– ...носик, это, брат, дело последнее, а не первое. Если с носиков начинать – ничего не выйдет.

– Но ведь у Менделевича выходило?

– Когда как... Профессора по скульптуре у нас менялись часто, пока не пришел, наконец, Александр Терентьевич, Матвеев. Ну, я у него, по-моему, вызывала только отвращение.

– Почему?

– Плохо я работала, очень плохо. Когда он, бывало, ходит по классу и встанет, так, за твоей спиной... ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и видишь всё, что ты напортачила. И это было ужасно... Стала я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской... Девочку одну нанимала. Девочке было лет семь, я ей платила рубль за сеанс, она была довольна. Только очень мучилась неподвижностью, всё время приговаривала тоненько: «Побегать-побегать-побегать-побегать...», – и ногами сучила...

И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась: стоит Александр Терентьевич, смотрит... Говорит: «Я думал, всё обстоит гораздо хуже». Большой похвалы я никогда в жизни от него не слышала. Счастлива была безумно!

– А вы ведь уже были вполне взрослым человеком.

– О чём ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, он был чёрный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами, и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает отличные чертежи для книги... Боба страшно был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборт... Ну, позже, разумеется... Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь... Играл ночами... Однажды я прождала его всю ночь, а он пришёл под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Фёдор Толстой. Выиграл. Ну что ты ему скажешь. Во-он оно, висит над тахтой... Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти... И главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картёжницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.

– А у вас, вы говорили, тоже домработница была...

– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у неё домработница.

Женщина настоящей судьбы, соответствующей веку. В юности муж её бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а её на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Её вывели прямо из зала. Десять лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела одиннадцать лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. А так я бы сдохла». Знаешь, огромные плечи... Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала, – к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговариваться. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве...

У меня была птица знаковая, одноногая голубь. Она прилетала ко мне на свидания, я её кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Так Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, даже войла!»

– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое... людоедское... Как вам в те годы жилось-то?

– А знаешь... Да, людоедское... Оно, конечно, так... Вот, говорят, мы все в страхе жили... Но... как бы это тебе объяснить некрамольно, по-человечески... Мы весело жили. Мы были молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»... Танцевали...

– Что танцевали?

– Бостон, танго, чарльстон... Домой возвращались часам к пяти утра... И если видели перед подъездом чёрную машину, то прощались друг с другом...

А летом... Как ехали в Рьльск? Поездом до Курска, потом пересесть, потом нанять лошадку худенькую и сорок километров лошадкой. Поселиться у пани Ващук, самогонщицы... Меня она называла «пани млада Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга... потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Ващук надела лучшее платье, на бретельках, надела «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками... Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?

Что это был за театр! Ничего смешнее этого я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие – в городе, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия....

– Евгения Леонидовна, ну а когда всё началось-то, ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?!

– Ну, ты сразу: знаменитая! Погоди... Моё дело, говоришь... С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич... Он нам дал задание – это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли, кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползёт, кто выполз, кто недополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника павшим женщинам». Хохот поднялся немыслимый... Она: «Чего вы смеётесь?» Матвеев ей: «Памятник павшим!» – «Ну, я же и сказала: павшим!» Потом я развернула свою работу, от этого хохот уже стал просто гомерическим. У меня шёл медведь и нёс на руках Татьяну, которая упала в обморок.

– «И снится чудный сон Татьяне»... Известная ваша композиция...

– ...Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что была чудесная группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел... и вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»

– Так и сказал – «затеи»?

– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи... Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас всё получи...»

2

Дулёво

– Ну, вот, здравствуй... Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть... А мы с Гуленькой тебя очень ждём. Гуленька, ну, где ж ты, покажись, тётка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает... нет! Вот непреклонная душа... Диван, оно надёжнее...

Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная... А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи у нас во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокисшего, а кто и вовсе о нём забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну – как столб.

– Так он такса был?

– Он был никто. Просто длинная собака... Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая чёрная голова и белая маечка. И наступила зима... никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батареек зимой, двадцать три градуса мороза... А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдём жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему

супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло... Он набросился на еду, лёг и проспал двадцать два часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнёт, не ударит... Кротости неземной... А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза, как на портретах голландских мастеров... Такой великолепный был пёс. Хромой... Судьба их ко мне приводит...

...Ну, давай уж сразу чай пить, а то ты в прошлый раз меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула...

– Просто плёнка кончилась... а другой не запаслась...

– Сегодня запаслась? Идём на кухню...

– Только я сама всё буду делать, ладно?

– Давай, чёрт с тобой. Я здесь в любимый угол законопачусь... и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько... Умеешь? Чашки на второй полке, слева... Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце... Там трёх сортов от трёх гостей... Только мне завари крепкий, чифирь...

– ...а сердце?

– а плевать... Ну, пошла проводки разматывать... Розетка позади тебя... Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то...

– Евгения Леонидовна... Мы в прошлый раз остановились...

– Слушай, а может – ну её к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных... Лучше ты вот расскажи...

– Евгения Леонидовна!!!

– Ну, хорошо, хорошо... сразу и гром и молния... А мы про что говорили в тот раз?

– Про Дулёво... Как все начиналось...

– Как начиналось... я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал, рекомендательное, в Дулёво... Ну вот... А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный, – пешачком идти с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла. Села, сижу на скамье... А рядом стоит... Ну, это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женшинка, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках. Ну и поскольку нас двое оказалось в такую рань, разговорились. Я спрашиваю: «А вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться?» – «Это я не знаю. Я поеду до Орехова... Я хожу по поездкам, пою». Я не сразу поняла, что это её заработок. Что, спрашиваю, поёте? – «Ну, то, что знаю, что смолоду пела. Хотите, я вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Всё-таки я вам спою...»

Забыла этот романс... «Она была мечтой поэта...»... Нет, не помню... но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, я вам ещё что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зарёванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла, потом ушла...

– Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые...

– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у-...» Нет, он сперва входил – в чёрных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой, – и громким уверенным голосом говорил: «Братья, сёстры, я вас не виззжу, я не виззжу бозжжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-и-л, я ль на тебя не моли-и-и-лся, след твоих ног цалова-а-а-л, чуть на тебе не жени-и-и-лся!»

– Жуть как трогательно...

– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-и-лся, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-и-лся. Зачем же так горько страда-а-а-ть, зачем так безумно влюбля-а-а-ться? Любовь не умеет проща-а-а-ть, любовь не умеет смея-а-а-ться!»

– Потрясающая песня!

– Я говорю: «Вы сами её сочинили?»

«Да нет. Её все поют. Городской романс».

«Спойте ещё раз, я вам дам три рубля. И запишу слова». Три рубля тогда были как сейчас триста. А он мне: «За три рубля я вам сам слова напишу!» Снял чёрные очки, глазки острые такие оказались – видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послуживил и записал слова. Ну как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нём было девятнадцать с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!

Так вот, под всякую эту музыку три часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылазить» надо и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком семь с половиной километров до сухой дощечки-указателя: «Дулёво». И всё маленькими деревнями... Всё кругом интересно... всё мне нравилось... Так, значит, «Дулёво» вот сюда, а напротив – «Ликино»... Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр... Так у них тоже было, у Дулёва с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось всё с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулёвско-фарфорской стороны, выходили гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем неважно было, чем кончался матч, им бы только дождаться, чтоб он скорее кончился, чтоб броситься друг на друга.

И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побеждённых мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкши так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса...

– Евгения Леонидовна, рассказываю про первый свой день в Дулёво...

– Ну, вот я тебе и рассказываю... пришла, значит... Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите... Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой...

– Серебристые тополя?

– Серебристые, да... И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная серебристо-зелёная мурава... Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще, откуда ни возьмись, явилось шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг... Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёвым еще до того, как переступила порог проходной.

– А потом?

– ...потом разговор с директором. Захолустный такой, добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: «Ну ладно, попробуй, может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?» Я показала... вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники? – что я хочу такой вот чайник расписать. У него в кабинете заготовки рядком стояли. «Ну это тебе не справиться». – «А я попробую. Мне покажут...» ...И прямо в этот же день я его расписала, чайник. Вот он там стоит, синий, с розовыми цветами...

– Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво?

– Вот как начинается, в каком году, – тут швах дело...

– Приблизительно – сороковые, пятидесятые?

– Да, конечно, сороковой с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его надо задуть, потом прочистить... но тут уж рассказывать тебе технологию, это до вечера, бог с ней совсем.

– Кого задуть? Печку?

– Тёмная ты баба... Для того чтоб получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской. А потом надо же на нём рисовать: сначала чистить места, где будет рисунок. Значит, ты расчищаешь так, чтоб не повредить это дутьё, расчищаешь места, где ты думаешь рисовать и что думаешь рисовать. Потом пишешь всё это красками... Потом ставишь в огонь... Потом не живёшь на свете: не порвёт ли его, и как он выйдет? Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба! Причём дикция превосходная у него была.

– А как же он без зубов говорил?

– Пёс его знает – говорил. Много, долго, да так торжественно. Причём уверенный, что приехала тёмная баба в Дулёво из Москвы. Он посмотрел на чайник и сказал: «Беру эту женщину на завод. Только вы бросьте институт». Я спросила – почему? – «Он лишит вас непосредственности». Я сказала: пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы «Евгения Онегина» не смог бы записать. Так и я. Я выучусь там грамоте, это вам не помешает... Словом, приняли меня на завод.

– Трудно было сперва?

– А ты как думала... Подселили меня, – вернее, сама я прикипела к нему – к старому мастеру Маслову... Там как жили? Это были ещё старинной постройки, кузнецовской дома, двухэтажные, сложенные из брёвен, на каждом этаже две квартиры по три комнаты. Вот он, Маслов-то, старик, меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через три как-то ночью он стучит ко мне в комнату: «Женюра, вставай! Вставай, скорее!» А я смотрю на ходики – четвёртый час утра.

– Он вас Женюрой называл?

– Женюрой... Меня там все звали Женюрой... сначала... Потом, через годы – Евгения Леонидовна... Потом, в конце, просто – Леонидовна...

– Так говорит, вставай? Чего – вставай?

– Вот и я: «Чего вставать-то?!» – «Вставай, вставай, там узнаешь – чего. Одевай, хоть чего ни то накинь, побежим...» Я босиком, в рубашке, как была, выскочила. Идём прямо в сад. У него маленький фруктовый сад. И там... не знаю, как тебе изобразить... Пели соловьи! Он повёл слушать соловьиный хор! Это было упоение! В каждом маленьком садике – вот как две комнаты моих величиной – сидели и пели соловьи! И все, кто соображал, выходили их слушать... И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот... Потом он сказал: «Ты слушай только меня. Знаешь, старики какие злобные. Они подсказывают новеньким такие приёмы, после которых у тех всё наперекосяк... А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру. Если тебе скажут, что ты поплюй сперва на стекло, потом помой его, – не слушай. Знай, что это уж гиблое стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска. Ну, тут масса мелочных секретов. Вот... В общем, стала я работать. И как все начинающие, была нахальной, самоуверенной. С чего начинает начинающий? С Петра Великого тихо-скромно.

– И вы с Петра начали?

– А как же... Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: Господи, откуда была такая наглость? Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому

не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, что это очень талантливо. С годами это проходит, слава богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь...

– Евгения Леонидовна, а как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было?

– Знаешь, у меня какое-то воображение приёмистое, я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон, наверху – «Встреча любовная», видишь? У нас во дворе жила девочка Катя и совсем в другой семье – собака Смелый. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг другу, как влюблённые. Он первым делом облизывал ей всё лицо. Она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день, и не могла не слепить... Такая это была невозможная искренняя любовь... А театр... не знаю, с чего я решила, что надо лепить театр... Саша моя очень любила театр. Особенно «Принцессу Турандот». Ну и втемяшилось мне – слепить Турандот.

А что это значит? Я отходила двадцать семь спектаклей! И ничего не могла придумать... Ступор какой-то. Верный признак – надо бросать затею к чёртовой матери... Потом как-то с одного спектакля пришла и всё нарисовала, как должно было быть. Ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причём жили-то мы в коммуналке, конечно. Кроме нас в ней жило еще сорок два человека. Один галюнь, одна ванна.

– Я даже представить себе не могу.

– А ты вот представь... Просто жили так, и всё. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило...

– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире это многое перевернуло. А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, произошло что-то существенное?

– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех МОСХовских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрязг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться мы выставались, конечно. Но были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали... Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или ничего, этого никто не знал... А Турандот, в общем, я слепила, и получилось красиво.

– Ещё бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы... Я даже эскизы видела в каком-то журнале.

– И решили в МОСХе – уже когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили подарить это театру от Союза художников. Уже я тут как бы и ни при чём. И вот начался очередной спектакль «Принцесса Турандот», пошёл занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя... Сперва ей специально саркофаг сделали, на колёсиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колёсиках? Это же слишком **покато**?..» А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли... Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через десять дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе... Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековечной женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну, что ж ты не идёшь?», – а он сидит за столом мёртвый.

А через десять дней после него умер мой муж...

пауза

– Вот как...

– Вот как... Ну... так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом ещё были другие, многие, но гораздо слабее.

– Это вы себя судите строго как художник.

– А как еще я себя должна судить?

– А после «Турандот»?..

– А сразу после Чеховский музей заказал мне целых десять работ, на любую чеховскую тему, какую захочу. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.

– Директор чего?

– Чеховского музея в Мелихово.

– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?

– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.

– Почему?

– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнущая сигарами и вином, развязная, весёлая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, всё же свела с ней счеты, всё-таки постаралась.

– Каким же это образом?

– Я делала композицию «Вишнёвый сад», и там она такая... рыдает. Да, задание давали они жесточайшее. Вот, «Вишнёвый сад», будьте добры, сделать нам две большие группы многофигурные, но чтоб были точно те исполнители, которые были в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и чтоб все детали костюмов и декораций были соблюдены. Ну где это мне было разыскать? А всё-таки удалось каким-то чудом.

– В архивах?

– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так Книппер... Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями...

– Она ведь Раневскую играла в «Вишнёвом саде»?

– И потом еще в «Трёх сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.

– Жестокая месть художника... Я, знаете, о чём хотела вас спросить... Вот художник-живописец: пошёл, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал, что хотел...

– Вот именно: ура, всё кончено. А у нас всё только начинается...

– А с чего начинается?

– Во-первых, надо дурьнду эту доставить на завод. Хорошо, когда уже появилась машина, ну, или такси... А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это всё весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – её режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груда кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом её формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда, спасибо партии за это, – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повер-

нись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий!.. Ну ладно. Потом, когда она уже зачищена, её надо окунуть в глазурь.

– Зачем?

– Чтоб блестела! Ведь это всё блестящие вещи. А бывает «бисквит», и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, её надо полить. Полить – это как? А вот надо взять её, особенно если она большая, этак в две руки и погрузиться в чан, с половину этой комнаты величиной, по пояс. Вот так окунуться туда и медленно вынуть ее.

– Как?! А это же вес большой?

– Конечно, большой.

– А кто это делал?

– Я или, если я не могла поднять, – вдвоем с помощницей, или мужика звали какого.

– Вы же хрупкая женщина!

– Ну, какая хрупкая, Господь с тобой! Я была вынослива, как лошадь. Какая там хрупкость. Хрупкие не смогут этого... Вот уже она у тебя в руках, с неё стекает глазурь. Надо доньшко подчистить, потом поставить её на ту часть, на которой она будет обжигаться. И она должна сохнуть. А если она искренне, так, сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если её сушить искусственно – это риск.

– Лучше, чтоб сохла сама по себе?

– Конечно. Вот она высохла, слава богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь её надо отнести, аж через весь завод, в другие муфля, где её обожгут.

– Муфля – это цеха?

– Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только *горна*. Это прекрасно было. Были такие *конселя* с полстола величиной, из шамота. Туда ставилась работа, таковой же капсюль накрывался. И выбиралась оттуда она примерно на третьи сутки. Лезешь туда – пятьдесят-шестьдесят градусов.

– Боже мой!

– В том-то и дело: Боже мой. Снимаешь эту коробку. И достаешь то, что вышло. Не дай бог тебе с этим вылезти на улицу или чтоб форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, её надо, как младенца, в ватник завернуть, и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что её температура равна твоей. Тогда её можно нести в мастерскую, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава богу. Но это еще не всё. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру сорок – примерно сорок пять градусов. И медленно на вагонетке движется... Вагонетка чуть потряхивает. И это скульптуре тоже вредно. А другого выхода нет, по воздуху не полетит. Значит, идёт она так, потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация – там температура тысяча четыреста градусов. А поступает она туда – в каком виде? – вот как если б ты её сделала из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор! Но этого мига ты не знаешь! Тебе не дано, это тайна сокрытая, Божественная! Ты только узнаешь, когда работа выйдет оттуда, как Феникс из огня...

пауза

– А... потом? После этого?

– После этого идёшь в живописный цех с этой же цацкой. Опять же, сколько она весит, столько весит. Все твоё.

– А сколько это может весить?

– Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть «Ревизор» неподъёмный. Или «Ковёр-самолет». И вот уже там, в цеху, начинаешь расписывать... И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причём есть краски, которые не любят совмещения никакого... Проще всего покрыть поверхность и по ней расписывать. А те художники, которые искали на белом расписать так, чтоб было не хуже, – по-моему, настоящие подвижники. Был такой Медведь, восхитительный художник, и человек такой же. Очень хороший человек... Ну ладно...

У нас даже есть рабочая страшная поговорка – как обращаться с вещью при росписи: «Как вся жизнь», вот так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь... И вот она расписана уже! Красотища, глаз не оторвать! Айда обжигать! Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе, если это всерьёз – в печь ее круглую. Открывается дверца вот такой толстоты. Там два отсека. И не больше трёх вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь вилять хвостом перед этим пьяницей Салтыковым незнамо как...

– А что – Салтыков?

– Он горновщик, и всё в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь. Раньше времени открыть, позже открыть.

– Испортить?

– В какой-то мере от него зависит. И это тоже надо пережить. Умолить, чтоб три часа не открывали... чтоб не трогали вещь. Но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут.

– Это очень вредно?

– А рискованно, не просто вредно. Рискованно... Ну вот... И когда, наконец, ты её приняла на руки свои: расписную, красавицу... завернула в ватник, принесла в мастерскую, и там сидишь, высиживаешь, ждёшь нужной температуры... И вот раскрываешь! И вдруг – всё получилось!!! Это счастье... Как настоящая любовь...

пауза

Это и есть любовь... Потому что иногда думаешь: Господи, ну, где были мои глаза, вот это... Пётр Великий на тонких ножках! Он как живой передо мной. Глаза вытарщенные, дурак дураком.

– Евгения Леонидовна, а когда вы перестали ездить в Дулёво?

– В восемьдесят пятом. Официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал: «Евгения Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили...» Мне этот суконный язык советских отчётных собраний, знаешь, ненавистен... Вот вызывает Всевышний к себе святого Петра и говорит ему: «Пётр Абрамыч, нам на будущий год две души сократили...» Да, и вот этот туда же: «Кого вы рекомендуете уволить?» Я тогда уже старейший скульптор была, лауреат, то-сё... меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну, кого из своих коллег, из товарищей-цеховиков я могу рекомендовать уволить? Говорю: «Увольняйте меня...» И он засуетился, обрадовался, что так всё полюбовно, без огорчений. Сказал: «Вам остаётся пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ... Всё остаётся, кроме зарплаты».

– А у вас квартира там была?

– Ну, какая там квартира, Господи! Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола выходили поздороваться крысы. Иногда кошка приносила полкрысы в подарок – делилась со мной. Мы с ней приятельствовали...

– И вот там-то вы жили по нескольку недель подряд?!

– А как же!.. Когда работа идёт... Тогда уже ничего, кроме неё, ты не замечаешь, ничего и никого, кроме нее, тебе и не нужно...

пауза

– Евгения Леонидовна, дорогая... Спасибо вам огромное! Думаю, материала для интервью достаточно. Дней за пять я это все обработаю... и... Ответьте, только уже «не для протокола»: вы никогда не жалели о выборе?

– Ты просто как мой дед. Он дожил до девяноста пяти, перед смертью всё вздыхал и говорил мне: «Лучше бы ты стала фармацевтом!»

– Это который дед – тот самый, лесопромышленник, миллионер?

– Тот самый, который «Яша, ты этого хотел?!»...

– А вот если оглядывая всю жизнь...

– ...это уже не жизнь, это эпоха!

– ...оглядывая знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, вам бы предложили очутиться вновь в каком-то ее периоде. Какой бы выбрали вы?

– Дулёво...

– Потому что – работа, творчество?..

– Потому что – свобода... Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картёжника и гуляки... от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы... Потому что – любили меня там, были там друзья, помощники, приبلудные звери... И какая-то была райская чистота души, рук и глины... Вечная первозданность мира: глина... огонь... новорожденное Творение... Потому что в эти часы и мгновения ты – как Бог...

пауза

...как Бог...

пауза

...как Господь Бог...

Иерусалим, август 2005

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТУЧИНА

РАССКАЗ

Если вам сорок с чем-то и вас покинул муж, едва ли вам будет приятно посвящать посторонних в свои невзгоды. Моё намерение посетить дом на окраине города, в унылом районе под названием Новый Перлах, не вызвало восторга. Я позвонил, дверь неохотно отворилась, я назвал себя.

Это была так называемая социальная квартира – слово «социальный» говорит само за себя. Тусклая прихожая, мебель, приобретённая на складе благотворительного общества Caritas, запах вчерашней еды, отверженности, одиночества и гордыни. Старая и облысевшая женщина сидела, вцепившись в ручки кресла, перед телевизором. Меня провели в соседнюю комнату.

«Это ваша мама?»

«Свекровь, – сказала хозяйка. – Альцгеймер».

«Простите?»

«По-русски – слабоумие».

Мы обменялись двумя-тремя фразами. Я прихлёбывал кофе и разглядывал фотографии. Часть из них была снята ещё «там».

Я спросил:

«Давно вы уехали?»

«Скоро двадцать лет».

Она, конечно, сильно изменилась. Что касается Тучина, то на всех снимках он выглядел одинаково. Человек без возраста; малорослый, лысоватый, тщедушный, с непропорционально большой головой. Глаза? Затрудняюсь сказать, что они выражали. Рассеянную сосредоточенность, иначе не скажешь. Глаза, устремлённые в пространство или, что то же самое, внутрь себя. Взгляд человека, погружённого в собственный мир, где он созерцает пустоту. Впрочем, всё это были мои фантазии. А кстати, спросил я, сколько лет было её мужу, когда они решили... когда их заставили...

«Никто нас не заставлял, – сказала она надменно. – Костя к политике не имел никакого отношения. Вообще всё это его не интересовало».

«Что не интересовало?»

«Да всё это диссидентство. У него и друзей-то не было».

«Но ведь он, кажется, прежде чем выехать, печатался за границей».

Она пожала плечами. Что-то такое, в одном журнале. «А в Москве – я имею в виду, в самиздате?» Что-то ходило по рукам; откуда ей знать.

«Почему вас это интересует?» – спросила она.

«Я уже говорил вам. Я собираю материал для...»

Она усмехнулась.

«Вспомнили. Небось пока он был здесь, ни одна душа не интересовалась. Двадцать лет прожили, никто пальцем не пошевелил...»

«Вы правы, — сказал я. — Так было и со старой эмиграцией: спохватились, когда никого уже не осталось в живых. Поэтому я и решил, пока ещё...»

«Пока я жива? Я-то тут при чём?»

«Он был старше вас?»

«Да что вы всё говорите о нём, как о мёртвом!»

Я извинился. Помолчали, потом она проговорила:

«Он думал: вот приедем на Запад, начнут его печатать. На руках будут носить... Кабы не он, никуда бы я не поехала».

На этом, собственно, разговор закончился; выходя из дому, я думал о том, что задавал совсем не те вопросы, которые нужно было задавать. Ничего нового я не узнал. Тучин был не единственным, кто надеялся за границей добиться успеха. А тут ещё предложение, сделанное через туристов — каких-то гостей или эмиссаров, — стать редактором русского журнала, о котором он ничего не знал, кроме того, что там однажды появились его рассказы. Тучин прибыл с женой и матерью, не удостоившись торжественной встречи, на которую втайне рассчитывал. Через полгода редакция закрылась; друзей он не приобрёл, языка не знал, да и не чувствовал охоты учиться; получал пособие; жена моталась по городу, была почтальоном, уборщицей, кельнершей в пивном саду, раздавала душеспасительные брошюры. Тучин сидел дома. Похоже, он не интересовался ничем, кроме своего нескончаемого писания. Как вдруг что-то сдвинулось с места, повеяло гниловатым весенним ветерком. Разнеслись небывалые вести. Тучин решил — опять же подобно многим, — что настал его час. Наконец-то его начнут публиковать на родине. Были какие-то обещания, телефонные звонки, письма, которые он прятал. Были посланы рукописи, на которые, правда, не последовало никакой реакции: то ли не дошли, то ли не понравились. И когда он собственной персоной отправился в Россию, один, без жены, для переговоров, ни у неё, ни у него — по крайней мере, так ей казалось — и мысли не было о том, что он не вернётся.

Представительство нашего отечества всё ещё рассматривает себя как осаждённую врагами крепость: с вами разговаривают через чёрное стекло, и русская речь отнюдь не облегчает общения. Беседа напоминает допрос. Чтобы попасть к начальству, требуется разрешение, на основании которого выписывают пропуск. Мрачная личность обхлопывает вас, надеясь найти оружие.

Всё же кое-каким начаткам цивилизации они научились. Мне предложили сесть. Человек за столом был одет в костюм цвета вишнёвого компота, из кармашка торчал платочек. Я предъявил ходатайство Института славистики и письмо от ПЕН-центра.

«Да, но мы-то тут при чём?»

«Если не ошибаюсь, — сказал я, поспешно пряча в карман всю эту липу, — для оформления визы требуется вызов от учреждения, которое приглашает».

«Либо от родственников».

«У него нет родственников. Приглашение могло быть только от какой-нибудь редакции или издательства».

«Так в чём дело?»

«Я и говорю. Хотелось бы выяснить. К кому он поехал?»

«Послушайте, — сказал консул, — мне не совсем понятно. Если вы потеряли связь с вашим знакомым, напишите в Москву».

«Кому?»

«Это уж ваше дело».

Пауза; видя, что я не собираюсь уходить, он спросил:

«Но ведь он российский гражданин, зачем ему приглашение?»

«Он был лишён гражданства», – сказал я.

«Ага. Ах вот оно что. Так бы сразу и сказали!»

И он прищурил глаз, точно целился. Стоит ли говорить о том, что я отправился в эту контору не без внутреннего сопротивления, даже трепета; вот что значит быть «бывшим».

Вот что значит унести ноги, но оставить на родине свою пленённую тень. Своё дело с грифом «ХВ», хранить вечно. В моё время это расшифровывалось так: Христос воскрес. В некотором смысле канцелярское бессмертие. Теперь я находился на экстерриториальной территории, так это называлось. Другими словами, очутился в стане врага. Как и Тучин, я был бесподданным. Лишённый родины, я числился её изменником. И человек в модном костюме, выдававший себя за дипломата, мог сделать со мной всё что угодно, мог предьявить мне самое абсурдное обвинение. Он уже протягивал руку к селектору.

Сиплым голосом я произнёс:

«У него здесь жена и мать. Жена думает, что он там сошёлся с какой-нибудь женщиной».

Консул развёл руками. «Ну, знаете. Тогда я вообще не понимаю, что вам от нас нужно!»

Он добавил:

«Может быть, тоска по родине?»

«Может быть, – сказал я, несколько оправившись. – Только на Тучина это как-то мало похоже. В том-то и дело. Он уехал, не оставив никаких распоряжений. От него нет никаких вестей. Мог хотя бы позвонить! Мы, его друзья, очень обеспокоены. («Какие друзья?» – подумал я.) Очень вас прошу, господин консул, поручите вашим сотрудникам проверить, обращался ли такой-то за визой и по чьему приглашению. Если не обращался, я свяжусь с полицией».

Я ждал, что он ответит: вот и прекрасно. Пусть вашим другом займётся баварская полиция, а мы займёмся вами. Вместо этого он окинул посетителя ещё раз пристальным взглядом, вздохнул и, нажав на кнопку разговорного аппарата, произнёс несколько слов. Мне было велено позвонить через три недели, что я и сделал.

Один мой приятель утверждает, что литература относится к опасным для жизни профессиям; он считает, что писателям, как на вредном производстве, нужно бесплатно выдавать молоко, а поэтам даже двойную порцию. Мало кому из пишущей братии, по его мнению, удаётся дожить до старости – во всяком случае, в России. Сам он – автор нескольких дюжинных романов и в свои шестьдесят восемь лет пользуется завидным здоровьем.

Тем не менее исследователю надлежит оперировать точными данными. Изучая этот вопрос, я имел случай убедиться в правоте моего друга. Правда, одновременно оказалось, что у представителей других профессий – как, впрочем, и у лиц без определённых занятий – ничуть не меньше шансов заболеть раком, попасть по пьянке под трамвай, наткнуться на нож бандита или быть схваченным тайной полицией.

Просто всё дело в том, что ремесло сочинителя у нас всегда было окружено неким нимбом. Тем ужасней уйти в небытие, ни у кого не вызвав сожалений!

Вообразите человека, который, забыв обо всём на свете, как проклятый, как потерянный, один в четырёх стенах, корпит над своим опусом, шевелит губами, созерцает пустоту, давит в пепельнице окурков за окурком и выстукивает букву за буквой. И так изо дня в день, десять лет, двадцать лет. А потом умирает. И что же? Его рукописи, перевязанные бечёвкой, лежат вместе с кипами старых газет у подвезда в ожидании сборщиков утильсырья, и ветер листает его прозу.

Был ли Константин Тучин, беллетрист и самодеятельный философ, пытавшийся разгадать в своих никому не нужных, никого не интересовавших сочинениях за-

гадку любви и смерти, был ли он незамеченным гением? Или одним из тех маньяков, которых ничто не разубедит в том, что лишь зависть коллег мешает им прославиться? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужны были тексты. Но где они? Единственный раз в русской библиотеке, основанной изгнанниками второго призыва, был устроен авторский вечер, слушателей набралось кот наплакал. Что читал Тучин? Заведующая библиотекой сменилась. Жена не могла, а может, и не хотела сообщить мне что-либо о судьбе тучинского архива; чего доброго, в самом деле выкинула с досады весь этот бумажный сор.

Я считаю своим долгом упомянуть о том, что мне всё же удалось отыскать. Заранее извиняюсь за некоторую смелость моего воображения. Учёный обязан придерживаться фактов. Но кто же откажет себе в удовольствии строить гипотезы? Мне повезло, я откопал старый эмигрантский журнал, один из тех, что именуются братскими могилами. Когда-то Тучин с волнением перелистывал эти страницы: как-никак это была его первая (и последняя) публикация. Цикл рассказов, объединённых общими персонажами и до некоторой степени общим сюжетом.

Действие происходило в наши дни, и сюжет был, надо сказать, самый тривиальный: кто-то кого-то убил. Но с первой же страницы завертелось, затеялось и стало расти нечто неудобобопытное. Читая эту прозу – без абзацев, без диалогов, – я почувствовал головокружение. Автор не мог прийти к окончательному решению. Казалось, он прикидывал, какие возможности может заключать в себе самая примитивная фабула, и примерял одну версию за другой. Классический полицейский роман предполагает однозначный ответ. Другими словами, он основан на вере в истину – единственную и неопровержимую. А тут вам словно старались внушить, что ответа не существует. Персонажи могут вести себя так, могут и по-другому. Одно и то же происшествие может выглядеть по-разному, любая оценка – лишь одна из возможных. Ибо действительность представляет собой ассортимент вероятностей. Скользящее светлое пятно в тёмном поле возможностей – вот что такое пресловутая действительность.

Я подумал, что неуловимая истина жизни, за которой гоняется писатель, есть не что иное, как совокупность версий, ничем иным она быть не может. Мне стало понятно, почему с тех пор Тучин ничего не публиковал. Двадцать лет просидел он в своей комнатёнке, в чужой стране, а каков результат? Фрагменты, пробы, робкие вылазки из крепости наивного реализма в зыбкий вероятностный мир. В некотором роде писание в разные стороны. Повторяю: таковы были мои догадки. Я пошёл дальше, я подумал, что Тучин работал над большой вещью; быть может, он только над ней и работал. Быть может – такое предположение не казалось мне неправдоподобным, – это был единственный, огромный и обречённый остаться незавершённым труд его жизни.

«Что значит пропал? Сегодня пропал, завтра появился. Утром ушёл, вечером пришёл. Знаете, сколько человек за день пропадает в городе? Один сбежал от жены к любовнице. У другого фирма прогорела. Третий решил устроить себе каникулы на Канарских островах. Если мы так будем за каждым гоняться...»

«Нет у него никакой фирмы. Ни о каких Канарских островах не может быть и речи...»

«Как вы сказали, его фамилия?»

«Тучин. Т, У, Ч, И, Н. Теодор, Ульрих, Тина, Зигфрид, Цезарь, Хильда, Инге, Николаус».

«Возраст? Был чем-нибудь болен? Психически? И давно исчез? Что же вы так поздно спохватились! Родственники есть?»

«Есть жена. Мать – инвалид».

«Почему она сама не пришла?»

«Понимаете, его жена думает...»

«Ага, я же вам сказал! Знаете, сколько мужиков каждый день убегает к любовницам? Если мы так будем за каждым...»

«Господи, да нет у него никакой любовницы. Просто он отправился в Россию, а на самом деле...»

«Ах вот оно что; так бы и сказали. Он немец?»

«Нет, русский».

«Я спрашиваю: является ли он немецким подданным?»

«Он эмигрант. Без гражданства. Получил политическое убежище».

«Угу. Давно?»

«Точно не могу сказать. Лет двадцать назад».

«Всё ясно. Потянуло домой, что ж тут удивительного. Только мы-то тут при чём?»

«Видите ли, я был в консульстве...»

«Вот и отлично. Поезжайте сами, там его и найдёте».

«Простите?»

«Я говорю, сами поезжайте в Россию. Там и разыщете вашего друга».

«Да, но вы не дослушали. Я навёл справки в консульстве, и оказалось, что Тучин никакой визы не получил».

«Не получал. Гм. А в американском консульстве вы были?»

«При чём тут американское консульство?»

«Может, в Америку поехал. Ладно, пишите заявление».

«Позвольте спросить: что вы собираетесь предпринять?»

Вахмистр пожал плечами.

«Пошлём наряд по месту жительства. Запросим больницы и приёмники для бродяг. Объявим розыск через Einsatzzentrale. Заполняйте бланк».

Некоторое время спустя произошло одно событие. Жена Тучина позвонила: надо поговорить.

Снова унылая лестница, лысая старуха перед телевизором; я вручил хозяйке цветы и бутылку Божоле.

«Вы уверены, что это был он?»

Она пожала плечами.

«Он шёл вам навстречу?»

Нет, она его видела со спины. Вернее, их: Тучин был не один. В левой руке он нёс под мышкой портфель, она узнала бы его по этому старому, с оборванной ручкой портфелю, даже если бы сомневалась, он ли это. Правой поддерживал даму выше его ростом, в длинном пальто, отороченном снизу дешёвым мехом.

Отодвинули рюмку, тарелку с ломтиками сыра, я расстелил план города.

«Не делайте этого, прошу вас», – сказала она.

«Но надо же хотя бы убедиться!»

«Он жив, здоров, и слава богу. Пусть живёт своей жизнью».

«Разве вас не интересует, что с ним?»

«Не интересуется, – сказала жена Тучина. – Да и где вы его отыщете?»

Резонный вопрос. По её словам, переулок, куда поспешно свернул Тучин со своей спутницей (почему поспешно? увидел супругу?), был перегорожен строительным забором. Значит, подумал я, она всё-таки пошла следом за ними. «А дальше?» – «Что дальше?» – «Куда они делись, вошли в подъезд?» Она покачала головой, нет там никаких подъездов. Вынырнув из небытия, Тучин – если это был он – снова пропал, точно провалился сквозь землю.

Так я оказался в малоподходящей для меня роли частного детектива. Как Герману всюду мерещились три карты, так и мне каждый мужчина невысокого роста с толстым портфелем казался тем, кого я искал: он листал книжки на лотке перед букинистическим магазином, я делал вид, что интересуюсь витриной; он за-

ходил в пивную, и я туда же, садился в сторонку и вынимал фотокарточку. Я искал человека, чей взгляд был устремлён в пустоту, другими словами, внутрь себя. Я надеялся встретить беглого мужа там, где его обнаружила брошенная жена; возможно, он скрывался где-то поблизости. Хорошо ещё, что моя работа оставляет мне много свободного времени. (Забыл представиться. Лектор издательства, где всё ещё не утратили интереса к русским авторам).

Было совершенно ясно, что ничего из этой затеи не выйдет. Попробуйте найти человека в большом городе – не говоря уже о том, что жена могла ошибиться. Но я ничего не мог с собой поделать. Призрак Тучина манил меня издалека.

Город способен раздвигать пространство. Вы все знаете Альтхаузен, в этом районе одно время и я проживал. Взгляните на план города, отыщите треугольник улиц, расходящихся от площади принцессы Анны-Амалии, по которому я водил пальцем, слушая объяснения жены Тучина, – кажется, заблудиться здесь невозможно. Но это только так кажется. Поезжайте туда, вы найдёте улочку или, верней, закоулок, перегороженный строительным забором. Раздвиньте доски.

Прежде всего: никакой стройки за забором не оказалось. Возможно, весь квартал предназначался на снос. Я пролез через щель в заборе и очутился в лабиринте, о котором даже не подозревал. Поистине город удесятеряет пространство, и там, где двести лет тому назад пастух лежал на склоне холма, там непостижимым образом поместились, сгрудились все эти дома, дворы, переулки, чахлые садики, пристройки, брандмауэры и тупики. Там сплелись сотни судеб. В мансардах и полуподвалах приютилась любовь, клоочет ревность, тлеет вожделение; за тёмными окнами прячется одиночество, играет музыка, пишутся романы, затеваются интриги, храпят пьяницы и ждут смерти старухи.

Вот о чём стоило бы написать: о гипнозе старых кварталов, о чувстве зыбкой, ненадёжной действительности, которое охватывает вас в этих труппах. Две недели, с утра до темноты, я дежурил на углу проклятого безымянного переулка. Случалось ли вам убедить себя в том, что вера сдвинет горы и надежда будет вознаграждена? И вот он появился. Он ли? Низкорослый неряшливый человек с разбухшим портфелем прошагал и исчез за забором. Отодвинув доску, я успел заметить, что он направляется к ближайшей подворотне; несколько мгновений спустя его шляпа мелькала позади мусорных контейнеров. После чего, о проклятье, я потерял его из виду.

Он не мог уйти далеко; если бы он пересёк двор, я бы его заметил. Значит, он остался во дворе и вошёл в один из четырёх подъездов, которые даже нельзя было назвать подъездами; скорее то, что в России называлось чёрный ход. Туда он и юркнул; в который из четырёх? Внутри было холодно, пахло плесенью. Я услышал шаги. Тучин – если это был он – медленно поднимался по лестнице. В скудно освещённом пролёте, за прутьями перил я видел его руку, держащую под мышкой портфель, и обтрёпанные отвороты брюк. Дойдя до последнего этажа, он остановился. Вероятно, доставал ключ.

Очередная моя гипотеза состояла в следующем: Тучин перебрался в другую часть города в надежде довести до конца свой огромный роман, сбежал от жены, устав от её упрёков. Симулировал отъезд в Россию, чтобы никто его не искал. Что касается дамы, с которой он будто бы шёл под ручку, то этот пункт, на мой взгляд, был несущественным, женщина могла быть случайной знакомой, предположение об интрижке не вязалось с моим представлением о Тучине.

Итак, я дал себе слово продолжать розыск, ибо в тот раз, как вы догадываетесь, у меня ничего не вышло: добравшись до верхней площадки с единственной находившейся там дверью, за которой, казалось, никто не жил, – ни кнопки звонка, ни таблички с именем, – я долго стучался, прислушивался и не мог уловить ни единого звука. Что бы это могло значить? Заперся ли он с твёрдым намерением

никого не пускать или сбежал через какой-нибудь потайной ход? Я уже ничему не удивлялся.

Вечером я снова принялся за его рассказы; ничего другого я больше не мог читать, и ничего другого, кроме старого эмигрантского журнала, у меня не было. Мне было ясно, почему Тучин, даже если бы сейчас в России нашлись охотники опубликовать его прозу, был обречён на неуспех: события последних лет прошли мимо него, вдобавок, как уже сказано, стиль Тучина предъявлял немалые требования к читателю. Длинные ветвящиеся периоды вновь погрузили меня в состояние, близкое к наркотическому опьянению, — право, я не могу выразиться иначе. И опять это впечатление зыбкой, ненадёжной реальности. История, сама по себе несложная, прокручивалась на разные лады, и оставалось только гадать, были ли это варианты одного и того же замысла или замысел состоял в том, чтобы утопить истину в трясине гипотез. На другой день я двинулся в Альтхаузен.

Кто-то прибил доску, забор оказался непроходим. Пришлось идти вокруг. В результате я окончательно заблудился. Странно сказать, я как будто вновь оказался в мире прозы Константина Тучина. Все дворы были на одно лицо. Не у кого было спросить, да я и сам не знал, какой номер дома мне нужен. Кажется, в этих дебрях вообще не существовало нумерации.

Навстречу шёл пожилой господин с палкой, я попытался заговорить с ним, он промычал что-то. Он был глухонемой.

В конце концов мне пришлось убедиться (это часто бывает), что я кружил вокруг одного места. Из чёрного хода вышла женщина. Я был уверен, что это тот самый подъезд. Я сделал несколько шагов по ступенькам, как вдруг меня словно стукнуло: пальто! Длинное пальто, отороченное мехом. Я выскочил во двор. Она шагала к воротам.

Тут я остановился. Громадными прыжками помчался по лестнице, через несколько мгновений был уже наверху и, задыхаясь, трижды медленно и отчётливо ударил костяшками пальцев в дверь. Никакого ответа; я слышал только своё тяжелое дыхание. Стукнул кулаком. Гробовая тишина стояла во всём доме, мне почудился слабый звук, похожий на клочкотание жидкости, за дверью как будто шаркнули шаги. Конечно, это был обманный манёвр, очередная уловка неуловимого Тучина, он знал, что за ним следят, и умел скрываться, все мы в своё время прошли эту школу! Я поглядел вниз через перила — никого нет — и извлёк из кармана общеизвестный инструмент. Операция не потребовала усилий: нажав, я легко продавил иссохшее дерево. Хрустнул старый замок, дверь открылась.

Там был тёмный коридор и дверь в комнату. Как я и предполагал, это был рабочий кабинет писателя. Грубый стол, заваленный манускриптами, начатый лист вставлен в машинку. Клокотала вода в кофеварке. Хозяин лежал на полу.

Можно не сомневаться, что обер-инспектор Деррик, известный и уважаемый в нашем городе криминалист, отыщет истину — хотя бы потому, что верит, в отличие от покойного Тучина, в существование единой и единственной истины. Кажется, в преступлении подозревается жена писателя. Мотивы убийства налицо: ревность, разочарование, месть за исковерканную жизнь.

На допросе, которому ваш слуга был подвергнут в качестве свидетеля, первого, кто обнаружил труп, было, естественно, обращено сугубое внимание на особу, которая встретилась мне в подъезде. Не потому ли она так стремительно прошла мимо, что узнала меня? Мне показали старую фотографию, одну из тех, которые я видел во время моего первого визита на квартиру в Новом Перлахе: Тучин с женой, на ней длинное расклёшенное и обшитое снизу мехом пальто. Такие одеяния носили лет двадцать тому назад. Я возразил, что если бы убийцей была жена Тучина, она не говорила бы мне о том, что на женщине, которую она увидела на улице с Тучиным, было такое же пальто. Похоже, что они не нашли убедительных

тельным этот аргумент; может, как раз наоборот. Впрочем, я просто не успел как следует разглядеть незнакомку.

Вернее, я разглядел её. Скажу больше: я её узнал. К сожалению, я не могу объяснить полицейскому инспектору то, чему научился у Тучина: что истина – это лишь совокупность версий. *Мою версию* ни одна полиция в мире, конечно, не примет всерьёз.

Рукописи Тучина – всё, что было обнаружено в комнате, его неоконченный и, добавлю, обречённый остаться неоконченным труд, – конфискованы полицией. Поэтому я не могу сослаться на тексты, которые подтвердили бы мою точку зрения. Я уверен, что я прав. Как историк литературы я понимаю роковую власть, которую обретает мир романа над жизнью сочинителя. Эмма – это я, сказал (или якобы сказал) создатель «Госпожи Бовари». Это хроника моей души, полное собрание моих надежд, иллюзий и разочарований. Ему следовало бы добавить, что отныне он сам – в плену у тех, кого он сотворил.

Константин Тучин – запомните это имя! Я решаюсь заключить этот отчёт выводом, который для вас, быть может, неожидан, для меня – ни в коей мере. Тот, чья жизнь была очевидным поражением, ушёл из неё победителем. Он достиг пределов того, о чём может мечтать художник, он вдохнул жизнь в своих героев и героинь до такой степени, что одна из них вмешалась в его собственную жизнь. Вот почему бесполезно искать незнакомку за пределами того мира, откуда она пришла. Сделав своё дело, она вернулась в призрачный мир слов. Тучина умервила его подруга – но не та, которую я посетил, которая сидит теперь под арестом, а та, которая жила в его книге.

Повторяю, такова моя версия.

Соблазн детективного сюжета

Послесловие автора

Борхес (в беседе с Освальдо Феррари) защищал детективный жанр, говоря, что в любом роде литературы наворочено достаточно много пошлятины. С этим аргументом нельзя согласиться, так как даже очень плохие романы по большей части всё же принадлежат литературе. Тогда как преобладающая часть криминальной продукции, по крайней мере в России, оказывается ниже минимально допустимого уровня. Как если бы сочинителю крими сказали: хочешь пробиться на рынке, пиши как можно хуже, иначе тебя не будут читать; такой уж, дескать, у нас потребитель.

Как бы то ни было, и Борхес, написавший несколько превосходных детективных рассказов, и Честертон, и Сименон, и Рекс Стаут сумели защитить уже в их время весьма потрёпанную честь жанра. Могут, конечно, возразить, что эти писатели погрешили против главного правила: хороший слог и стиль противопоставлены детективу. Соревноваться с классиками невозможно, однако трудно удержаться от искушения попробовать самому. Вдобавок, как я полагаю, подобное упражнение может кое-чему научить писателя.

Первый урок состоит в том, что если всякая литература есть в немалой степени ремесло, то криминальный жанр требует особой выучки. Тут приходится учиться тому, от чего, кажется, прискорбным образом отвыкла русская словесность: выверенной композиции, трезвой логике, сжатости и энергии повествования. Второе – это то, что можно называть философией детектива. Это философия единой и непреложной действительности, другими словами – вера в истину.

Дело в том, что при всей своей кажущейся модерности детектив – архаический жанр, и в этом, может быть, состоит его прелесть. После грандиозной литературной революции, начало которой, по-видимому, положил Достоевский, вера в истинную действительность, которую заново открывает романист, подорвана. Современный роман

– это роман версий. Ибо действительность зыбка, ненадёжна и не равна самой себе. Детектив возвращает нас на твёрдую почву. В детективном романе существует презумпция истины. Истина существует, и притом только одна. Герой этого романа, гениальный сыщик, верит в истину, ищет её и находит.

Отсюда, между прочим, следует, что автору детективного повествования, если он хочет быть «на уровне», не остаётся ничего другого, как пародировать классиков жанра. Ему приходится притворяться серьёзным, хотя на самом деле, говоря всерьёз, – он сугубо несерьёзен.

Мы не упомянули о главном уроке. Детективный жанр учит умению поддерживать от начала до конца интерес читателя. Все жанры хороши, сказал Буало, кроме скучного.

Борис Хазанов

ТРОСТНИК

* * *

Что там колыхнется на ветру?
Облако ли? Тростник?
К мысли, что я непременно умру,
я, как ни странно, привык.
Так себе мысль – пяточок на метро, –
для нумизмата – пустяк.
Но озверевшее сдуру зеро
шепчет: «Мы только в гостях».
И не татарин, но избранный жид,
из миллионов – один,
видишь, как сперматозоид бежит,
думает, что победил.
Но наследит – это наверняка, –
с вечностью накоротке.
Клином гусиным летят облака.
Ветер поёт в тростнике.

2006

* * *

Я весь наружу, напоказ,
и я не утаю
себя от посторонних глаз,
а значит, жизнь свою.
За так, бесплатно, задарма
смотрите – мне не жаль,
как если бы, сойдя с ума,
в кунсткамере лежал.
Но прикасаться – ни-ни-ни,
остерегайтесь – я
из тела, как из западни,
смертельный, как змея
сбегу, и вам несдобровать,
и будет страшной мечь.
А – так мне нечего скрывать, –
как на ладони весь.

2006

* * *

По кривой дорожке пойду наугад,
выведет, родимая, к дому моему,
я бы, если честно, был бы только рад
заблудиться где-нибудь, попасть в тюрьму,
убежать с цыганкой и жить в степи,
стать цыганским бароном и горя не знать.
Умоляю, пожалуйста, отпусти!
Слава богу, не хочет меня отпускать.

2006

* * *

А что касается твоих
легчайших крыльев – я
чуть ли не сразу спрятал их
в чулан среди тряпья.
Мне так спокойней, чтобы ты
сквозь сутолоку дней
не разглядела с высоты
бескрылости моей.

2006

* * *

Тебе не кажется, что время
остановилось навсегда,
и, не мигая, сквозь деревья
горит холодная звезда.
К тому, что сказано когда-то:
«Мы – дирижабли взаперти»,
добавлю, что прочней каната
мрак, поселившийся в груди.
Не плачь, любимая, не надо,
и дирижабль по четвергам
летает после звездопада
назло врагам.
Мы полетим с тобой, как птицы,
едва заслышав: « От винта!» –
чтоб никогда не возвратиться,
не возвратиться никогда.

2006

* * *

Когда мой речевой
старинный аппарат

переходил на вой,
усиленный стократ
бездонной ночью, — ты,
молчание храня,
по-царски с высоты
взирала на меня.

2006

* * *

Не будем всё-таки о грустном,
а будем, глядя на огонь,
пить чай, не торопясь, вприкуску —
глаза в глаза, ладонь в ладонь.
Из алюминиевых кружек
вылавливать чайники и
печалиться, не обнаружив,
в сердцах ни капельки любви.
А только странное желанье:
друг в друге раствориться, как
кусочек сахара в стакане
и самолётчик в облаках.

2006

* * *

Я весёлый, весёлый, весёлый,
веселей не бывает меня,
и веселье усилием воли
еле сдерживаю, как коня.
Но когда-нибудь время настанет —
и однажды плотину прорвёт:
и листва на деревьях завянет
от ужасного хохота, от
смеха; тихие вспенятся реки,
потекут, беспокойные, вспять.
Не спешите на мне, человеки,
ставить крест. Я устал горевать.

2006

* * *

Мне нужна передышка,
отлежусь, чтоб потом
(я шепчу, как мальчишка,
окровавленным ртом)
с тёмно-синим фингалом,
вызывающим смех,

насмерть биться с кагалом –
один против всех.

2006

* * *

Не усложняй! И так всё сложно,
учись у декабря – смотри:
как просто – проще невозможно
сидят на ветках снегири.
Укутанные в пух и перья,
изнемогая от жары,
они украсили деревья,
что новогодние шары.
И обмороженная ветка
предоставляет им ночлег,
и долгой ночью, редко-редко,
очнувшись, стряхивают снег.
Не усложняй! А на рассвете
проснись ни свет и ни заря
от репетиции на флейте
державинского снегиря.

2006

* * *

Заостри свою мысль и воткни
прямо в сердце и по рукоятку,
чтоб тебе отведённые дни
провести, привыкая к упадку
и гниению – запах такой...
отдыхают тюльпаны и розы;
и поэзия – бабка с клюкой –
скоро доковыляет до прозы.

2006

* * *

А у хавбека мяч привязан
к ноге – попробуй отбери,
и он обводит раз за разом
почти что всю команду и
примерно с десяти – не больше
в девятку без размаха бьёт,
и падает с инфарктом – боже! –
на линии своих ворот.

2006

* * *

Ты выстрелил, и пуля,
стартуя в феврале,
девятого июля
приблизилась к земле.
Хотя, ещё сначала,
на линии огня,
она, конечно, знала,
что попадёт в меня.

2006

* * *

Голубизна переходит
в светло-зелёное – цвет
моря на мысли наводит:
смерти, как видимо, нет.
От удивленья присвистни,
смерти не будет? Да-да!
Впрочем, как не было жизни,
как таковой, никогда.

2006

* * *

Имитируя божий,
свыше посланный дар,
лез и вылез из кожи,
а назад – опоздал.
И уже – ни в какую,
да и свылся почти,
заморозить рискуя
своё сердце в пути.

2006

* * *

Я оставляю на десерт
коронный номер свой,
ни у кого такого нет –
ручаюсь головой.
Нет, не стоянье на ушах
и не глотанье шпаг,
но от прозренья в двух шагах
не сделать даже шаг.

2006

* * *

Я выйду на Красную площадь
и стану её посреди,
где радостью горло полощет
бескрылая птица в груди.
Я рёбра руками раздвину
и страха себе не прощу,
но птицу бескрылую выну
и в небо её отпущу.
Лети, уповая на встречный
и яростный ветер в лицо,
а я, человек бессердечный,
конечно, отвечу за всё.
За всё, в чём я был или не был,
но всё-таки был виноват,
мне паялься вечно на небо,
где птицы на север летят.

2006

Ну зачем мне это нужно? Здесь, в Израиле? Вроде устроился с работой, купил машину. И еврей настоящий. И уехать хотел. И ведь уехал. Уехал. А забыть не могу.

КОМИ-АФРИКА

ПОВЕСТЬ

1

В мятых штанах, с улыбкой на всю физиономию, засунув руки в карманы какой-то короткой, непонятного цвета куртки, один рыжий Мишка шел получать подъемные. Вообще, рыжим везло всегда. А этот уж совсем хитрым был. Услышав перед распределением, что если поехать на Север, то там без денег выдадут дубленку, вызвался на работу в Коми АССР, и теперь, довольный своим умением устраиваться, шел получать – на что напросился.

В сером здании на Литейном, в кабинете, где за окном виднелось небо с проводами от троллейбусов, сидел майор. В новой форме.

– А дубленку дадут? – еще раз решил проверить Рыжий.

– Приедете на место, там и дадут, – сухо ответил воин. И ткнул пальцем в бумагу: – А пока распишитесь в получении, молодой человек.

И вот прошло лето. И пришел поезд. И Мишка, имея в кармане только что полученный диплом, а на шее красивый галстук, надетый, чтобы создать о себе хорошее впечатление, слез с этого поезда в одном северном так себе городишке, в котором уже дул холодный ветер, обещавший зиму. Поправил галстук и огляделся: кроме него на перроне стояло серое помятое здание вокзала, уборная «МЖ» да понатыканные в асфальтные дырки худые деревья, со злостью выставившие кривые потрепанные ветви навстречу ветру. Будущий работник вздохнул, поднял чемодан и пошел. В отличие от вокзала и деревьев, своего места в коллективе он еще не занял.

А шел молодой специалист искать общежитие, потому что именно там рассчитывал найти своего институтского друга, как и он сам, распределенного работать в этот маленький город. Город... на краю бесконечного леса и болот.

Когда открыл дверь, Андрей лежал на кровати и курил. Увидев знакомую физиономию, вместо приветствия спросил:

– Оформился?

– Нет еще, – удивился Мишка, – только приехал ведь.

– Тогда уезжай, и быстро. Совет даю.

– Да брось ты, – ответил с обидой. – Вечно у тебя какие-то фокусы... Куда ехать, раз уже приехал?

– Ну, если не хочешь, – Андрей бодро встал. – Беги в штаб, они там еще работают, а я пойду в магазин водку куплю, отметим.

– Слушай, – Мишка замялся. – Скажи, а тебе дубленку дали?

– Ой, хватит... Хочешь, подай заявление в МВД, и двадцать пять лет будешь носить и дубленку, и погоны в придачу.

– Нет, не хочу, – сказал Рыжий.

И побежал в штаб. Штаб находился неподалеку и радовал глаз надежностью постройки. При наличии героев в нем можно было держать круговую оборону. Хотя надо отметить, здание было все-таки меньше, чем на Литейном. В отделе кадров Мишку записали во все необходимые бумаги и выдали пропуск с красной обложкой и золотым тиснением «МВД». Дубленку он уже не спросил. А может, надо было? Носил бы – и холода не знал. Все могло быть обосновано, а так, чего, спроси, приехал...

– Распишитесь, – показал пальцем офицер.

– За что?

– Не разглашать. Пять лет.

– Пять так пять.

Подписал и пошел обратно в общежитие. Пока Мишка оформлялся, Андрей развил бурную деятельность. Венцом ее стала застеленная кровать да на столе бутылка, консервы и хлеб.

– Ну, – сказал, когда сели. – С приездом!

И разлил горячее по стаканам.

Чокнулись. Выпили.

– А почему хлеб черствый? – спросил набитым рыбными консервами ртом Мишка.

– Ты что, сюда жрать приехал? За три тысячи километров? – возмутился друг.

– Работать.

– Ну, это от нас не уйдет.

А утром Андрей повел Мишку представляться. Так как оба молодых специалиста закончили санитарный факультет мединститута, их начальник, естественно, находился в местной санэпидстанции.

Когда вошли внутрь – там было чисто, уютно. Стучала пишущая машинка, и кто-то диктовал текст. Главный врач СЭС МВД, крупный мужик с красной физиономией, сидел в отдельном кабинете, распространяя в замкнутом пространстве запах перегара.

– А сейчас выступит начальник транспортного цеха, – тихо сказал Андрей и устался в потолок.

– Значит, приехал все-таки, – медленно начал сидящий за столом. – Должен был к первому августа, а сегодня уже третье сентября, неплохое начало.

Налил себе из графина. Выпил. Посмотрел исподлобья.

– Расхолаживаться не дам. Тут тебе не по Ленинграду рассекать. Здесь работа серьезная. Поедешь в Можский, у меня мест нет. – Не удержался и опять налил из графина. – Все. Идите.

– Вот сука, – разозлился Андрей. – Специально сделал. Я здесь, а тебя выпер.

– Да ладно... А где это – Можский?

– Отсюда примерно километров шестьдесят на север.

– Ну-ну.

Они еще чуть покрутились в санэпидстанции, потом пошли в столовую, в магазин и вернулись в общежитие. Мишка лег на кровать, а Андрей сел у окна и закурил.

На улице пошел дождь, серый, холодный, в комнате потемнело, за дверями смеялись и разговаривали. Оба молчали. Андрей докурил, взял гитару, проверил звучание и тихо-тихо начал:

И вот наконец-то дождливый сентябрь,
И вот наконец-то прохладная осень,

И тучи поникли густыми сетями,
И кончился месяц под номером восемь.

Пустой с утра, немый внутри, поезд ушел в семь сорок пять. Не сильно радуясь работе. Дорога была муторная. Через каждые полчаса приходилось останавливаться, впускать одних, выпускать других. И все морды знакомые, приевшиеся. Ездят и ездят, пытаются окна открыть, ноги расставляют. О! Новенькие есть – на свиданку, что ли?

В отделении у самого тамбура сидели Мишка, толстая курящая девушка с большими ресницами и старичок. После первых слов выяснилось, что все они едут в одно и то же место, и едут в первый раз. Мишка, человек непонимающий, конечно, подергал окно. Так, на пробу – не открылось.

– От сглаза закрыли, – сказал и посмотрел на курящую девушку.

Девушка хихикнула.

– А меня Мишей зовут, – представился.

– А я Лена.

– Алексей Сидорович, – влез старичок. – Может, в шахматки сыграем?

Мишка открыл рот, но сообщить что-либо не успел.

– Ваши документы? – четыре человека с цепкими глазами. Руки в карманах. Проверяют.

– Патруль, – сказал старичок. – Мне это знакомо – работал в таких местах. Так как насчет шахматшек, молодой человек?

– Нет, – отказался Мишка. – Я не в форме.

И повернулся к Лене.

Добрались через полтора часа. Маленькая станция: перрон, какие-то заборы, рядом несколько домов – и все. Там, где обрывается перрон, – загон из колючей проволоки, автоматчики, собаки. Из вагона с зарешеченными окнами, его раньше Мишка не увидел, прыгивают на землю люди в черном и под крики конвоя становятся в колонну.

– Ваши документы? – опять патруль.

Посмотрели. Отдали обратно.

– А где же поселок? – спросил у них Алексей Сидорович.

– Если есть попутка, то по бетонке три с половиной километра, а идти прямую – всего полтора. Во-он там, где трап.

Хорошо, пошли по трапу. Через лес. Доски скрипели и прогибались, кое-где трап был сломан и приходилось прыгать. В лесу пахло осенью, грибами. И пригревало северное солнце.

– Трап какой-то идиотский, – сказал Мишка. – Зачем он нужен?

– Это чтобы по болоту не ходить, – ответил Алексей Сидорович. – Я знаю. Работал в таких местах.

Центральная улица в поселке была асфальтирована. Асфальт вел от штаба мимо гостиницы и школы к магазину. А всего улиц было две. Стояли деревянные, привычные к зиме дома, около них сараи с заготовленными дровами. И от дома к дому проложенные трапы.

Ну, первым делом пошли в штаб. Сначала представился старичок:

– Малявин. Назначен на должность начальника медчасти.

– Черт возьми, – подумал Мишка. – Надо было с ним в шахматы сыграть.

– Очень рад, – сказал начальник штаба. – А то у нас все на фельдшерском уровне. Спросить не с кого.

И повторил:

– Очень рад.

Мишка протянул свои документы. Тот мельком посмотрел и кивнул. Ленка сказала, что она зубной техник.

– Итак, – подвел итоги местный бог. – Пока устраивайтесь в гостинице. По вопросам жилья – к заместителю по быту. Начальника медчасти прошу быть завтра на планерке в восемь ноль-ноль. У меня все.

В гостинице жили командированные, телевизор и шум без конца открываемых дверей.

Телевизор жил в холле, командированные в комнатах, шум – везде, где командированные. По вечерам, в девятнадцать тридцать телевизор показывал фильм «Место встречи изменить нельзя». Офицеры, те, кто не совсем пьян, выходили из комнат и шли в гости к телевизору. Вместе с ними кино смотрели два уголовника – прислуга гостиницы (вместо шоколадных негров с белыми зубами). И надо отметить: и гости, и прислуга – все болели за советскую милицию.

Ну, а в первый же день работы Сидорович и Мишка вместе отправились туда, где жили люди в черном. Пошли утром по скользкому, еще мокрому от росы трапу, от поселка прямо на юг. И вот – огороженное колючей проволокой и вышками пространство, четырехугольник для жизни.

Один ряд проволоки, второй ряд проволоки, а между ними медленной вонючей рекой текет стоки уборных.

Нажали кнопку звонка на входе, и открылась дверь, потом коридор, окошко, куда суешь новенькое удостоверение и, наконец, комната с прапорами – личный досмотр. В самой зоне пусто – все на работе. Бараки стоят, в бараках дежурные – шныри. Между бараками светлый воздух и подметено. Тут же административное здание в два этажа, кухня, медчасть, баня с прачечной, клуб. И хватит.

В медчасти у входа встречает санитар. Бритый, здоровый. Бегает вокруг. Юлит. Потом слышен его мат в коридоре – устанавливает очередь.

– Ну, начинаем, – бодро говорит Сидорович и надевает приготовленный для него белый накрахмаленный халат.

2

Самая лучшая машина на свете, даже лучше «жигулей» и «феррари», – МАЗ с прицепом. Забираешься вверх и плывешь над землей, глотаешь километры, как судьбу. Крошечные люди машут руками, просят остановиться, подвести. И уже почти неважно, что ты всего лишь пойманный уголовник, отпущенный за послушание на поселение, грязный, обросший, пропахший потом, со всеми своими потрохами отданный в подчинение начальнику отряда, рязанскому мужику с такими же повадками, как у тебя. Мужику... с тяжелыми кулаками и крошечными звездочками на погонах.

Ну а кроме МАЗов есть еще школьный автобус. В нем возвращались из школы дети поселенцев, которым было разрешено жить с семьей. Вел автобус грузин-убийца. Был он толстый, с добродушным, немного плаксивым лицом. Мишка часто слышал его рассказ, точнее, не рассказ, а без конца повторяемую одну и ту же фразу: «Ну, зачем он вернулся... Ну, зачем он вернулся... Ведь не хотел я...»

А хозяйкой поселения была Анна Ильинична. Конечно, официальным заместителем по режиму являлся Шмоняк. Но Шмоняк был уже не первым, назначенным на эту должность. И наверняка не последним. А Анна Ильинична была всегда.

Со Шмоняком санитарный врач познакомился сразу, когда добрался в это место, – всегда надо представляться начальству, чтобы оно потом не возмущалось. Шмоняк сунул жесткую ладонь и, не дослушав, круто развернулся, поднял воротник шинели от ветра и зашагал к строю новоприбывших объяснять правила. Потом Мишка увидел, как он, короткий, широкоплечий, прямым ударом в лицо сбивает с ног одного из них, чтобы, видимо, тот быстрее понял, что поселение это тоже зона.

А Анна Ильинична официально числилась всего лишь заведующей столовой.
– Я новый санитарный врач, – сказал Мишка, появившись там. – Хочу проверить соблюдение приказа по профилактике желудочно-кишечных заболеваний.

Анна Ильинична улыбнулась:

– Приятно познакомиться, уже наслышана о вас. Может, для начала снимете пробу пищи, доктор?

Доктор немножко подумал: «Да плевать, все чище будет», – решил.

– Ладно.

– Тогда прошу вас сюда.

И пошла вперед, показывая дорогу.

Стол был в форме дубового листа, инкрустированного в осенний полированный пейзаж. На стенах висели картины, в картинах плескалось и шумело море. А окно на бараки было занавешено, чтоб не отвлекаться на факты.

– Ничего себе, – удивился санитарный врач.

И сел. Анна Ильинична села рядом.

– Это обеденный зал для офицеров. Вы даже не представляете, сколько труда... сколько труда... Руками, – показала, – буквально этими руками все сдвинула с места.

Появился бритый с подносом: чешское пиво, селедочка, борщик со сметаной, жареное мясо, горчица.

– Даже заместитель по режиму, Филипп Аркадьевич, – сказала хозяйка, – уж на что человек серьезный, ответственный – и тот хвалит нашу еду.

– Но чтоб на Севере было пиво?! – подумал проверяющий.

Когда, наконец, вышли в самую столовую – там, конечно, было прибрано. Единственное, въедливый доктор вдруг нашел и показал липкие до безобразия вилки на раздаче. Анна Ильинична покраснела. Тучное, с бородавками лицо затряслось, как в лихорадке, и она, обернувшись к бритому, вдруг завизжала тонким, пронзительным, прыгающим голосом:

– Ну, ты, сука, мразь! Да я тебя за что кормлю! Кто здесь работает!

И схватив вилки, размашисто бросила их ему в физиономию.

– Эй, Хвост, – заорал, закрываясь, бритый, – эй, Хвост, а ну сюда быстро, быстро, сказал!..

– Ладно, ладно, – побледнев, торопливо проговорил Мишка. – Сегодня первый раз, я ничего не напишу.

– Спасибо, – Анна Ильинична тяжело дышала. – Сердце болит, просто сердце болит от этих гадов. Стараешься-стараешься, и вдруг какая-то именно-таки мелочь выводит из равновесия...

Из начальников отрядов в поселении Мишке нравился старший лейтенант Анохин. Был он крупный, с зычным голосом. В кабинете у Анохина стояла тяжелая самодельная штанга, которую Мишка и поднять бы, наверное, не смог. А нравился этот человек ему тем, что честно выполнял свою работу.

– Ты представляешь, – гремел Анохин. – Вчерась приходит ко мне жулик, старик такой незаметный, дерьмо возит. «Начальник, – просит, – подай бумагу на досрочное, десять лет уже тяну на этой командировке, ни одной жалобы...» А за что сел, – спрашиваю. «Да так, ерунда». Ладно, смотрю в папку... Ах, мать твою, ерунда – двух дочерей своих изнасиловал, мерзавец! Вызвал и свернул рожу набок. Да ты, – говорю, – и сгниешь у меня тут в дерьме. Досрочное захотел! Дня не дам!

Анну Ильиничну он не переваривал органически.

– Жрать туда не хожу и тебе не советую, – проорал своим громкоговорителем. – Дорого потом обойдется. Ты вместо вилок в котлы загляни – эта сволочь мужиков гнильем кормит, потом полбарака из уборной не вылазит. А недавно выдумала в

счет зарплаты талоны давать на обед. Мол, если мужик пропнется, талоны есть и всегда сыт. Со стороны кажется правильно. Но ведь минимум треть поселения в лесу, домой не приходят месяцами. А деньги от них за талоны уже получены и поделены. В-ворюга!

По плану политчасти каждый вечер в субботу, в зоне, в бараке номер шесть Мишка читал политинформацию. Это было не очень приятно. Стол, сверху тусклая желтая лампочка, полуголые татуированные люди с угрюмо-враждебными лицами, сбоку жарит печка, а с двухъярусных кроватей волнами накатывает теплый вонючий воздух. Воспринимали уголовники эту обязательку равнодушно, со скукой, но иногда начинали спорить. А когда спор разгорался, в него вступал начальник Кузнецов, крича своим резким высоким голосом:

– Ма-алчать! Тихо! Тихо! В ШИЗО посажу!

А до политинформации Мишка просиживал время как раз в кабинете Кузнецова, смотрел, как тот проводит личный прием.

Вообще, все эти начальники отрядов обычно набирались из сельских шоферов, из механизаторов, поддавшихся на уговоры спецуполномоченных и после учебы сменивших родные края и нищенскую зарплату на погоны, шинели и колючую проволоку.

– Гражданин начальник, – гундосил на приеме приземистый с мутными глазами. – Ошибочка вышла.

– Какая? – спрашивал Кузнецов, прихлебывая чай из железнодорожного стакана.

– Ну как же, ведь ударили мы с Васей по одному разу только, ну ладно, попал Пухов в больницу, но пролежал-то там всего месяц. А нам начислили платить за три. Я письмо получил, он уже дома с бабой спит, а я плати?

– А чем бил-то? – интересовался Кузнецов, шурша конфетой.

– Да лопатой получилось.

– Плохо, видать, бил, если только на месяц уложил, – в рифму констатировал начальник, рассматривая на свет ложечку.

Молчание.

– Плохо, спрашиваю, бил? Да?

Приземистый стоит, опустив длинные угловатые руки.

Кузнецов отодвигает стакан:

– Ну, иди, так и быть, уговорил ты меня. Напишем апелляцию. Действительно, уложил на месяц, а плати за три, непорядок, непорядок получается.

В гостиницу Мишку поселили вместе с Алексеем Сидоровичем и Василём, худым усатым парнем из Львова, присланным сюда на инженерную работу. В отличие от некоторых, Василь был шахматист заядлый и часто вызывал Сидоровича на поединки. Обычно это происходило так.

Один ход Василя.

Сидорович (тянет):

– Пра-а-вильно.

Второй ход Василя.

– Пра-авильно. Шажочек.

Василь:

– Ишь, все захотели учеными стать...

Сидорович:

– Пра-авильно.

Василь:

– А я вот так.

Сидорович:

– Пра-авильно, фигурку выиграл, подумаешь...

Василь:

– Ну-ну, посмотрим...

Сидорович:

– А мы ее чайником.

– Правильно.

– Правильно.

Василь:

– Чёрт, конь залез, никакого проку от него.

Сидорович:

– Пра-авильно, ведь там-то она мне и нужна, ло-ошадь...

Василь:

– Ну с чем играть, с чем играть?

Сидорович:

– Ой, что-то я засыпать стал, скучная партия.

Василь:

– Ладно-ладно...

Сидорович:

– А мы ее...

Василь:

– Последний прыг.

Сидорович:

– Хороший ход, да?

Василь молчит.

Сидорович:

– Мат. Красивая партия, да?

Вот так, ночуя в одной комнате, не ссорясь и особенно не залезая друг другу в душу, они прожили месяца полтора, а потом начали разъезжаться.

Первому квартиру дали, конечно, начальнику медчасти. В «белом» доме. Ведь в каждом городе в Союзе существовали белые дома для начальства. Вот и здесь. Белый дом – все как у людей. С отоплением из маленькой котельной и даже проточной водой. Ну, очень приятно... Так что в гостинице из постоянных остались Василь, Мишка, Ленка да телевизор, до того разозленный на командировочных, что весь покрывался рябью, когда его пытались смотреть. Утром троица уходила на работу.

А вечером Ленка на кухне варила опята, которые Василь собирал прямо под трапами. А тут вдруг на работу позвонил Андрей, сказал, что поругался с главврачом и переезжает в Яренгу, спросил:

– Как насчет Нового года?

– А что ты предлагаешь?

– Давай в Ленинград?

– Могут не отпустить, – засомневался можский доктор.

– Да ладно тебе, поедем, и все.

Мишка положил трубку и, улыбаясь неожиданно возникшей идее, пошел в зону смотреть, как ведет прием Алексей Сидорович. Он вдруг безумно захотел в Ленинград.

Но до медчасти Мишка добрался не сразу, так как по дороге его остановил старший оперативник Комков и пригласил зайти. С ним Мишка по работе дел не имел, да и вообще сторонился. Но Комков постоянно затаскивал нового молодого специалиста к себе за обитую дерматином дверь, поил чаем и буравил маленькими глазками, напряженно улыбаясь. В этот раз после ничего не значащих вопросов вдруг попросил помогать.

– Чем помогать? – удивился Мишка.

- Да там... если... вдруг кто говорит что...
- А что не надо говорить?
- Ну... кто вот Высоцкого слушает и вообще...
- Мишка пожал плечами:
- Да и я, в общем, слушаю.

Комков озадаченно посмотрел и вдруг рассмеялся.

- Ладно, – сказал. – У меня и без тебя дел много. С чем чай-то пить будешь?
- Ну, если больше ничего нет, – обнаглел приглашенный.
- Есть, парень, есть.

И оживившись, поглаживая черные пышные усы, стал длинно и нудно рассказывать, какое и каким способом он получил удовольствие однажды на юге.

Отвязавшись от оперативных дел, Мишка дотопал-таки до медчасти. Там, перед дверью, стояла очередь, а за – Сидорович чинно сидел за столом и, поглядывая на очередного больного поверх очков, нацепленных на самый кончик носа, что-то быстро писал в журнале приема.

– Миша! – обрадовался он и, привстав, пожал протянутую руку. – Посмотреть пришел?

- Да.
- Ну, садись со мной. И крикнул:
- Следующий!

Входит один:

- Начальник, я иголку проглотил, бери в больницу.
- Болит?
- Вот счас, счас, – хватается за живот, – мочи нет терпеть!
- Нет, молодой человек, это не то, когда по-настоящему будете болеть – тогда и приходите... Поворачивается к соседу и объясняет:

– Много симулянтов – проверка идет, что знаю и как реагирую. Дело знакомое. Кстати, Миша, известие получил: должен приехать еще один доктор, терапевт, зовут Николаем Павловичем, молодой специалист, как вы.

После приема они идут домой. Уже холодно, темнеет, и вдалеке виден поселок с притягивающими внимание уютно светящимися окнами домов и вьющимся дымом из труб наверху.

– Знаете, Миша, – говорит Сидорович, – удивительное дело – боли больше всего боятся убийцы. Мишка вздыхает:

- Ну, что делать здесь врачу, я примерно представляю, а вот что делать мне?
- Пригласить Кастро, – улыбается старичок.
- Какого Кастро?

– Фиделя. Героя Кубы. Страшный революционер такой. Он когда к нам в Воронеж приезжал пару лет назад – так город вылизали, что куда там... А вообще, начинать всегда надо с пробы пищи на кухне. Во-первых, это наш долг, а во-вторых, просто полезно быть сытым.

И тут наступила зима. В одну ночь. Снег скапливался где-то в вышине и падал, падал бесконечно, цепляясь за стекла холодными пальцами и рисуя на них узоры. А после снега ударили морозы. И вот радость, наконец-то и можскому докто-санитару дали квартиру. Две комнаты с кухней и печкой в двухэтажном доме на краю поселка. По совету умных людей, еще не вселившись, тем более, что вселиться было невозможно, так как там покрасили масляной краской полы, Мишка заранее заказал в бухгалтерии за бесплатно положенные ему три кубометра дров, подождал, пока их привезут, купил топор и пришел колоть. А вслед за ним во дворе появился сосед: Черкесом его звали, прапорщик.

- Дэрмо, – сказал Черкес через минуту после изучения обстоятельств дела.
- Что дерьмо? – не понял Мишка.

– Дрова дэрмо.

– Почему?

Черкес оставил вопрос без ответа, зато сказал:

– Топор тоже дэрмо.

– Почему?

– Сэйчас увидишь, а ну, па-пробуй...

Мишка па-пробовал.

– Тэпэр отнэси в сарай.

– Почему?

– А па-пробуй вытащи топор.

Мишка па-пробовал.

– Нэ получается?

– Нет.

– Отнэси в сарай. Пусть стоит.

– А сколько стоять должно?

– Года два, пока не высохнет. И купи колун и нормальные дрова.

– А где?

– Колун в магазине, дрова у жуликов, шесть пачек чая, не знал, что ли?

На следующий день, груженный чаем, Мишка пошел в промзону. Но проверять его никто не проверял, он беспрепятственно отдал чай двум работягам и через день получил звонкие легкие дрова с зовущим сосновым запахом.

А тем временем появился Николай Павлович с женой и ребенком, и медчасть, наконец, стала укомплектована. Кроме известных врачей и полуврачей в штате числились Виталий Дормсович Бормыслов – работал пьяницей, стоматологом и мужем председателя сельсовета; Вася – веселый фельдшер, единственный коми на весь поселок. Вел прием в поселении. По сравнению с Вит Дор Бор, немножко пил. Еще Галя – фармацевт: сидела в аптеке, тихо выдавая лекарства страждущим. Плюс ... плюс несколько медсестер. И, конечно, Ленка, с неизменной сигаретой во рту, со своими круглыми, вечно удивленными глазами и густо накрашенными ресницами. Когда раз в квартал наезжали комиссии, Сидорович выставял Дормсовича, спирт, соцобязательства, и все обычно кончалось хорошо. Однажды медчасть даже заняла первое место по подведению итогов. В остальное свободное время персонал эффективно трудился по поддержанию здоровья уголовников и тех, кто их охраняет, а Вит Дор Бор рвал зубы, принимая их за больные, ни в чем не повинным трезвым людям и уезжал в Сыктывкар гулять, спасаясь от жены.

А тут высохли полы, а тут еще более похолодало и, попробовав затопить печь, Мишка немедленно пригласил печника. Тот пришел вместе с Васильём. Василь сел на табуретку, печник же залез всей рукой внутрь, что-то там долго шарил, но до трубы, видимо, не достал, так как вытянул руку обратно с весьма сокрушенным видом. Потом залез вновь и вытащил наружу кирпич. Почти размял его в пальцах и кинул в сторону.

– Труха, – сказал. – Переделывать бесполезно.

– Не выживешь, – обрадовал Василь.

– Выживу, – ответил Мишка.

– Посмотрим, – примирил печник, и они ушли.

3

Числа 28-го декабря Мишка позвонил Андрею:

– Ну как, едем? Я с Сидоровичем уже договорился...

– Да нет, – ответили с Яренги, – наверное, не получится.

– Не вешай трубку, саботажник, – сказал Мишка. – Завтра я подскочу к тебе, разберемся...

Когда приехал, Андрей с гитарой уныло лежал на кровати, перебирая струны. – Почему грусть? – спросил можский доктор-моктор.

– Денег нет, – отвечивал яренгский кутила и, зацепив рукой что-то под кроватью, выволок вещь на свет божий.

Это был всего лишь пустой ящик. Просто из-под коньяка. Еще даже одна бутылка осталась.

– Армянский. На всю зарплату купил...

– А ты щедр, – констатировал доктор-моктор. – А как же Ленинград?

Возмутительно не ответив на прямо поставленный вопрос, яренгское коньячное мурло сказала:

– Между прочим, я и о тебе беспокоюсь. Вчера, например, приобрел два приглашения для нас на новогодний вечер, так что есть куда пойти.

– Послушай, – вежливо начал Мишка, – ты не понимаешь, я купил уже билеты в Ленинград, а ты мне какой-то клуб предлагаешь... Там, наверное, все пьяные будут, некультурные, так что давай поедем...

И Андрей решил:

– А черт! Едем!

Вскочил с кровати, схватил рюкзак, сунул туда оставшуюся бутылку, закинул за плечи гитару, сказал:

– Подожди!

Убежал, прибежал:

– Вот, смотри, еще восемь рублей за приглашения, плюс занял немного, а у тебя?

– Триста. На обоих хватит.

– А когда поезд?

– Через двадцать минут – до Котласа.

На станции Мишка пошел в кассу.

– А зачем? – удивился Андрей. – Билеты ж есть.

– Глупый ты, – сказал с превосходством. – Кто ж их заранее покупает...

Через четыре часа они были в Котласе и там сели в поезд, спешащий в Ленинград.

За окном темно, за окном мороз и снег. И лес бесконечной чередой проносится. А в купе тихо, тепло и коньяк стоит на столе. Медленно уменьшаясь в количестве. Андрей перебирает струны, Андрей поет и играет Визбора.

Тут открылась дверь и внутрь просунулась голова:

– Эй, мужики, я смотрю, у вас и карты есть... Сыграем?

– Потом, – ответил Мишка. – Извини, не сейчас...

– Да ладно, ну ты совсем... Быстренько уговорим на интерес партеечку, а? Мишка стал подниматься.

– Послушай, – Андрей отложил гитару. – Мы отдыхаем. Сами. Расслабуха. И ты лишний. Понял?

Дверь со злостью захлопнулась.

– Главное – уметь донести до человека в вежливой доступной форме свою мысль, – сообщил яренгский философ и уничтожающе посмотрел на соседа. – А кулаками махать – последнее дело.

И опять взялся за гитару.

На следующий день, вечером, с пригородов, начался Ленинград, а чуть попозже поезд, наконец, подошел к такому знакомому Московскому вокзалу.

Только недавно был поселок, утопающий в снегу, деревянные дома с печками, трапы, лес вокруг, люди в шинелях и люди в черных робах. Дрова за шесть пачек

чая. Какая-то совсем другая жизнь. И вдруг, всего через день – Ленинград. И в нем идет дождь.

– Я Толику позвоню, – сказал Мишка. – У него ночевать будем. У тебя две копейки есть? Набрал номер. Гудок. Длин-инный.

– Толика можно?

– Его нет.

– Извините... а это Оля? Оля?! Это я, Миша, привет, а когда Толик будет?

– Ах, Миша... Как же, как же... помню. Ты еще свидетелем был у нас на свадьбе, правильно?

– Ну да.

– Еще напился безобразно, маме моей нагрубил...

– Оля, ну что вспоминать-то, Толик когда будет?

– Не будет! Развелись мы. И, кстати, можешь передать ему, что он свинья.

Гудки. Короткие. Пиип-пиип-пиип.

– Больше не буду свидетелем, – выпалил красный как рак Мишка, выскочив из телефонной будки. – Пролетаем, как фанера над Парижем. Выход один – ехать в общагу, там Пашка живет.

– Опять общага, – грустно сказал Андрей. – Куда ни приедешь, кругом одна общага.

Пашка был длинный, худой парень. И вообще, большого ума человек, любящий поспорить. Увидев знакомую парочку, он обрадовался до чрезвычайности. Особенно он обрадовался Андрею, так как знал его меньше и полагал за умного человека, равного себе. Он и раньше пытался приставать к нему с разного рода идеями, но у Андрея раньше был выбор, где ночевать. В этот раз, после хорошей пробной встречи Нового года, где-то в два часа ночи Пашка решительно пошел на приступ:

– Вот, – сказал. – Два интеллигента крутых встречаются – Руфь и Мартин Иден.

– Забавно, – ответил пьяный Андрей.

– И как! – продолжал собеседник. – Как из обычного моряка, из грузчика, наконец, получается интеллигент! Человек – это... это как губка! И он впитывает в себя, если хочет, только хорошее и становится... и становится...

– В губке очень много дырок, – пытаюсь не упасть в грязь лицом, сообщил собеседник.

– Да. И человек впитывает, впитывает в себя, а если он голоден, а если он страдает, как усиливается восприятие! Вот я... голодал две недели...

– Чувственность возрастает, – в последний раз высказался Андрей, свалился со стула, попытался притвориться спящим и заснул.

На следующий день, когда проснулись, Пашки не было, они посмотрели друг на друга, быстро оделись и драпанули из общежития. Уже наступил день 31 декабря и надо было что-то предпринимать.

– Пойдем в баню, – предложил Мишка. – Как в кино, с пивом. Заодно и помоемся.

Заодно и помылись. А Новый год справили в абсолютно незнакомой компании, которая буйно веселилась на лестничной площадке, потому что в маленькой однокомнатной квартирке, откуда часть компании была родом, спали дети. Андрей пел и играл на гитаре, Мишка с кем-то целовался, пили красивый вишневый ликер и танцевали, смотрели маленький телевизор «Электроника» на длинном шнуре, выставленный на табуретку, а в шесть часов утра бегали по улице и играли в прятки. И с тех пор больше никогда ни Мишка, ни Андрей не встречали этих людей, и забыли напрочь их лица, и где находится их дом, не могли бы вспомнить и найти уже на следующий день. Только и остался у Андрея подаренный хозяйкой

той маленькой квартирке двойной альбом «Битлз» – за хорошие песни и, может быть, за то, что весь вечер и всю ночь он пел и играл для нее одной.

- Пора ехать, – сказал Мишка в январе.
- Едь, я еще задержусь.
- Тогда и я. Надо бы только телеграммы отправить.
- Отправим.

Обратно было уже не так весело, да и денег на коньяк не хватило. Все неожиданное кончилось, и дома Мишку ждала холодная квартира с трухлявой печкой и коричневыми свежевыкрашенными полами. Добравшись до Викуня, они попрощались, и каждый направился в свою сторону. Но оказалось, Мишке было приготовлено еще кое-что: разрешения Сидоровича не хватило, надо было отпроситься у начальника штаба, и тот был взбешен донельзя самовольной отлучкой. Мишку месяц пилили на всех собраниях, а потом устроили показательный товарищеский суд. А когда, обруганный товарищами, злой как собака он позвонил Андрею, узнать, как ситуация, тот стал смеяться:

– Ты представляешь, – проговорил сквозь смех, – я перепутал: вместо «вернусь 15-го января» ляпнул случайно – «15-го февраля». Они так удивились, когда я приехал, что даже забыли о том, что я вообще ни у кого не отпрашивался, пропал из поселка, и все.

С тех пор Мишка стал фаталистом.

Но фатализм фатализмом, а пришлось взять чемодан и вселиться в свой почти особняк, так как в гостинице его больше не держали. Чтобы топить, надо было вставать с кровати, идти через холодрыгу большой комнаты и подкладывать дрова. Дрова горели быстро, а вот печка нагревалась медленно – очень медленно для тридцати двух градусов мороза. Еще, слава богу, не было ветра. Холодно было так, что не помогали ни телогрейка, ни валенки, в которых спал фаталист, накрытый сверху ватным одеялом. По утрам в ведре замерзала вода, правда она замерзала и в кране водонапорной башни, но кран каждое утро обжигали автогенном, а Мишка просто разбивал лед кружкой. А тут замерз замок на входной двери, и стены в коридоре стали покрываться изморозью. Пришлось прибить железки для всячего – чтобы легче было отогревать механизм, зажигая спички. Но это скоро надоело, и Мишке – недаром человек получил высшее образование – пришла гениальная идея: он снял ненужный замок, а пол в коридоре залил водой – против воров и террористов. Вода немедленно замерзла, и образованный парень спал спокойно, надеясь, что если придет жулик какой, то обязательно упадет, и, услышав стук жулика об пол, можно будет подготовиться к отпору. Но пришел не уголовник, а приехал неожиданно Андрей, привез две бутылки водки, с размахом шлепнулся и все разбил, чудом не поранившись. Была большая драма, Андрей очень разочлился, обозвал хозяина дураком и уехал. Другая идея, как оказалось потом, была не столь гениальна: Мишка решил, что тепло уходит главным образом через окна, и забил их до верха стекловатой. Теплее не стало, но теперь стекловата была везде. Когда столбик термометра стал подбираться к минус сорока, до рыжего фаталиста, наконец, дошло, что так больше нельзя. Он пробил стенку печки до конца, соединив ее со стенкой квартиры, и сделал пожар.

Пожарники работали как бешеные: ломали стены, срывали электропроводку, разбили зачем-то потолок, в общем – старались. Мишка стоял снаружи. Подошел Черкес, посмотрел умными глазами, сказал:

- Если б мой квартира горел – убил бы...
- Так не горит же?
- Так живи.

Мишка пожал плечами, взял чемодан и пошел прочь от дома, в гостиницу. По дороге обернулся и крикнул:

– Можешь забирать дрова, мне пока не нужно.

4

А Николай Павлович оказался человеком нервным. Институт он закончил какой-то Житомирско-Хмельницкий и, взяв в багаж вилы и грабли, приехал на Север с твердым намерением заняться сельским хозяйством – кроликов, например, развести, лучок посадить. Но в этих местах болотистая земля рожала только мхи, жулики съедали собак, а из личной живности чудом присутствовала в поселке одна на всех коза, заведенная было заместителем по быту в надежде получить от нее молоко. Но коза производить что-либо отказалась, мхи не ела, развязалась и в конце концов ушла, бедная, куда глаза глядят. Горько бляя на людей.

Так что, обманувшись в своих лучших ожиданиях и выбив между делом относительно неплохую квартиру, доктор поставил грабли с вилами далеко в угол, от скуки сделал жену опять беременной и стал ссориться с окружающими. С Сидоровичем, например, он поругался сразу. И все из-за того, что Сидорович в медицинских вопросах его не слушал, а один раз позволил себе исправить в одной из историй болезни резюме Николая Павловича «чирьяк» на более научный термин – «фурункулез». Мишку же доктор невзлюбил – потому что это был Мишка. Один раз они даже чуть не подрались в зонированной медчасти.

– Я карате занимался, – кричал Николай Павлович, отступая после неудачного выпада в угол между топчаном для больных и столом с бумагами. – Маваси хочешь? – И поддергивая для удобства вверх левую джинсу, замахивался ногой.

– Сейчас-сейчас, – обещал противник, надвигаясь боком на терапевта.

Но поединок все-таки был сорван. Сорван настоящим стуком в дверь очередных пациентов, требовавших немедленного излечения. Что ж, Николаю Павловичу пришлось прекратить делать маваси, он повесил на должное место стетоскоп и сел. А Мишка, отойдя от доктора и его больных на безопасное расстояние, потоптавшись, со злости пошел снимать пробу пищи, перехватывая обед у этого склочника, заявившего в свое время, что такая процедура является только его привилегией, так как именно он ведет здесь прием.

Очень спокойно съев что дали, записав в тетрадке объективно, что да, съел, и явно улучшив настроение, пробоователь заглянул в одну из подсобок, демонстрируя, что пришел не только кормиться, и неожиданно обнаружил там червивое вонючее мясо.

– Когда получили? – спросил.

– Сегодня, – ответил заведующий уголком.

– Это нельзя использовать в пищу. Я иду к начальнику колонии, – почувствовав себя при деле, строго сказал сниматель проб.

– Как скажешь, начальник.

Но подполковник Седов слушать не захотел:

– Не мои вопросы, иди к режиму.

Заместитель по режиму молча прочитал акт о списании и, усмехнувшись, подпisał.

– Все? – спросил.

– Все.

Донельзя довольный собой, Мишка вышел из зоны и направился в медчасть. В медчасти в большом, не по росту халате и беспрестанно поправляя колпак, падающий на глаза, Сидорович усиленно лечил какого-то человека с радикулитом. Наконец, отправив кадра домой и в который раз поправив опять съехавший колпак, больничный старичок весело подмигнул своему заместителю по санитарной части и, с наслаждением закурив, сказал любимое:

– Вот, как хорошо было бы работать, если б больные не мешали...

Мишка улыбнулся – ему было приятно общаться со своим начальством. Несмотря на нагоняй, полученный тогда в штабе, Сидорович отношения к непутевому санитарному доктору так и не изменил, и сидели они по-прежнему в одной комнате, где справа были бумаги и стол одного, а слева – бумаги и стол другого. На Мишкиной стороне дополнительно стоял также и железный сейф с двумя дверцами, где в верхнем отделении хранился спирт, а снизу мясные консервы на экстренный случай. Сидорович посмотрел на время, вынул из секретного кармана ключ и небрежно кинул его санитарному соседу.

– День тяжелый, – сказал, – с утра был в поселении и вообще... Ты не возражаешь?

– Триста? – спросил сосед.

– Пятьсот и тушенка: сегодня снега много. Отлив алкоголь, они закрыли медчасть и потопали в гости к Сидоровичу.

– Что-то холодно у вас, – зайдя в квартиру и сняв пальто, поежился Мишка. – Не видно, что паровое работает.

– Я уже старый, – сказал хозяин. – А консервы дольше хранятся в холоде.

Выпили. И еще раз выпили. И еще. Пока не согрелись и не размякли.

– Ты знаешь, – начал тему Сидорович, – этот терапевт такой бандит! Да-да, ты не улыбайся – я заметил, он к Комкову бежит... Не зря все это.

– Съест его Комков, – сказал Мишка.

– Съесть не съест, мне тут Султанов шепнул (я его жену лечил): Комков микروفон у нас устанавливает, все думает, что я больничные за деньги даю. Так я пожаловался Седову, тот распорядился убрать.

– Хорошенькие дела, – обалдел подчиненный.

– Хорошенькие...

Еще выпили.

Сидорович согнул в предплечье руку и напряг бицепс.

– Ну как?

Мишка потрогал:

– Впечатляет.

– А у тебя? ...Слабак! Да я до сих пор делаю стойку на руках.

– Не надо.

– Надо, – упрямый Сидорович отошел в угол комнаты, оттуда разбежался, прыгнул на руки, секунду постоял так и оглушительно упал с другой стороны, зацепив при этом раскладушку.

– А я, между прочим, предупреждал, – скосив глаза, невинно заметил собутыльник.

Сидорович встал и, прихрамывая, подошел к столу:

– Возраст, – печально вздохнул. – Возраст. Давай лучше в шахматы играть.

На следующий день Мишка пошел в зону проверять, куда делось мясо. Мясо делось. В подсобке его не было. Жулик, завстоловой, сказал, что выкинули и получили новое. Засомневавшись и ругая себя, что не выкинул сам, Мишка зашел к санитару, хитрющему бандиту-рецидивисту, с которым был в неплохих отношениях.

– Где мясо? – спросил.

– Между нами?

– Да.

– А как вы сами думаете?

– Съели?

– Конечно.

– Но там же черви?!

– Выбрали, ночь постояло в марганцовке, а утром на котлеты.

– Понял, – Мишка почувствовал себя одураченным. Выйдя из зоны, злой и страшный, он направился на склад. И проверив там накладные, обнаружил десять бочек полусгнившей рыбы. Написал акт о списании и потребовал уничтожить все при нем. Но капитан Злотников, заведующий продовольственной частью, отказался, сославшись на занятость персонала.

– Ладно, – сказал Мишка. – Тогда завтра. Завтра я приду, при мне сделаете.

Назавтра рыбы, конечно, не было. Он спокойно повернулся и пошел в зону. Обнаружив там знакомые бочки и выписав опять номера накладных, Мишка оформил все как положено и послал письмо в прокуратуру о попытке использования заведомо испорченного продукта.

Но назавтра и рыба, и мясо – все вылетело из головы. Утром, обычным утром, когда мороз сковал деревья и люди, закутавшись во все теплое, вышли из своих домов на работу, они, оцепенев от неожиданности, увидели: на центральной дороге, на самом ее видном месте, в холодном, красном от вытекшей крови снегу, лежал мертвый человек. Этот человек не сразу умер, после удара ножом в грудь он еще бежал, потом шел, потом полз. И так его и нашли, вытянувшего вперед руки в последней попытке подняться и упавшего лицом вниз. В нем узнали оперативника Косугина, молодого офицера, проработавшего менее года в подразделении.

Немедленно была поднята тревога. Все помнили, как десять лет назад двое уголовников, ворвавшись в квартиру прежнего зама по режиму, убили его жену, захватили охотничий карабин и, устроив засаду у штаба, постреляли половину офицеров, выходявших оттуда после очередного промывания мозгов. Первым же поездом прибыли следователи прокуратуры и взялись за дело. Но все выяснилось уже на следующий день: у парня была любовница, жена командира батальона. И когда муж уезжал командовать, его женщина ложилась в постель с другим. Прошлой ночью любовник не успел уйти, да еще ляпнул что-то горящему от бешенства человеку. И тот всадил в него по самую рукоятку нож. У Косугина остались силы спрыгнуть с балкона и пробежать, прижимая руку к ране, несколько сот метров. Пока не подкосились ноги... Комбата немедленно арестовали, да он и не думал что-либо скрывать. С Украины приехали родители убитого, плакали... И его, без особой огласки, речей и процессий, похоронили на местном кладбище. А в пустой квартире арестованного осталась жена и через полгода завела новую связь.

Вообще, в этом поселке, где все дороги обрывались за последним домом, хуже всего приходилось женщинам. Они как-то рано старели, а еще – вдруг начинали крыть матом, пить водку, скучали. Ведь развлечений никаких. Кроме одного – делать любовь. И еще – очень чувствовалось дыхание зоны с ее нравами. Половина жителей были уголовники, отсидевшие свой срок, плюс мужики, приехавшие подзаработать, плюс прапора и офицеры. И на всех вместе три дела – водка, охота и баня.

Хотя баня – разговор особый. Работала она всего два дня в неделю – суббота для женщин и воскресенье для мужчин. Поэтому готовились к бане заранее, закупали водку, приходили компаниями. Это было не просто мытье, смыл грязь – и домой. Такое для новобранцев, таких как Мишка. А вот когда заходил настоящий человек... Такой всех выгоняет из парилки, открывает оттуда дверь и сначала тщательно её убирает, выметая листья от веников наружу. Потом сушит, догоняя до температуры, что и дышать, кажется, уже невозможно. И наконец, плещет на раскаленные угли заранее припасенный квас. Запах – умереть! На голову надевается старая вязаная шапка, закрывающая уши, перчатки на руки плюс свежий, только что вымоченный в кипятке веник. И вперед, наверх! Вот тут блаженство.

Для тех, кто понимает. Сначала делать ничего не надо. Посидеть, расслабиться, привыкнуть к полутьме, ведь горит только одна лампочка, прикрытая к тому же мутным плафоном. Потом встряхнуть веник, подняв его кверху, избавляя от излишней влаги, и легонечко начать. Походить им по бокам... И по-настоящему, с оттяжкой. Да так, что соседи отодвигаются в сторону от проносающегося мимо обжигающего горячего ветра. И остановиться. Лечь. Вытянувшись, закрыв глаза, провалившись в остановившееся время.

В этом поселке, как и во всех других таких местах, было много людей, сбежавших по той или иной причине с Большой земли. То милиционер из Киева, устроившийся здесь прорабом в зоне, то учитель из Москвы, через месяц после приезда начавший бегать по соседям, прося хотя бы одеколон для опохмелки, или одинокий старый врач с грустными глазами, тихо живущий в доме для начальства.

Временами между вольнонаемными водителями МАЗов, в основном, бывшими уголовниками, и прапорами, охранявшими уголовников настоящих, возникали грандиозные драки. Что не сделаешь, чтоб повеселиться? Мишка в драках не участвовал. Он предпочитал ходить в кино. Сеансов в клубе было два – на семь и на девять. Фильмы менялись каждый день. Каждое утро киномеханик прикреплял на зеленую фанерку у клуба листок с названием будущего удовольствия, и ветер рвал и рвал киношную рекламу со ржавых кнопок и, злясь, уносил, бросая в конце концов в снег. Киномеханик, серьезный человек, кино крутил только тогда, когда набиралось пять человек, но даже это количество собиралось редко. Никому не хотелось тащиться в холодный клуб, где утром проходили политинформации, и дополнительно мерзнуть там вечером. В конце концов, киношный человек стал делать исключение для своего постоянного клиента, и Мишка таки посмотрел фильмы. И про чешского жулика, переодевшегося официантом, и старый польский «Анатомия любви», и индийские, и еще в котором молодой Окуджава пел: «Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам...» А кругом лес, темно, холодно, и снег скрипит под валенками, когда возвращаешься.

5

В понедельник, в восемь часов утра, на политинформации грянула гроза. После выступления замполита начальник штаба встал с места, развернул лист бумаги, оказавшийся Мишкиным письмом в прокуратуру, и стал ровным голосом читать текст. По залу прокатился гул.

– Ты что это, Кац, взялся у нас уголовников защищать? В прокуратуру на нас пишешь? – нагнувшись вперед и упершись костяшками пальцев в стол, жестко спросил начальник.

– Нельзя есть гнилую рыбу, – срывающимся голосом с места ответил санитарный врач.

– Так ты это что? Может, и дальше писать собрался? Про рыбу, там, овощи, погоду? Или про то, что водки мало? Так?

В зале рассмеялись.

– Нельзя есть гнилую рыбу, – беспомощно повторил отвечающий.

– А ну, хватит! – зычно крикнул хозяин. – Мне здесь писатели не нужны. Если не понял – твоя беда. Другой разговор будет.

Посмотрел на часы:

– Все. По рабочим местам. Начальнику медчасти зайти ко мне.

Люди с шумом стали подниматься и выходить, искоса поглядывая на Мишку. Тот тоже поднялся и, сунув руки в карманы, чувствуя, как непроизвольно дрожат колени, независимо посвистывая, вышел из клуба.

Сидорович появился через полчаса. Сел, достал валидол и положил под язык.

– Вы извините, – начал Мишка.

Но старик махнул рукой:

– Да ладно...

И внезапно стукнул кулаком по столу:

– Ведь все понимает, гад! Сам сказал: «Зарвались, меры не знают». Седов, видимо, тоже от него получил, я думаю... Стал потирать левую половину груди:

– Ты тоже, не знал, что ли, с кем связываешься?

– Сидорович, ну рыбу нельзя было есть, ладно, мясо сварили в марганцовке, но с рыбой это не поможет!

– Ай... Ну, ты как маленький! Кто твою рыбу давать собирался... Зону бунтовать дураков нет.

И вздохнул:

– Хотя, быть может, наглости у них теперь поубавится. Хозяин шутить не любит.

Весь в расстроенных чувствах после так красиво начатого утра, да еще повстречав по дороге улыбающегося Николая Павловича, сандоктор решил дожидаться школьного автобуса, чтоб уехать отсюда куда глаза глядят, хоть в поселение.

Автобус обычно приезжал на десять-пятнадцать минут раньше окончания уроков и стоял с заведенным мотором, ожидая пассажиров. В два часа из школы побежали дети и, весело галдя, стали кидаться снежками. Водитель, в широкой, как аэродром, кепке и замурзанной эковской униформе, показывая на часы, неуклюже бегал за своими маленькими клиентами, на ломаном русском объясняя, что он опаздывает. Наконец дети успокоились, часть из них пошла по домам, а часть забралась внутрь, и автобус покатил вперед. Стоял безветренный белый день, и солнце, искрясь, играло на снегу. Они быстро, легко ехали по накатанному зимнику, иногда сворачивая в сторону и пережидая встречные МАЗы.

– Смотрите, смотрите, лось! – с восторгом закричала рыжая девчушка, показывая пальцем. – Сеня, Сеня!

Сеня, в большом не по росту пальто и с длинным шарфом, обмотанным вокруг шеи, вскочил с места и прилип к стеклу. Видимо, этот мальчик появился здесь недавно, ничего еще не видел, и его опекали. Водитель, обнаружив объект, увеличил скорость. Но лось, увенчанный пышной короной, равнодушно посмотрел на приближающийся экипаж и, едва касаясь копытами утоптанной колеи, плавно понесся в сторону леса. Дети опять расселись по местам, а та же рыжая девочка тоненько-тоненько начала петь:

Малиновки слышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...

Ее немедленно поддержали, толкая в бок Сеню, чтобы он тоже пел.

– *Той... березовый плато-ок. И тихую речушку без названья...*

– *Прошу тебя...* – серьезно выводил ребенок.

Так и доехали, с песней. Потом, часто добираясь таким образом, Мишка узнал, что это была одна из самых любимых песен маленького дружного автобусного ансамбля. А пока дети побежали по домам-баракам к своим мамам и к своим папам, отсидившим срок. Огибая по дороге встретившегося Шмоняка, столовую с Анной Ильиничной и штрафной изолятор за колючей проволокой.

Санврач же, вооружившись листом бумаги и ручкой, пошел выполнять свою работу – проверять «чисто-грязно». Обходя барак за бараком и разговаривая со шнырями-дежурными, он писал короткие акты, оставляя копии написанного начальникам отрядов. Потом подошел к ШИЗО и нажал кнопку звонка. Ему открыли, и спецдоктор сунул свой нос в камеры. Одна из камер не отапливалась, и в ней

находились люди. Мишка посмотрел на часы – было пять, скоро должен был начаться прием больных в медчасти, оставил все и побежал за фельдшером.

Вася действительно уже приехал и, как всегда, находился в чудесном настроении и легком подпитии. По своей должности веселый фельдшер раз в месяц выписывал у Сидоровича спирт для всяких там обработок, но этот спирт имел обыкновение кончатся на полторы, а то и две недели раньше положенного, поэтому Вася постоянно требовал увеличить количество выписываемого семидесятиградусного медикамента (так как много больных), а хитрый Сидорович, опять же (так как много больных), постоянно предлагал ему вместо спирта еще полкило мази Вишневого. Так что договориться у них никак не получалось. Медчасть же Васина представляла из себя отдельный, всегда жарко натопленный домик, в котором пожилой санитар создал почти домашний уют с чистыми занавесочками на окнах..

– Как, как дела? – спросил Вася и подмигнул. Он чуть-чуть заикался.

– Пойдем в ШИЗО, – вместо ответа попросил Мишка. – Там одна камера не отапливается, в ней люди, выглядят совершенно больными, хочу, чтобы ты написал заключение.

– Я что, д-дурак? – искренне удивился фельдшер. – Т-ты лучше скажи, т-ты спирт с моими огурчиками п-пробовал?

– Потом, – Мишка повернулся и вышел.

Так как дежурный прапорщик подписать акт тоже отказался, он с этим листком бумаги, расписавшись самостоятельно, направился к Шмоняку.

– Да тебя учить надо... – задумчиво сказал Шмоняк, прочитав. – Все лезешь? Ни х... не понимаешь и лезешь?

– Вы подписываете или нет? – спросил.

– Что? – Шмоняк сжал в кулак руку, державшую акт. – Это?

Чувствовалось, что он с трудом сдерживается, чтоб не выйти за рамки вежливого разговора.

– Я думаю, – сказал Мишка, – вы уже поняли, что я дурак. И я здесь временно, а у вас погоны... И писать я могу, вы утром слышали. Так что лучше затопить...

Потом, закончив всю эту абсолютно ненужную глупость и удивляясь себе, что опять связался, битых два часа он стоял на вышке КПП, ожидая МАЗы, чтобы уехать домой. Наконец забрался в кабину одного из них и покатил, заморожено следя за дорогой, выхватываемой из молчаливой темноты светом горящих фар.

А в гостинице, когда добрался, был праздник – бухали курсанты. Они уже две недели находились здесь на практике и каждый вечер устраивали себе подобное удовольствие. Под настроение Мишка взял бутылку и пошел к ним. Парни были уже на взводе, и с ними сидели еще несколько местных женщин.

– Ап, – кричал магнитофон, – и тигры у ног моих сели...

Все наливали.

– Ап... и с лестниц в глаза мне глядят...

Опрокидывали.

Ап – наливали.

Ап – опрокидывали.

В общем, очень скоро, после очередного «апа» Мишка увидел, как заливная рыба и бутылки, стоящие на столе, начинают терять свои очертания. Тут с шумом открылась дверь и через нее в комнату ввалился какой-то усатый в расстегнутой рубашке, обнимая прижавшуюся к нему Ленку. Мишке стало неудобно: когда-то, только приехав, Лена пыталась зацепить его, крутилась, крутилась возле, но он так и не пошел навстречу, сам не зная почему. Ведь был один. Ленка поняла и отстала. И только иногда улыбалась глазами, встречая в коридоре медчасти этого бывшего соседа по гостинице, глупого доктора, неизвестно отчего.

Усатый, устроившись на самом хорошем месте – около остатков заливной рыбы, усадил Ленку на колени и стал целовать, с силой поворачивая ее голову к себе. Та отбивалась, чувствуя, что на нее смотрят.

– Ап, – опять завели с самого начала, – и тигры у ног моих сели...

– Ну, ты, – сказал Мишка, – таракан, быстро отпустил...

Усатый удивился.

– Это кто? – спросил у соседей.

– А чёрт его знает, – ответили ему. – Пришёл, сидит...

– Ап, – орал магнитофон, – и с лестниц в глаза мне глядят...

Усатый ссадил девушку и встал, из расстегнутой рубашки колечками выбивалась шерсть.

Ап... и кружатся на карусели...

Мишка залепил заливной рыбой всю поверхность морды противника.

– Ап... и в воздух летят...

Женщины убежали, курсанты повскакивали с мест и начали серьезно бить пришельца.

Наутро доктор очень долго вставал, все болело, наконец поднялся и поплелся в медчасть. В медчасти Сидорович сидел в кабинете, заполнял какую-то начальническую ведомость и мурлыкал:

– Ап... и тигры у ног моих сели...

Услышав, как вошли, объяснил, не поднимая головы:

– Вчера проходил мимо гостиницы, услышал, так въелось...

– Сидорович, давай не будем петь, – умоляюще попросил подчиненный.

Старичок посмотрел вверх и присвистнул:

– Ничего себе... Получил, что ли?

– Вообще-то да, – смущенно признался работник, держась сразу за подбитый глаз и опухшие клоунские губы.

– Да, но, я надеюсь, не от тигра же? Мишка стал улыбаться, зажимая рот рукой, чтобы сильно не растягивался, – так было больно.

– Никуда сегодня не ходи, – приказал начальник. – С такой физиономией только объекты проверять. Сиди здесь, придут делать вытяжной шкаф, смотри, чтоб не уперли что-нибудь ценное.

И ушёл.

Через некоторое время появилась Ленка. Засунула голову в кабинет начальника, увидела побитого санитарного, зашла и плотно закрыла за собой дверь.

– Доволен? – спросила.

Мишка пожал плечами.

– И зачем это надо было?

Опять пожал плечами.

– Нет, ты скажи! Вот ты скажи, ты что, мой папа, что ли? И сам не дам, и другому не дам? Ну, скажи! За моей нравственностью следишь?

– Да нет, – ответил тихо. – Ты извини, я ведь сам знаю – не мое дело, но уж так...

Ленка закрыла лицо руками, замотала головой и, заплакав, вышла из комнаты.

В десять часов появился мастер. Это был двухметрового роста детина с руками, похожими на лопаты. Но эти лопаты так любовно обращались с деревом, что Мишка засмотрелся. Мастер делал то, что от него требовалось, и рассказывал, что отец у него краснодеревщик, что передал ему не только профессию, такую редкую нынче, но и некоторые жизненные устои. И хоть он оступился случайно, но устои эти соблюдает и советам отца следует. В обед довольный Мишка удалился подзаправиться, а потом, придя из столовой, опять уселся перед будущим вытяжным шкафом, приготовившись, как и утром, наблюдать за руками чудо-сто-

ляра. Но после обеда настроение мастера неожиданно резко изменилось. Он ничего больше не рассказывал про жизненные устои, угрюмо молчал, лопаты его без толку сжимались в огромные кулаки, работа не шла. Унюхав запах водки и почувствовав опасность, Мишка ушел к себе в кабинет, рассудив, что все закрыто, и если что-либо произойдет, — он услышит. Но буквально через несколько минут увидел через открытую дверь, что краснодеревщик уходит.

— От греха подальше, — подумал с облегчением и забыл о нем.

Часа через два, собравшись в магазин и проходя мимо ближайшего к медчасти дома, побитый доктор услышал истошный женский крик. Рефлекторно остановился, и в этот момент прямо на него из подъезда выбежала женщина. Сначала, увидев физиономию, отшатнулась, но потом, узнав, крикнула:

— Не дай уйти этой гадине, я вызову оперативников!

Вместе с Мишкой остановился лейтенант-пожарник, худой, высокий человек, всего два месяца как находящийся в посёлке. Они посмотрели друг на друга и зашли в подъезд. Первая справа дверь была открыта, и оттуда доносился мат и звон разбиваемой посуды. Заглянув внутрь, Мишка похолодел — в слепой ярости по квартире кружился его столяр, ломая все, что попадалось на пути. Остановить его было все равно, что остановить быка. Он махнул рукой пожарнику, стоящему сзади, и, тихо ступая по ступенькам, вернулся на улицу.

— Надо найти что-нибудь, — сказал. — Какие-нибудь палки, железо. Это такой боров, если он выйдет, нам конец, но и выпускать его действительно нельзя.

Пожарник пожал узкими плечами и встал рядом. Но им повезло. Столяр почему-то не вышел, через десять минут прибыл фургон с решетками, оттуда вылез белый от ярости Комков, чуть поменьше ростом, но с такими же кулаками, как у того, а с ним еще двое. Они зашли в подъезд, выволокли почему-то не сопротивляющегося бугая наружу, кинули на землю, и Комков стал его бить ногами.

— Я тебе поверил, — кричал оперативник, срывая свою злость. — А ты в первый же вечер... Тепленького захотелось, теперь у меня никогда не выйдешь...

И продолжал пинать лежащую тушу.

— Вставай!

Тот поднялся и что-то протянул Комкову. Оперативник усмехнулся и взял.

— Ладно, сделаю, а теперь залезай, сволочь! Столяр полез в фургон.

— Что он дал? — спросил Мишка.

— Да четвертак, чтоб я мимо прапоров на вахте провел, — откровенно объяснил Комков. — А то они из него котлету сделают за это дерьмо.

Махнул рукой, и они уехали.

Не будет вытяжного шкафа, — грустно сказал Мишка недоуменно посмотревшему на него пожарнику и пошел дальше в магазин.

6

Но вот... даже в Коми началась весна. Ярче засветило проснувшееся солнце, стал мягче, плотнее снег и потекли ручьи. Стряхнув с себя долгий зимний сон, расправили ветви уставшие от прошедших морозов деревья и, мимолетно улыбнувшись друг другу своими немного припухшими губами-почками, устыдившись наготы, от посторонних взглядов закрылись молодыми клейкими зелеными листочками. Но и весной, и летом, так же, как и зимой, не было им покоя, и под завывание бензопил деревья по-прежнему падали на землю, где люди топорами срубали, по их мнению, все лишнее и такими, вытянувшимися, молчаливыми, их грузили на те же МАЗы, уходившие по бревенчатым, заранее подготовленным лыжневкам в зону на разделку. И постоянно весной всегда начиналась одна и та же, изрядно

поднадоевшая, кампания по поднятию лежалой древесины из болот. Все вольные, свободные от дежурств офицеры, шофера, медики, инженеры собирались вместе и, вооружившись преимущественно своими руками, а еще крючьями, бензопилой, направлялись в молодой пробуждающийся лес и под залихватские крики вперемежку с площадным матом, грязные чуть ли не по шею, вытягивали из болот сброшенные зимой как излишняя тяжесть МАЗами по дороге в зону деревья. Их грузили на машины, по двое-трое, приподнимая над собой. И разбегаясь, тот, кто был впереди, подбрасывал болан кверху, а задние, на бегу, по воздуху закидывали его в тяжело сидящую на колесах машину. Сидорович всегда вызывался ехать в лес, но такую работу выполнять, конечно, не мог, поэтому кашеварил у костра, варя суп с картошкой и кусочками колбасы, добавляя туда обязательно растительное масло для вкуса.

– С войны привык, – объяснял.

А после усталым, наработавшимся людям привозили широким жестом ящика два водки. Выходило примерно по полбутылки, иногда бутылке на брата, и все ели докторский суп с растительным маслом, колбасу со складов и пили, пили водку. Жизнь становилась легче, веселее, горел костер, по кругу шла железная прокопченная кружка с чифирём, люди начинали дымить сигаретами, рассказывать небылицы, смеяться не к месту, и только отстраненно шумел лес над их головами.

А еще весной прибыл в поселение новый зам по режиму вместо не справившегося с производственными задачами Шмоняка, а его жена поступила работать в медчасть медсестрой. Звали ее Оля, и имела та Оля ясные веселые, с искоркой, голубые глаза. А чуть погода, в начале лета захотел Сидорович пойти в отпуск и оставить вместо себя именно спецдоктора Михаила Каца.

– Сидорович, – сказал Мишка, – а почему я? Лучше оставьте Н. П., он все-таки терапевт.

– Да уж, терапевт, – фыркнул старичок. – Да о нем и слышать не хотят – так себя зарекомендовал. Смотри: поселение закрывает Вася, он знает, что делать. В зоне – Николай Павлович. На твою долю остается поселок и пару раз в неделю приемные часы начальника медчасти – жалобы жуликов разбирать. Что ты, в институте не учился? В поселке люди здоровые, если и заболел кто, так простудой, а против этого первое дело баночный массаж. Так что не тушуйся!

Сказал и уехал.

Как раз в это время Мишке опять дали квартиру. На этот раз однокомнатную и, по всей видимости, более теплую, чем та, что была раньше. Новый хозяин перенес туда свой красный чемодан и, раздобыв две кровати, установил их вместо мебели. Одну в кухне, другую в комнате. В наследство от прапорщика, закончившего службу, достались также стол и стул, которые, починив, можно было с успехом использовать в хозяйстве. Соседями же его стали – справа лесник, с морщинистым, как жеваным, лицом и узкими выцветшими глазами, живший с женой и сыном, несовершеннолетним наглым бандитом. А слева – одинокий пьяница, в минуты запоя бующий в стенку ногами и выкрикивающий нехорошие слова.

Первым Мишкиным делом как и. о. начальника медчасти был врачебный консультативный прием в поселении. Ничего особого не случилось – одному прописал таблетки от поноса, другому от кашля, третьему, добывающему больничный, – больничный не дал. Потом был вызов к прапорщику. Как тот прапорщик объяснил, у его, прапорщика, жены болело в пузе. Ученый доктор помял мягкий теплый живот, почесал свою голову и прописал слабительное. После этого его долго не вызывали, никаких экстренных случаев не было, и довольный и. о. тихонечко получал зарплату главврача и ждал приезда начальника. Тут между делом позвонил Андрей, и Мишка рассказал ему, что остался вместо.

– Да моего уже полгода нет, – равнодушно ответил друг. – Я тут лечу. А на санитарство давно наплевал, это только ты у нас такой охламон...

Ну, что еще случилось за это время – где-то через месяц проклюнулся начальник санитарный, прислав письмо, что собирает на совещание. Что ж, ладно, поехал. На вокзале все так же стояли чахлые худые деревья, с трудом одевшиеся в слабый зеленый наряд с просветами. И дальше все знакомое – дома и мусорные кучи. Мусорные кучи, кстати, были местной достопримечательностью. Зимой они превращались в величавые монументы, постепенно, усилиями граждан, расширявшиеся с боков, а летом, медленно растапливаясь и теряя форму, расплывались по ближайшим окрестностям, привлекая и рождая тучи жирных гудящих мух. Обогнув пару таких творений рук человеческих, перейдя железную дорогу и балансируя по поставленным в грязи и лужах обломкам кирпичей, многопрофильный доктор вплотную приблизился к барaku санэпидстанции прямо к назначенному времени.

– А где Кузьмин? Кузьмина не вижу! – грозно спросил вместо приветствия начальник и, как-то неловко поперхнувшись, сказал: – ик.

– Ты ему, Кац, передай, – продолжил он с напором после некоторого перерыва. – Если он так будет относиться к своим обязанностям... Меня, видите ли, игнорировать вздумал! – вдруг возмутился главный санитарный неожиданно и даже стукнул кулаком по столу. – Так ты ему передай: выговор, выговор обеспечен! И тебе, тебе тоже выговор – какие-то несостоятельные жалобы в прокуратуру пишешь, потом на меня все ши-шишки... Нельзя так, это тебе не по Ленинградам рассекать. Туда свернул, сюда свернул.

К концу монолога вызванные коллеги явственно увидели, как главный устал за прошедшие выходные. Речь его все замедлялась, замедлялась. Пока не утихла совсем, и он махнул рукой, отпуская всех с миром.

На обратном пути Мишка сделал крюк и заехал к Андрею – Андрей веселился. В отличие от некоторых коллег-неудачников, он получил двухкомнатную именно с помощью горячей воды отапливаемую квартиру, и в ней сейчас происходил великий гуд. Мебели, включая кровать, еще не стояло, на полу лежали люди и бутылки, а сверху низко-низко висела невиданной красоты хрустальная люстра, купленная исключительно на трудовые доходы и по очень большому благу.

Многопрофильный доктор как вошел, так сразу и воткнулся головой в эту красоту. Люстра жалобно зазвенела.

– Еще раз тронешь люстру – убью, – сказал хозяин и поздоровался.

– А ты что? Поднять выше, в конце концов, не можешь? – разозлившись и потирая ушибленное, спросил гость и тоже поздоровался.

– Нельзя.

– Почему?

– Нельзя нарушать установленный порядок вещей, – переходя на свою обычную манеру выражаться, изрек местный двухкомнатный философ. – А то ведь многое в мире может измениться из-за этого.

И добавил:

– Выпить хочешь?

– Если не поднимешь выше – сломается, – упрямо повторил Мишка.

– Еще раз стукнешь – убью, – опять пригрозил Андрей. – На ночь останешься?

– Нет, поеду, я же этот, и. о.

– И-а ты, а не и. о. Чукча кучерявый.

– Точно, чукча кучерявый, – сказал кто-то с пола и захохотал.

– Я ему сейчас, наверное, в морду дам, – задумчиво сказал и.о.-и-а.

– А что, дай, мне этот дурак давно уже надоел, – неожиданно согласился хозяин люстры.

Но драться им не дали, растащили, дурака выперли из теплой квартиры, а два друга уединились в кухне.

- Там тебя на совещании обзывали, – вдруг вспомнил гость.
- Плевать я хотел. Никуда им от меня не деться. Вот только одна мысль меня посещает – зачем я этот институт закончил?
- Ну-ну.
- Нет, смотри, работа: горшки в детском садике проверять – это раз, туалеты – два, столовки – три. Неплохо для мужика? *Я чувствую...* – Андрей взял прислоненную к стенке гитару и стал под перебор струн читать собственные стихи:

...как времени кисель
Течет, бессмысленно переливаясь
Из пустоты обратно в пустоту
(сквозь наши тусклые умы),
мне муторно, я от безделья маюсь...

- Так что ты предлагаешь? – прервал его собеседник.
- Ничего.

...Твой пьедестал похож на плаху,
Где ты и смертник, и палач
А времени топор хлестнет с размаху,
Ведь жизнь проходит – плачь, не плачь...

- А как же тогда люстра?
 - За люстру убью.
 - Мы пить будем или нет? – открылась дверь.
 - Да-да.
- Они вышли ко всем.
На полу один рассказывал байку:
– Сажусь в поезд, гляжу – смотрит. Ну, у меня сразу... Глазки-шмазки, подсаживаюсь... Тары-бары... Короче – всю дорогу...
– Сколько я ездил, почему-то у меня никогда такого не было, – грустно, со вздохом позавидовал Мишка.
– Не переживай, у меня тоже, – улыбнулся философ.
Наутро, конечно, болела голова, и доктор, помаявшись, зашел к леснику.
Лесник был человек обстоятельный: кроме жены и сына у него имелся служебный мотоцикл с коляской, собака – рыжая коми-лайка и домик-кухня, стоявший около сараев с дровами. В кухне этой всегда было уютно, полутемно, на стенах висели связки чеснока, лука в капроновых чулках и потрескивала дровами большущая печка, пышущая жаром. По долгу службы лесник все свое рабочее время проводил в лесу и там браконьерил, принося оттуда в рюкзаке битую птицу, а то и лосятину с медвежатиной.
– На, – сказал он и пододвинул к соседу прокопченную черную сковородку с кусками жареного мяса. – Поешь, небось проголодался. – Налил в граненый стакан водку. – И выпей. Знаешь, как я похмелю лечу?
– Нет.
– Рюкзак на плечи – и в тайгу. А там пять часов иду без перерыва, пока в голове не просветлеет.
– У меня на это здоровья не хватит.
– Не хватит, – согласился лесник. – Хлипкий ты. Жидковат. Вот в наше время...
«В наше время» человек с морщинистым лицом отсидел двадцать пять лет за преднамеренное убийство. А потом, как многие другие, после больших сроков отвыкшие от нормальной жизни, остался в этих, таких знакомых, местах, найдя себе легальный спокойный заработок.

Опохмелившись, Мишка вернулся домой с одной-единственной мыслью: лечь на кровать и накрыться одеялом. Но не успев даже снять ботинки, услышал стук в дверь. Открыл и увидел пьяницу-соседа.

– Что надо? – спросил (не любил он этого человека).

– Болит, – хватая ртом воздух, сказал сосед. – Сердце болит. Мать твою, ты что, посмотреть не можешь?

– Ладно.

Он взял стетоскоп и, зайдя в неудобную голую квартиру пьяницы, стал слушать его сердце. Сердце билось слишком быстро и давало сбои. Давление было понижено.

Мишка дал валидол – не помогло. Сделал укол кордиамина – не помогло.

– Болит, – простонал человек и весь покрылся потом. – Как болит, сука. Делай же, делай что-нибудь!

– Сейчас.

И. о. начальника медчасти поднялся и позвонил в центральную больницу. Рассказал.

– Привези его, – ответили оттуда.

– Каким образом?

– Тепловозом. Через станцию договориться надо. Тогда пришлют.

Тепловоз подошел к часу дня. Больного погрузили в грузовик, и грузовик поехал по бетонке, подпрыгивая на выбоинах.

Подъезда к перрону, конечно, не существовало. Они под мышки вытащили стонущего человека из кабины, положили на носилки и понесли бегом. Водитель матюгался беспрестанно. Медсестра, которую Мишка взял с собой, бежала рядом и зачем-то держала за руку лежащего. Когда до тепловоза осталось совсем немного, больной приподнялся на локтях, повернул голову, как бы пытаясь посмотреть, куда несут, что впереди, и вдруг, захрипев, упал и закатил глаза.

– Стой! – завизжала медсестра, и одновременно с ней закричал сзади врач.

Носилки положили на землю. Он ввел адреналин. Без изменений. Начал делать закрытый массаж сердца. Не помогло. Вдувал воздух в холодеющий рот. Напрасно. Все было напрасно. Человек умер.

Труп втащили на открытую платформу тепловоза и поехали. Дул холодный ветер, и низко висело серое небо. Все заботы кончились. Медсестра поплакала и перестала. Молчали всю дорогу. Умерший на резких поворотах катался на носилках от края до края, и носилки надо было удерживать рукой. Лицо ушедшего было спокойно, глаза закрыты, казалось, он все всем простил.

По приезде их ждала скорая.

– Что, умер? – удивился человек в белом халате.

– Давай тогда в морг! – крикнул шоферу.

По пути заехали в универмаг – торопиться было некуда.

Потом Мишка сидел в вестибюле больницы и писал справку на тетрадном, в клеточку, листе бумаги, списывая из справочника правильные названия лекарств.

От квартиры соседа остался у него ключ, который он, как и положено, сдал в хозчасть. Говорили еще, что вроде бы приезжал сын умершего, грозил судом, но все так и затихло. Квартира долго стояла пустая. Сидорович вернулся. И Мишка сдал ему бразды правления, чтоб больше никогда не брать.

А вообще после этого случая ничего не изменилось. Все так же ходил на работу и в баню. Лето прошло. Отпуск так и не дали. Потихонечку стало забываться. Ко-

гда-то, в Ленинграде, он спас человека. А вот теперь... Так что перед Богом 1:1. Что еще? Схлестнулся с Анной Ильиничной, когда, вздумав взвешивать котлеты, увидел их несоответствие весу, указанному в меню. Обидел майора, заместителя по быту, написав в газету «Наш край» про загаженную стоками уборных местную речку. Карикатуру нарисовал в «Комсомольском прожекторе» на начальника зоны. И так далее, и тому подобное, и так далее.

– Все бушуешь? – кричал Андрей в трубку. И декламировал:

Совесь, совесь, злобная сука,
Гложет души заскорузлую кость...

Это все Фрейд, Фрейд! По Фрейду играешь... Сублимация!

Мишка молчал, не споря.

Из этого состояния его вывел Коля.

Коля был новый сосед, веселый и толстый. В первый же вечер он зашел к еще совсем незнакомому Мишке и, очень критически на него посмотрев, сказал:

– Давай бороться?

– Че-го? – удивился тот.

Но Коля, не слушая, растопырил руки и стал совершать обманные движения. Отступал, наступал, потом вдруг схватил Мишку поперек туловища, бросил на пол и там прижал.

– Сдаешься? – спросил.

– Сдаюсь, сдаюсь, – пропыхтел. – Да отпусти же, чёрт!

– Вот так.

Донельзя довольный собой, Коля встал с Мишки и похвастался:

– Сильный я, правда?

– Уж такой сильный... Да сильный, сильный, не лезь ты, ради бога!

Стал отряхиваться:

– Кто ты вообще такой?

– А прораб, – ответил толстенький. – А ты кто?

– В медчасти работаю.

– А что ты умеешь делать?

– Как это?

– Ну, ну кроме работы? Вот я, например, сажаю человека на табуретку и в зубах ношу, а ты?

– Я? – Мишка задумался и растерянно признал: – Ничего не умею...

– Ну, это пока, научу...

Коля покровительственно похлопал соседа по плечу.

– Тепло у тебя. Я, пожалуй, отдохну тут, – и протянул руку: – Коля я. Выпьем за знакомство. У тебя водка есть?

А тут вдруг Сидорович сломал руку. Пospорил с Вит Дор Бор, что отожмется тридцать раз от пола, и действительно отжался. Во время последнего рывка что-то в руке хрустнуло, и теперь Мишка имел обязанность варить ему по вечерам картошку и жарить лук на сковородке, чтоб ту картошку заправить.

В квартире докторской было вечно холодно, и начальственный старичок в своей неизменной вязаной шапочке с помпончиком, сигарета в зубах, рука перевязана, барином сидел за широким столом, покрытым газетами, и, ожидая ужин, играл сам с собой в шахматы. Время от времени крича в кухню:

– Скоро ты там или нет! Спирт стынет!

Кстати, из-за этого происшествия Вит Дор Бор почти неделю чувствовал великие угрызения совести. Доходило до того, что, приходя в гости к начальнику, он приносил не спирт, а честно купленную за четыре семьдесят андроповку.

– Ну, если б зуб, – говорил. – Вылечил бы. А так... Вздыхал и пожимал плечами.

– Хорошо, что не зуб, – тихо смеялся Сидорович, вспоминая, как Вит Дор Бор с большой кровью и сильно напрягаясь, выдрал у обратившегося к нему Комкова один...

А через час по знакомой боли Комков обнаружил, что не тот. Услышав о своей ошибке, Вит Дор Бор немедленно удрал в Сыктывкар и сидел там неделю, пока у оперативника не прошло озлобление.

Вообще, пока Мишка находился на Севере, умерло три царя. Бывают такие периоды – происходит что-то вокруг, происходит, бурлит. И все как-то мимо. Во всяком случае, на жизни поселка это никак не отразилось. Правда, при Андропове люди в шинелях вроде бы воспряли духом, но это быстро прошло с его смертью.

Теперь так:

– Михаил Семенович, – сказала новая медсестра Оля, – вы куда это направляетесь?

Мишка растерянно остановился:

– А что?

– Да ничего, идите-идите...

Голубые глаза смотрели почти серьезно.

Потоптался на месте и пошел.

– Михаил Семенович, – на следующий день, – а вы не можете мне помочь ту тележку с амбулатории подтащить...

– Ну конечно.

Подтащил...

– Михаил Семенович, а сколько вам лет?

– Двадцать три.

– А я старше, мне уже двадцать пять. Вы что, так и живете один? Совсем один?

– Да.

– И женат не был?

– Нет.

– А я вот не могу одна, – вздохнула грустно. И спохватилась:

– Ой, вам же идти надо! А я задерживаю...

– Ну...

– Нет-нет, это так серьезно, это ведь так серьезно...

Вдруг приподнялась на цыпочки и сказала очень торжественно:

– Зона ждет, товарищ, все так на вас надеются.

И, не выдержав, расхохоталась.

– Ой, мой больной идет, УВЧ буду делать, физиотерапия называется. Я здесь, я здесь, – закричала и махнула тому рукой.

Мишка вышел из медчасти и поплелся действительно в зону, бурча про себя:

– Все так на вас надеются, все так на вас надеются...

В зоне, в амбулатории, доктор-санитар застал вконец растерянного Сидоровича.

– Получили сорок метров линолеума, – сказал Сидорович, – такой красивый. Я уже прикидывал, как в больничке постелить, а теперь не хватает – украли.

Мишка возмутился:

– Вот жулики, вот жулики! И ведь это не первый раз! Помните, в прошлом году стекла оконные сняли. И так быстро – вечером были, а утром нет. А санитар, морда, и тогда клялся: «Ничего не знаю, ничего не знаю...»

В надежде обнаружить линолеум умный доктор побежал по отрядам, заглянул в баню, клуб – нет линолеума. По дороге встретил Комкова.

– Чего бегаешь?

- Да вот, линолеум украли.
- Нашёл?
- Нет.
- И не найдешь.
- Почему?

Мишка остановился от удивления.

- Так ведь я взял. И замполит, и зам по режиму. И Седов тоже. Вопросы есть?
- Нет. Даже совсем нет.
- Молодец.

Спецдоктор вздохнул и пошел к Сидоровичу.

– Сидорович, – сказал, – я придумал, что делать с остатком: постелите его себе в кабинете.

На обратном пути зашел в медчасть. Оли уже не было. Сел за стол и подергал за ручку сейфа – у него было постоянное поручение от начальства проверять, закрыт ли сейф, и стал смотреть в окно: вот «газик» проехал, наверное, в поселение, больше некуда. МАЗ прогремохал с боланами – на нижний склад; жена бывшего комбата прошла – интересно, куда метётся?

Телефон зазвонил, Мишка очнулся и поднял трубку:

- Алло?
- Привет, это я.
- А, Андрей...
- Как жизнь?
- Да вот, жена комбата пропилила куда-то, ты не знаешь, куда?
- Дурак ты все-таки. А если не хватает – это надолго...
- Люстра висит? Жадный ты, собственник...
- Висит.
- Что-то случилось, Андрей?
- Да нет, вроде все нормально, поговорить захотелось...
- А-а-а. Я тут, кстати, твою соседку по новой квартире видел. В Викуне случайно. Она действительно красивая.
- Это да. У нее глаза, как небо...
- Хорошее сравнение.
- Быть может, быть может... Но, к сожалению, очень холодное небо...

А через неделю Мишка собрался ехать к болгарам за продуктами. Не то что сильно так уж нужны были, просто ему хотелось посмотреть. Когда вышли на станции, он ахнул, увидев почти забытое – несколько девятиэтажек и настоящий асфальт между ними. Болгары устроились комфортабельно – была центральная котельная, которая и отапливала дома, школу, спортзал и маленький магазин – средоточие мясных, рыбных, овощных консервов, в том числе и знаменитых, давно экспортируемых в Союз помидоров в томате. Ночевать пошли в девятиэтажки. Внутри они оказались набитыми людьми, как те консервы рыбой в магазине. Орали магнитофоны, пилаась противная болгарская водка без закуски, столбом стоял сигаретный дым, спать было некогда. Мишка познакомился с одним парнем, который без особых раздумий немедленно пригласил его к себе в Болгарию. В основном это были, конечно, молодые ребята, тяжелым трудом в чужой стране зарабатывающие деньги. Лес отправлялся к ним, на Балканы. Рядом с поселком имелся небольшой деревообрабатывающий комбинат имени одного из их великих коммунистов, куда по утрам они уезжали на автобусах работать. Как-то все было без охраны, даже странно... Вернувшись, Мишка поделился с Сидоровичем:

– Знаете, – сказал, – а ведь они почти по-человечески живут. Почему у нас так не получается? Так просто – построить нормальные дома... Работаем одинаково, а живем совсем по-разному...

– Тебя в штаб вызывают, – уклонился от ответа старичок. Но вызывали не только его – ломался график вывозки леса, и начальник штаба решил усилить контроль за вывозящими лес поселенцами, а для этого посадить чуть ли не в каждую машину по наблюдателю, чтобы делать хронометраж и докладывать о состоянии дороги. Вот он и собрал всех, по собственному выражению, отдыхающих и объяснил задачу.

– Не буду, – громко объявил строптивый Мишка. – Ничего в этом не понимаю, поэтому не буду.

Но «хозяин», не обращая внимания, закончил свою речь и всех распустил. Мишке приказал остаться.

– Ты мне надоел, – сказал прямо. – Моя б воля, вышвырнул бы отсюда вверх тормашками. Ломаешься, как баба, лезешь везде... Не поедешь – будет выговор Малявину за то, что не справляется со своими обязанностями, руководить персоналом не умеет. Да и вообще, у меня давно есть кандидат на его зарплату...

В девять часов вечера Мишка заступил на дежурство. Пришел в диспетчерскую, где толпились водители, стояла рация, а на стенах висели старые, подбадривающие казенными словами плакаты, и оттуда, получив своего поселенца, уехал.

Вывозка для новичка оказалась делом интересным. Лесоповальные участки находились далеко, за тридцать-сорок километров (все качественное поблизости было уже вырублено), и шофера успевали делать лишь по две-три ходки за смену. Не видно было ни зги, гигантская машина мчалась вперед, освещая мощными фарами две узенькие деревянные скрипящие полосы, бросая свет далеко вперед, на весь ночной лес, натужно гудя мотором. Из динамика раздавалась переключка, наконец, добрались и до Мишки:

– Как дорога?

– А я откуда знаю, – сказал хронометрист. – Машина едет.

Раздался смех, и больше его ни о чем не спрашивали. На лесоповальном участке подъезды к лыжневке были освещены прожекторами. Кругом копошились люди, лежали складированные боланы, ездили трактора, таща за собой из глубин леса голые деревья. Пахло свежесрубленной зеленой жизнью, хвоей. Машину загрузили, и её прицеп тяжело осел на колесах. Обратная дорога пролегла в промзону. Раскрылись колючие высокие ворота, проверка, опять ворота, и вот: нижний склад. Земли нет, вместо нее утопанные горы опилок. Зацепили тросами груз, и пошла крутить лебедка. Боланы рухнули на землю, и на них накинута люди с бензопилами и крючьями. Распиливаемое дерево визжало.

Утром, уставший от бессонного сиденья, Мишка отдал листок с записями в диспетчерскую и пошел домой. Уже было холодно, и ноги, обутые в легкие ботинки, ощущали мерзлоту.

– Как вывозка? – спросила Оля на следующий день.

– Дорога была хорошей, много успели, – важно ответил.

– А машина ехала? – звонко расхохоталась. – Я от мужа слышала, теперь это как анекдот по поселку.

Хронометрист надулся.

– Ну ладно, Миша, не обижайся, я ж не хотела...

– Да я и не обижаюсь, – отмяк быстро. – Что делать, если я ни бум-бум в этом...

– Сидорович идет...

Они посторонились. Главный с любопытством взглянул на двоих сквозь очки, сказал «гм-гм» – и пошел дальше.

– Давай к нам, – предложил Мишка. – Начальство ушло.

– Пойдем...

Они устроились друг напротив друга.

- Оль, а ты откуда вообще?
- Я разве не говорила? С Вологды. У нас там полдома и огород есть. А ты с Ленинграда, правильно?
- Да. Знаешь, я вообще-то на Украине жил, а вот учился в Ленинграде. И теперь всем говорю – с Ленинграда.
- А я там так и не была.
- Хороший город... Замолчали.
- Тихий ангел пролетел, – шёпотом сказала Оля. – Слышишь? Слышишь, как крыльями шелестит?
- Слышу, – ответил. Тоже шёпотом.
- ...У Оли русые, завязанные в косичку сзади, волосы, лоб чистый, открытый, в голубых глазах бегают смешинки. Она смотрит на Мишку, чуть хмуря брови, почти серьезно, руки локотками на столе, щеки упрятаны в теплые ладони.
- Вздохнула:
- Пойду я, Мишенька, надо сына с садика забрать.
- Давай я тебя провожу?
- А не боишься? – в глазах опять запрыгало. – У меня ведь муж начальник. Ревни-вый...
- А ты?
- Фыркнула:
- Я-то нет.
- Собралась.
- Вначале зайдём в магазин, ладно? Мне надо хлеба купить.

8

- Я лечу над проклятой землей, термошлем застегнут на ходу... Мой «Фантом», как пуля, быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту....
- Андрей, ну дальше, ну что-нибудь!
- Вижу голубеющую даль, красота такая – просто жаль, вижу я как Эдвард с Бобом...
- Останавливается...
- Са-а-зрели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани са-а-зрели вишни!
- Андрей любил петь и безобразничать.
- А тут еще причина – день рождения. Поэтому отмечать начали серьезно – с понедельника. В четверг выползли на улицу – навстречу шел майор (лектор по международному положению). Его официально пригласили, и он прочитал лекцию про Израиль, Афганистан и нашу партию. Именинник задал некорректный вопрос, и майор полез драться. Но драчуна ловко кинули через правое бедро, и Андрей, загоревшись примером, решил всем собравшимся показать карате. И так как никто рядом быть не захотел (добровольно), а в дверь всунулся ничего не подозревающий, только что пришедший длинный Шурка, Андрей попробовал ударить его неожиданно «рукой льва», промахнулся и, защищаясь, сказал, что он не он, а великий Киромори Оцука. Потом упал и заснул.
- В пятницу доктор пил с замполитом, замом по режиму и замом по быту. Когда спирт кончился, спросил:
- Выпили? Все выпили? Да? А теперь проваливайте отсюда к чертовой матери, а то я вам головы пооткусываю...

Встал, вышел на свет, больно ударивший в глаза, остановил тюремную машину и стал разъезжать в ней по поселку. Пока опоенные им водитель и машина не врезались в центральную, самую большую уборную (яренгскую достопримеча-

тельность с резными окошками). Кинув поломанную, валявшуюся вверх колесами, неинтересную игрушку, пьяный доктор в обнимку с бывшим шофером задумчиво шел по главной улице, пока не встретил главного начальника.

– Все пьете, Кузьмин? Когда прекратите? – грубо спросил начальник.

– Да еще дня два-три – и все, у нас с этим строго, – держась в рамках, учтиво ответил молодой специалист. И посмотрел на начальника мутными глазами.

Остаток дня все кричали, дрались и ожесточенно ломали единственный оставшийся в живых стул в докторской квартире. Андрей шумел больше всех. Потом притих, сел в сторонке и заплакал.

– Андрюша, что с тобой? – остолбенев, спросили товарищи-собутыльники.

И тогда Андрей произнес знаменитую впоследствии, распространившуюся по всем секретным поселкам учреждения М-199 фразу:

– Мне скучно.

К приезду Мишки уже все закончилось. Андрей без сил лежал на кровати и с трудом курил, держа сигарету дрожащими пальцами.

– Слышал, слышал, как ты тут развлекаешься... – ехидно прокомментировал состоявшееся событие можский доктор. – Киромори Оцука, тоже мне...

Андрей бросил сигарету.

– Я знал одного знакомого, – промолвил задумчиво. – Под предлогом искреннего разговора он говорил гадости. И испытывал великое наслаждение при этом. Дай гитару? Спасибо.

...Облака плывут, облака,
Тихо, тихо плывут, как в кино,
А я цыпленочка взял табака,
И к нему коньяка полкило...

– Вот скажи! Ну, скажи? ...Для чего мы прожили треть жизни? – вдруг перестав играть, спросил.

Мишка пожал плечами:

– Так сразу и не ответишь...

– Да уж, откровение. Тут муза фальшивит... А ты – «не ответишь»...

...Снова похмелья свирепая злость,
Снова ненужные резкие строчки...

Нет, не то.

Мелькают холодно мгновенья,
Вот здесь ты прав, вот здесь предал...

Андрей грустно посмотрел на друга:

– Трудно сравнивать себя с гениями – чувствуешь диссонанс. Не-ет, это судьба. И не говори мне – судьба.

– Какая судьба?

– Никудышная: стихи не получаются, пить нечего, есть нечего, спать не с кем – судьба, – опять взял гитару:

И мы пошли со старым рюкзаком,
Чтоб совершить покупки коренные...
И ходики купили мы стенные,
И чайник мы купили со свистком...

- У меня до сих пор чайника нет, – сказал Мишка. – Коля мне дает.
- Да я не про тебя.

Ах лучше нет огня, который не потухнет.
И лучше дома нет, чем собственный твой дом,
Где ходики стучат старательно на кухне,
Где милая моя, где милая моя,
И чайник со свистком.

- Чего это ты завелся?
- Та-ак. Подумалось вдруг, думается зачем-то...
- Ох, и заносит тебя...
- Заносит... Конечно, заносит...

Под черным носом нашей бригантины
Взошла Венера, странная звезда...

Всего лишь...

В дверь постучали. И вошли.

– Эй, – крикнул Шурка, – стилиаги! А я опохмелиться принес, потом в баньку сходим, попаримся.

Андрей оживился, его глаза заблестели, и переменял пластинку:

Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть,
Бутылку водки с рюмочкой в запас всегда иметь.

Вечером, после работы, в медчасти никого нет. Медсестра и санитарный врач в кабинете Сидоровича. Целуются.

- Вот, – шепчет Оля, – теперь будешь всем рассказывать...
- Ну что ты, как можно... – обижается Мишка.
- Скажи, а если б я не была замужем, ты бы женился на мне?
- Конечно.

Олины глаза огромные. И из них даже куда-то пропал бесенок.

– Ну зачем, ну не надо, ну Миша, пусти!..

Вырвалась.

– С тобой уж и посидеть нельзя совсем...

В глазах опять мелькнуло. Или это только кажется? Потом он провожает ее до магазина. Оля покупает черствый хлеб. И Мишка за ней покупает...

– Что это вы... все вдвоем да вдвоем? – ехидно спрашивает продавщица. И, замирая, ждет ответа.

– Да любовник он мой, – честно признается Оля. И, пряча улыбку, принимает сдачу у растерявшейся, остолбеневшей женщины.

И начинает сыпать снег, Мишка идет к себе домой, приносит из сарая дрова и долго пытается затопить печку. Но спички, бумага тухнут и тухнут. Наконец, разозлившись, он отливает в банку спирт и плещет им на в который раз зажженную бумагу. Спирт сразу взрывается, и Мишка, ожёгшись, бросает банку на пол. Пламя мгновенно разбегается во все стороны, желтыми зубами впиваясь в крашеное дерево. Хозяин срывает одеяло, накрывает пожар, и только тогда, поднимая глаза, видит, что забыл открыть дымоход. Затапливает по новой и, думая о чем-то своем, улыбаясь, механически подкладывает дрова в оживающую печку.

Стук в дверь.

– Кто там?

– Это я, мальчик, – явно Колин голос.

– Какой ты мальчик! Ты пьяница.

Открыл, пустил.

Коля крутится по комнате, никак не может остановиться.

– Сними телогрейку, – советует Мишка. Он сидит с ногами на кровати и наблюдает за соседом.

– Пым-пым-пым, – поет Коля и телогрейку не снимает.

– А это что? – показывает на пол. – Горелый какой-то?

– Опыт со спиртом проводил, – опрометчиво говорит сидящий.

– А для меня, для меня осталось что-нибудь? Я тоже хочу опыты делать.

– Еще чего, я для ремонта принес, побелить.

– Ага, ты спиртом, значит, пол мазал, а теперь на стены переходишь, чтоб известка сильнее приставала, да? А бедному Коле-мальчику опять ничего нет?

Мишка смеется:

– Ну, достал, достал... Ладно.

Сели, дёрнули, закусили. Коле не сидится, он вскакивает, берет свободную табуретку и ставит ее на стол, прямо над сковородкой с недоеденной жареной картошкой и помидорами в томате – болгарским презентом.

– Садись.

– Зачем?

– Я же обещал.

– Не помню.

– Обещал, – упрямо повторяет Коля. – Садись, это же очень интересно!

– Ну, забодал, забодал, репей! Если уронишь – с тебя бутылка.

– Сам и выпью, – бормочет Коля. Мишка залезает на стол и спрашивает:

– Куда ногами?

– К окну.

– Боец чуть приседает, берет зубами табуретку, двигает к краю стола, при этом роняя сковородку, упирает две табуретки ножки себе в живот и, натужно сопя, приподнимает вместе с Мишкой. И так делает круг по комнате. Мишка с интересом оглядывает сверху пространство и уклоняется от накаленной лампочки.

– Хватит! – кричит. – Хватит!

Коля ставит табуретку с весом обратно, и на ее дереве четко проглядываются с обеих сторон вдавленные отпечатки полукружий его зубов.

– Что-то поесть захотелось, – говорит задумчиво. И поднимает с пола удачно упавшую сковородку с сохранившейся картошкой. – И почему у тебя так мало хлеба всегда?

После Колиного ухода Мишка еще раз проводит рукой по отпечаткам на табуретке, качая головой и удивляясь:

– Хорошие дела, ведь чуть было не прокусил, – думает. Тушит свет и ложится спать. Тикают заведенные часы, догорает, уютно потрескивая, печка, и от нее красные блики на полу.

Опять стук.

– Кто там?! Спать не даете? – кричит в сердцах.

– Открывай, это я!

Лесник. Лицо в крови.

– Что с тобой?

Лесник в ярости:

– Пойдем, быстро пойдем, надо его поймать.

– Кого?

Проклиная все на свете, одевается и выходит. На улице морозит, и в пустом небе светит круглая, ничем не замутненная луна.

– Смотрю, а он у меня колеса с мотоцикла снимает, – орет лесник. – Ах ты гад! Но я по-человечески... Не стал сразу... Что ж ты делаешь, говорю! Душевно так начал... У своего ведь ворует, кусочник! А он мне – поворачивается и кастетом. И ноги... Так вот – эта собака где-то здесь. Я их все точки знаю, мы его сейчас накроем.

Пошел. Как-то стыдно было отказываться – вроде как боишься...

Обидчика застучали в котельной: маленький мужичонка, лет шестидесяти. Пьяный. Стоит и остолбенело смотрит на вошедших. Глаза стеклянные, нулевые.

– А-а-а, – подсказывает к нему лесник. – Ты-ы-ы... Да я...

Тот становится боком. Лесник как-то быстро успокаивается.

– Ты его охраняй, а я пойду за оперативниками.

– Зачем? Дай ему – и хватит! – обалдевает от такого поворота Мишка.

– Не-ет, за мотоцикл он не так, он мне хорошо ответит...

Помощник плюет с досады:

– Ну, влип!

Выходит, подпирает дверь котельной валявшейся рядом доской и сразу повеселев от мысли, что решил проблему, начинает расхаживать рядом, засунув руки в варежках глубоко в карманы и подпрыгивая, чтобы согреться. И очень скоро уносится мыслями далеко-далеко, и забывшись, опять улыбается сам себе.

– Так, десять шаг вперед, десять шагов назад, десять вперед, десять назад, два... – повернулся и оцепенел: напротив стоял вор с занесенной для удара рукой. С зажатой в кулаке острым, длинным куском стекла. Нападавший дернулся, и в это мгновение Мишка ударил его ногой по руке. Попал и разбил стекло. Ударил второй раз – уголовник отскочил и загундосил:

– Начальник, да что ты, да я никогда, да ничего и не думал...

– А ну, быстро обратно, тем же путем, – приказал Мишка.

Тот поворачивается, с порезанной руки на снег капает кровь, и через слуховое окно лезет в котельную.

– И нужен же я ему был, – думает Мишка, дрожа от возбуждения. – Ведь мог уйти, я б и не заметил. Так нет, специально подкрадывался, хотел...

Приехал мотоцикл с прапорами. С него слез лесник. Мужичонку забрали, мотор долго не заводится, невыспавшиеся прапора матерятся на морозе.

– Ну, пошли? – спрашивает лесник.

– Пошли.

– Спортом надо заняться, – засыпая, шепчет. – Не забыть бы... Спортом...

Не забыл. Попросил у директора школы ключ от спортзала, взял у Сидоровича тетрадку в клеточку и записал в ней: 23 декабря 1984 года.

Бицепс, левая рука – 32, правая рука – 31.

Трицепс, левая рука – 26, правая рука – 25.

Грудная клетка (в спокойном состоянии) – 92.

Живот (после умеренной еды) – 83. Подумал и переправил на 82.

Вечером пошел в ободранный, голый спортзал, зажег свет и, пожившись, разделся. Стал бегать, стал прыгать, бить руками воздух. И как настоящий каратист, как Киромори Оцука, кричал на выдохе «хы».

У Ленки появился хахаль. Высокий такой, красивый, с хорошей улыбкой. Только что отсидел срок и, устроившись вольнонаемным рабочим, сразу к ней и притерся. Теперь у Ленки целыми днями гремела музыка и пились крепкие напитки. Казалось, бог, наконец, заметил ее и дал ей человека. У Мишки продолжался роман с

Олей, а Галя-фармацевт надумала поступать в партию. Только этого ей не хватало. Муж имелся, дети росли, летом ездила домой в Украину, лекарства стояли рядами, всё в порядке. С любовником, правда, не получалось. Попыталась было влюбиться в прапорщика, так тот оказался пьяницей и сукиным сыном – так ничего и не понял. И вот теперь – партия. Утром, на политинформации, замполит поднял Галю и стал читать ее характеристику: и такая она, и сякая, и общественной работой занимается... Потом спросил:

– Кто хочет сказать слово?

Наступила заминка, никто долго не вставал, и Галя медленно начала краснеть. В образовавшейся тишине выскочил Мишка, замполит с недоумением сказал: «Да». И Мишка признался, что почти любит фармацевтку. Вслед начали выступать другие. Когда «прием» закончился, Галя подошла и, как уже полноценный кандидат, важно поблагодарила:

– Спасибо, я вообще-то заготовила людей, но – спасибо.

В медчасти Оля отреагировала просто:

– Ну и пижон же ты, Мишка, палочка-выручалочка, тоже мне...

Выручалочка сделал сердитое лицо, растопырил руки и, неожиданно прыгнув ближе, обнял и поцеловал.

– Пусты-и-и, Ленка идет!

Ленка с торжествующим видом ворвалась в кабинет физиотерапии: Мишка стоял около окна и старательно туда смотрел, Оля, улыбаясь, возилась с УВЧ.

– Опять пропустила! – хлопнула себя по бокам. – Ну куда это годится: подкрадываюсь-подкрадываюсь – и ни фига не вижу!

– Тактику менять надо, – у Оли в глазах засияли смешинки. – Может, что и получится...

Ленка повернулась и понуро вышла из комнаты, но не ушла, а затаилась за дверью. Но терпения у этой непоседы не было совсем, через минуту она всунула внутрь голову и, не увидев ничего достойного внимания, негодуяще фыркнула и, с треском захлопнув дверь, покинула медчасть.

– Чистый, чистый УВЧ, – сказал Мишка, – хватит...

– Да уж, кругом ведь микробы, куда ни кинься – микробы, вот у тебя... Ой! Ну что ты делаешь?! Руки небось в микробах, а ты меня еще и трогаешь ими... Безобразие какое!

Новый год. В клубе. В прошлом году клуб был закрыт, так как прапора и водители устроили за неделю до праздника грандиозное побоище, но счета так и не свели, пообещав друг друга до-достать именно 31 декабря. Оценив ситуацию, начальник испугался жертв и на клуб повесил чугунный замок, отменив совместное гуляние. Но с тех пор прошло время, страсти улеглись, и в этом году вечер тридцать первого объявили открытым. Угольников загнали в зону и поселение, чтобы не высовывались, зал вымыли, убрали стулья, зажгли много света, на сцене установили ударник, колонки, туда поднялись прапора с электрогитарами и на все сто врубили музыку. Народ приходил уже подготовленный – крепко выпившие мужики в шинелях и телогрейках и их, тоже выпившие, раскрашенные по-парадному, румяные от мороза жены. У штаба воткнули в снег огромную елку, обвинив ее редкой проволокой, по ходу которой горели потерявшиеся среди могучих ветвей разноцветные лампочки. Горка ледовая рядом – дети на санках. И тишина. Снежная баба, нос морковкой, в небо смотрит, звезды считает. Клуб. Оттуда смех, музыка, у входа курят. И во всех домах светятся теплом и ожиданием окна.

Пришла Оля. Глаза чуть подведены синим и помада неяркая.

– А муж где? – удивился Мишка. – Почему ты одна?

Губы дрогнули:

– В поселение поехал, наверное, пьет там. Давай уйдем отсюда?

– Давай.

Вышли.

– А куда мы?

– Ко мне.

– А разве можно? – вырвалось. – Сейчас?!

– Когда мужа нет – можно. Ну что ты, неужели испугался?

– Да нет.

Оля открыла ключом дверь, сразу пахнуло теплом, уютom. Зажгли свет в прихожей, сняли обувь.

– Так тепло.

– Тепло. Потому что я дома. Давай тихо, ладно? Сын уже спит, я сейчас дверь к нему прикрою, и можно будет включить музыку, он обычно хорошо спит.

Снег кружится, летает и тает
И, поземкою метя,
Заметает зима, заметает,
Все, что было... до тебя.

Взялись за руки, но танцевать не стали, остановились.

– Миша, вот мы здесь, а ты... любишь меня?

– Да.

– Как здорово. Знаешь, ведь ты как спал. А я... хотела тебя разбудить.

– Мне кажется, у тебя получилось...

Посмотрели глаза в глаза и потянулись друг к другу.

Дома бушевал Коля:

– Где это ты пропадаешь, Рыжий? Мы уже вторую допиваем, а тебя все нет! Смотри! – обратился к человеку рядом. – Какой парень! Друг мой, в медчасти работает.

Человек медленно улыбнулся:

– Ну, будем знакомы – Алексей.

Перед Мишкой находился Ленкин хахаль. В наглых глазах его сидел смех, руки были неуловимы. Одно мгновение, и он вытащил из заднего кармана Кольки записную книжку. Колька был счастлив.

– Хочешь, я тебя на табуретке поношу? – предложил.

– Нет, – сказал хахаль, по-прежнему улыбаясь. – Некогда. Я на поезд, в одно место дернуть надо. Покедова, ребятки.

Ушел.

– Кольчик, а где ты раньше работал? – спросил Мишка.

– А везде.

И стал перечислять.

– Я как ветер, на одном месте не сижу.

С тех пор прошел месяц, прошел другой, и Андрей собрался поехать в отпуск – осталось достать деньги. И тогда он придумал штуку: без зазрения совести опять, как при люстре, использовав свое служебное положение, по блату, в расщелку купил румынский, полированный светлым лаком, спальный гарнитур и в тот же день, немедленно, продал его за наличные соседу.

Теперь деньги были, и можно было ехать на побывку.

– Давай со мной, заодно вина попьем... – пригласил.

– Да меня не пускают.

– Плюнь, еще год им от тебя не деться, отсюда даже в Афган не попадешь, я пробовал.

– Как это у тебя легко получается, туда-сюда, а я, между прочим, потом полной ложкой хлебаю.

– И ты мне позавидовал? Друг?! Да, я поэт! У меня жизнь другая, и люди видят, а ты стареешь. Раньше б такого не сказал.

– Сам ты стареешь!

Мишка очень обиделся и повесил трубку.

В отпуск он не поехал, зато отправился с Колей в Усть-Илимск, куда Коля получил командировку.

В Усть-Илимске трезвых не было. В Усть-Илимске был сплошной кошмар. Мишка спрашивал Колю – в чем цель командировки, но разумного ответа так и не добился. Коля, в унтах и потрепанной шапке с болтающимися заячьими ушами, расхаживал по поселку, находил каких-то случайных людей, тащил их в гостиницу, где они остановились, и знакомил их со своим другом Мишкой, замечательным парнем, что в медчасти работал. В этот раз он приволок какого-то эмвэдэшника и усадил за стол. Эмвэдэшник имел звездочки старлея и двухдневную серую щетину на лице. Добавив пару грамм к тому, что уже находилось внутри, он загорелся желанием сделать из Мишки и Кольки младших оперуполномоченных, так как вакантные должности присутствовали, а желающие занять их отсутствовали. Коля сразу отказался, заявив, что ему как прорабу командировочных платят больше, Мишка же согласился без оглядки и охотно поддакивал, слушая. В общем, они договорились назавтра встретиться в восемь утра и совместно посмотреть дела. Старлей поднялся, отдал, покачиваясь, честь будущему коллеге, пожал руку Коле и нетвердыми шагами вышел из комнаты. Потом было слышно, как он загремел вниз по лестнице. Следующий, в гражданской одежде и галстук, оказался работником КГБ. Этот с собой работать не приглашал, но Колину водку пил охотно.

– Как, как попасть в КГБ? – спрашивал Мишка.

– Сознание надо иметь, – отвечал круглолицый. – Наш учитель Дзержинский... И замолчал.

– Но все-таки? Как? – не отставал тот. – Допустим, я хочу!

Круглолицый смотрел искоса и нехотя объяснял:

– Надо закончить школу КГБ, пять месяцев – и ты настоящий солдат.

– А как, как попасть в школу? – цеплялся как репей Мишка и наливал до краев.

– Характеристику хорошую надо получить. Вот я – был водителем у капитана, он дал мне характеристику, поступил в школу, закончил. Сейчас я уже... – Тут он споткнулся, замолчал, попросился в туалет и там пропал, не вернувшись.

– Плохой человек, – сказал Коля. – Скользкий. Я б его на табуретке никогда не носил.

Вернувшись, услышали новость: арестовали Ленкиного любовника. Оказывается, он ездил и грабил в поездах и на станциях людей. Оперативники нагрянули с обыском к Ленке и забрали все новые вещи, все подарки, которые тот дарил. Следствие длилось недолго, хахаля судили и посадили, отправив в далекую от Можского «командировку». Ленка плакала-плакала, все глаза проплакала, потом выкрасила их в густо-черный цвет и вышла на работу. На политинформации замполит обвинил ее в пособничестве бандитизму и в слишком, по его мнению, свободном поведении. Зал засмеялся одобрительно. Ленка не выдержала, полилилась её горькие слезы, и черная краска потекла с ресниц, размазываясь по щекам. Смеялся Седов, смеялся Комков, смеялись лейтенанты и капитаны и улыбались, переглядываясь, их служащие в штабе жены.

– Прекратите! – крикнул Мишка. И встал.

– Это еще что? – удивился замполит. – А-а-а. Это наш санитарный...

– Отвратительно лезть человеку в душу!

– А принимать бандита – это не отвратительно?

– Его судили, а она ни при чём.

– Так-так. Еще, значит, один... Защитничек.

В зале опять засмеялись.

– Нет-нет, товарищи, мы это дело так оставлять не должны, еще не хватало в нашем поселке притоны делать. Это серьезный вопрос, товарищи. А этих двух я предлагаю – они еще остаются комсомольцами – разобрать их поведение на комсомольском собрании. Галина Алексеевна, обратите внимание, примерно разобрать, чтоб поняли!

И хахаль через месяц отличился, напомнил о себе, прислав письмо с зоны, угрожая, что если она когда-нибудь кому-нибудь даже руку пожмет, их большая любовь закончится трагически.

– Уезжай отсюда...

– Куда?

– Домой хотя бы, к маме.

– Меня никто не ждет, да и что я там буду делать, в деревне... А здесь квартира, работа, северные надбавки. Ничего, все образуется как-нибудь, Мишенька. Спасибо...

10

Прошло еще полгода. Ничего за это время такого уж удивительного и не случилось. Разве что убили Мишкину соседку по дому. Эта соседка, по кличке Селёдка, имела очень приличный, доходный бизнес, продавая водку. Это, конечно, не что-то особенное, продают водку и в Москве таксисты, но в Москве нет сухого закона. А в Можском и в таких местах, как Можский, есть. И та Селёдка получала с каждой бутылки прямо-таки изумительную прибавочную стоимость. Пока не убили – видно, у кого-то не хватило денег расплатиться. Вот так и погубила водка женщину, а жаль. Оперативники опечатали квартиру, и дело затерялось.

Тысячью нитей уголовный мир был связан с поселком. Где купить запчасти – у ээка в пожарке, где дрова – у ээка в промзоне, досочки красивые для кухни – это в цехе культбыта. Плюс передаваемые бесплатно слова, привычки, образ жизни. В Можском наибольшее количество проблем доставляли поселенцы. Конвойные худо-бедно сидели за колючей проволокой, и что бы ни происходило между ними – это происходило между ними. Поселенцы – другое. Они ходили почти вольно, появляясь иногда в самых неожиданных местах. Как-то Мишкина компания пила в одном доме, приспособленном под общежитие. И к ним присоединился лейтенант-пожарник, худой, робкий человек. Не выдержав уже после первых двух стаканов, он решил удалиться и вдруг наткнулся в коридоре на пьяного в грязь поселенца с сумасшедшими глазами.

– Ах, мать твою, – обрадовался поселенец. И ударил бедного лейтенанта от пожарной части в голову.

– А ну иди, позови еще кого-нибудь...

С трясущимися губами, весь бледный, с приобретающим цвет красочным фонарем, пожарник вернулся и прошептал:

– Там... зовут...

Не обратили внимания.

– Там... зовут...

И крикнул:

– Зовут!

– Чего? Кто это, мать его?

Лейтенант объяснил.

Двое водителей выскочили наружу. Первый упал, встреченный коридорным бойцом, но второй, вооруженный случайно завалявшимся в кармане кастетом, положил вояку на пол и там долго пинал его ногами. Пока не устал. А остальные

так и не отреагировали, а чего реагировать, когда не допили? Трагедии происходили, если уголовники встречали людей случайных, не знакомых с производственной обстановкой. В основном в переплет попадали родственники осуждённых, издавля приезджавшие на свидания. Как-то раз был случай, когда и Мишку попытались напугать. Двое в поселении встали, один впереди, другой сзади.

– Ну, ты, на-а-чалник, – сказал тот, что впереди, с приплюснутым носом. – Еще раз увижу здесь, чтоб курево притаранил, понял?

– Ребята, – Мишка не хотел ссориться, – где-то в Киеве, в Минске, в вашем районе – дело другое, а здесь – стоит мне слово шепнуть кому-нибудь... Вон, кстати, Шмоняк идет, вы его знаете?

Одно время умный доктор подружился с неким жуликом, работавшим диспетчером на важном производственном участке и имевшем, при помощи очков создаваемый, весьма интеллигентный вид.

– Откуда ты? – спросил при знакомстве.

– Из Ленинграда, – отвечал диспетчер. – Так давно не был. Мне бы только Неву увидеть. На Ломоносовском постоять. Вот, через месяц освобождаюсь, поеду, такая тоска гложет.

Весь покорённый, Мишка пришел прощаться и крепко жал руку чувствительного ленинградца, желая ему удачи в пути.

– А корешок-то твой даже до Москвы не доехал, – с огромным ехидством передал потом весть Комков.

– Почему?

– Сел в поезд, выпил и пошел приглашать проводницу к себе в купе, но вот незадача – та отказалась. Предложил выпить – опять отказалась. Попытался влить в рот – не хочет, выплёвывает. Стал бить ее головой об столик – не желает. Тогда терпение совсем лопнуло, открыл окно и через него начал выкидывать эту вегетарианку, уж очень обиделся. Но тут сбегался народ, и ему помешали.

Еще один, особо чувствительный, с которым Мишка был в дружеских отношениях, имел должность санитаря. Хитрый был бестия до предела. Любимым рассказом его было – как он вдул Николая Павловича, подложив под руку кореша, делающего рентген, хороший гнутый гвоздь. И как потом доктор сказал: «Ах!» И как направил мнимого больного в больницу, и как исправно лечил там его почти неделю... пока симулянта не выгнал Сидорович.

В конце концов жулик выпросил купить у Мишки маленький телевизор за семьдесят ры, а когда санитарный, наконец, собрался уезжать, перестал почему-то замечать своего вольного друга, чем и подорвал доверие к себе.

Летом Мишку послали на сенокос. Сделали бригаду человек в семь, запихнув туда, кстати, и незабвенного Николая Павловича, и направили ещё дальше на Север Коми – в глухую деревню.

Располагалась деревня в красивейшем месте около реки, широкой, медленной, с песчаными желтыми берегами, чуть поодаль которой росла сосна. Устроились в старом, покинутом доме со скрипучими, поющими при каждом движении полами и огромной печкой, призванной обогревать, спасти от холода в дикие северные морозы. Рядом с домом находился колодец, откуда воду забирали журавлем. Вода была вкусная, сладкая, как с сахаром. Быть может, потому, что колодец был сделан по-старинному: со стенками из выдолбленного дерева, придающего особый, забытый вкус воде. Каждый такой особняк сторожили гордые собаки, коми-лайки. И в отличие от городских и можских пустобрехов, эти разговаривать не желали и цепей не носили. Мишка как-то попробовал погладить одного... и еле руку унес.

На следующий день после приезда бригада в пять утра, как и положено при сенокосе, встала и гуськом потопала к конторе сельсовета садиться на машину и ехать в поле. Но контора была закрыта, машины не было. Вернулись, опять пошли, опять вернулись. Первых крестьян увидели в девять, без особой охоты они подо-

дили по одному, курили, вздыхали и садились на крыльцо конторы, на разваленную поленницу рядом. Когда их набралось человек пятнадцать, подъехал небольшой грузовичок, мужики забрались в кузов и покатали на сенокос. Стоял голубой прозрачный день, и рыжее солнце хорошо пригревало сверху. Сено было уже собрано в скирды, и оставалось только взять в руки нагретые, отполированные чьим-то многолетним трудом вилы, вонзить, поднять охапку и забросить вверх, на прицеп трактора. Простая, извечная, понятная работа. Мишка работал с удовольствием, а вечером пошел в местный клуб. Сначала там показали «Москва слезам не верит», а потом устроили танцы. Коми оказались народом незлобивым и не обижались, если пригласить их девушку потанцевать. Но магнитофон, стоящий на полу, быстро охрип, заглох, и собравшиеся пошли по домам.

История случилась перед самым отъездом, поздно вечером, когда почти все улеглись спать. Мишка задержался в клубе, смотря очередное кино, и вернувшись, поднимаясь по лестнице, услышал сдавленный женский крик и шум какой-то возни, борьбы. Подошел ближе и оторопел: один из командировочных, механик, с которым он и двух слов не сказал за время командировки, весь красный, не похожий на себя, чуть ли не рыча, ожесточенно срывал одежду с какой-то пьяной, сопротивляющейся женщины.

– Вон! – крикнул механик, резко повернувшись на скрип. – Вон! Кому сказал!
– Отпусти.

Действительно отпустил, вскочил на ноги и, выхватив нож, бросился на Мишку. Но вдруг упал, как-то неловко покотившись, от неожиданного удара сзади. Это Николай Павлович, тихонько подкравшись, нанес ему свое знаменитое маваси.

Женщина, подхватив сорванную одежду, всхлипывая, убежала. Механик заскрипел зубами и поклялся отомстить. А Мишка, расчувствовавшись, пожал руку Николаю Павловичу и сказал, что очень уважает его. И как человека, и как каратиста. Высокие стороны подписали мир.

Механик потом, будучи к тому же еще и старостой группы, попытался нажаловаться начальнику штаба, что и санитарный, и лечебный плохо работали, но хозяин выслушал это равнодушно – галочка была поставлена.

А по поселку тем временем гулял хохот. Оказывается, все дело было в том, что Анна Ильинична имела одну слабость... всего лишь одну маленькую слабость к молодым уголовникам. Она приглашала их с собой жить, вкусно кормила и облегчала (по возможности) им существование под суровой пятой закона. К ней целые очереди стояли. И вот как-то, еще не уволив одного, Анна Ильинична, обнаглев, пригласила уже другого. Но старый друг вдруг жутко взревновал и дал ей в глаз. Ну, за такое неслыханное изуверство его мигом посадили, а бедная изменница с переживаниями в душе и с сотрясениями в голове отправилась в больницу... Вот, оказывается, к чему приводят излишества!

А Мишка, приехав с одного сенокоса, немедленно попал на сенокос другой. Дело в том, что в закрытом учреждении М-199 существовало местное подсобное хозяйство в виде коров и свиней. И если со свиньями все было просто – они получали отходы с кухни и от этого жирели и размножались, то коровы требовали к себе более вдумчивого отношения, отвергая напрочь ошметки. Ведь именно коровы в долгие зимние месяцы давали такое нужное, необходимое маленьким детям, молоко. Так что дней десять-пятнадцать приходилось на лесных делянках, прыгая по мхам и закрывшись дождевиком от комаров, без особых размахов косить иван-чай и другую высокую траву. Потребителей этой травы можно было видеть иногда летом, когда они, бледные, худые, рогатые, выходили погулять в теплые, ясные деньки. Коровы, вздыхая, щипали траву толстыми губами, осторожно поглядывая на проходящих мимо занятых людей и негромко переговаривались друг с другом, посылая в воздух свое тихое, протяжное му-у.

Кроме собственно сена ходили также в лес и ломали маленькие зеленые веточки на корм братьям меньшим, так что на подходах к поселку все деревья стояли

ободранные. Один раз, после целого дня, проведенного за такими занятиями, капитан Злотников предложил искупаться, заявив, что знает озеро неподалеку. Все с энтузиазмом поддержали предложение и забралась в автобус. Капитан устроился рядом с шофером и стал показывать дорогу.

– Поедем по старой лыжневке, – сказал он. – Ближе будет.

Лыжневка действительно была старая. Трехствольное дерево ездило под колесами, автобус дергало, шофер сидел, чуть согнувшись, вцепившись в руль, и напряженно вглядывался вперед.

– А-а-а, черт!

Мимо не успевшего опомниться Мишки, сидевшего сразу за водителем, пронеслось, ломая, переворачивая сиденья, бревно, и автобус заглох. В установившейся тишине стало слышно, как что-то льется.

– Никого не тронуло? – осведомился Злотников.

– Нет.

– А что это капает? – спросил Мишка.

– Бензобак!!!

Все вылетели из автобуса. И тут он, как будто ждал, взорвался.

– Красиво горит, – сказал Злотников. – Хорошо, что дождь собирается, а то бы тушить пришлось. Ну, пошли, что ли, совсем недалеко уже.

11

Сидорович что-то погрузился – ходил молчаливый, не похожий на себя. Перестал бегать по утрам до станции и обратно, валидол клал под язык.

– Что с вами? – спрашивал Мишка. – Может, полечиться надо?

Махал рукой:

– Пройдет. Всегда проходило.

– Из дома письмо получил, видно, плохое, – шепнул по секрету Вит Дор Бор, живший с доктором по соседству. – Подсмотрел случайно: когда читал, руки дрожали. А ты, кстати, уезжать будешь или остаешься?

– Уеду.

– Твое дело... Хотя – лучше оставайся, что там тебе делать?

Позвонил Андрей (они уже давно помирились):

– Давай в эти выходные на охоту сходим? Я ружье достал.

– А что – мысль! Только точно, как договорились...

Наутро, точно в назначенный срок, Мишка, обутый в Колины болотники, явился в Яренгу.

С собой охотники взяли:

Пять кило хлорки – отнести по дороге на вахтовый участок.

Ружье – стрелять.

Две удочки – ловить рыбу.

Мясо в уксусе – для шашлыка.

Водку – а без нее нельзя.

В этот чертов день солнце палило по-сумасшедшему. Впереди бодро шел Андрей, угрожая ружьем всему миру, и из-за плеча у него торчали удилища. Сзади, все более отставая, тянулся Мишка с хлоркой, провизией и водкой.

– Скоро вахтовый-то, а? – кричал.

– Скоро-скоро.

Проходило полчаса.

– Ну, когда вахтовый? Скоро?

Андрей поворачивался, разозленный:

– Ты когда зудеть перестанешь?

- Передохнем, может?
- Вот пройдем, там и передохнем.

И снова шагал вперед.

Только один раз он остановился. Когда Мишка дотопал поближе, оказалось, что главный охотник сосредоточенно смотрит вниз.

- Что у тебя там?
- Следы.

У края грязевого полотна дороги, будущего зимника, вдоль которого они шли и куда, в вязкую жирную глину, несколько раз уже соскальзывал своими идиотскими болотниками Мишка, действительно виднелись какие-то отпечатки.

– А чьи?
– Да в этом-то весь и вопрос, чьи. Если б я знал... – Андрей вздохнул и поставил ружье на землю.

– Ты б лучше удочки в руке нес, – посоветовал Мишка, – удобнее будет.
– Удобнее... – передразнил Андрей. – Что ты в этом понимаешь? Ладно, пошли, что ли?

– Пошли.

На вахтовый добрались лишь к трем часам дня.

– Ну и дурасть все-таки, – сказал взмокший донельзя, еле стоящий на ногах Мишка. – И зачем я согласился? Тащить хлорку – это ж специально думать надо?

– Пойдем пообедаем? – уклонился от ответа Андрей. – Зовут нас.

После обеда, который примирил не любящего поесть Мишку с обстоятельствами, друг стал объяснять дальнейший маршрут.

– Вот смотри, – говорил он и чертил острием ножа по столу. – Мы спускаемся, потом направо – и будет озеро. А на озере утки низко летают. Понял? Там мы переночуем в кустах, а утром они все наши.

– А ты точно знаешь, когда направо? – спросил другой охотник.

Андрей разозлился.

– Ладно-ладно, понял, идем туда, где утки низко летают.

В общем, вышли. Вниз, вниз, направо, опять вниз.

– Озеро уже близко, – сказал более опытный. – Вон, вода под ногами хлюпает.

– А где ночевать-то будем? Мокро ведь.

В природе темнело на глазах.

– Действительно, – Андрей задрал голову и, посмотрев вверх, решил:

– Поднимаемся, может, успеем найти сухое место.

– А я о чем говорю? Бежим!

Следопыты рванули, да так, что и след-то их простыл, и даже не отпечатался.

– Нашли, кажется, вроде сухо, давай палки собирать.

Андрей сложил из наструганных щепочек домик, обложил это дело ветками и зажег костер. Костер, разгоревшись, начал уютно потрескивать и посылать тепло в пространство.

– Я читал в одной книге: там разбойники находили толстое дерево и клали в костер, оно тлело всю ночь и согревало людей. Это как-то называлось по особенному – ладья, ланья? Давай найдем, положим?

– Да вот же рядом с тобой корневище, его и бросай, а рубить что-либо – все равно топора нет.

– Тогда давай ужинать.

– Давай.

Вытащили мясо в кулечке.

– А неплохо идет, – жуя, заметил Мишка.

– Я думаю... После такой ходьбы. Ну, разливай что там у нас осталось. И спать. Завтра еще до озера топтать.

Ночью Мишка почти не спал. Вставал, подкладывал ветки, ложился, поворачивался то спиной, то лицом, с одного бока было жарко, с другого мерз.

Андрей спросонья спросил:

– Чего вертишься?

– Холодно.

– А-а-а.

И заснул опять.

Утром пошли вниз.

– Сколько мы можем спускаться, все нет и нет, – удивлялся Мишка.

– Я думаю, уже скоро.

Наконец услышали шум.

– Оно! Утки! – Андрей снял ружье с плеча и стал подкрадываться. Крался долго, махнув рукой товарищу, чтоб отстал. Но вот дошел и застыл, оторопев.

– Что? Что?

– Река. Откуда здесь река?

– Ладно, – Мишка вздохнул. – Пошли назад.

– Не-ет. Я еще рыбу половлю.

Размотал удочку и, закинув леску, уселся на берегу. Сидел так час. Встал. И рванув удилище обратно, все порвал.

– К черту! Уж лучше охотиться.

Тем временем, пока рыба ходила мимо, солнце окончательно поднялось, стало тепло, и лес ожил. Тут как раз Андрей увидел ворону, случайно пролетавшую мимо по своим делам, и со злости немедленно выстрелил. Конечно, не попал, и ворона, плюясь от возмущения во все стороны, на всю округу крича о двух негодях с ружьем, быстрее замахала крыльями дальше.

– Белый охотник – плохой охотник, – ехидно заметил Мишка.

– Сейчас как врежу...

– Да, конечно... Пошли лучше домой...

– Чего вдруг?! – возразил строптиво. – Лучше ничего не можешь придумать?

– Могу, только это разве плохо?

– Вот только возьми тебя с собой, так... то домой, то передохнем, житья нет!

– Посмотрел искоса: – Ладно, пошли, – и уверенно показал рукой. –

Туда. Видишь, где столбики стоят?

В высокой траве, где-то на расстоянии метров десяти друг от друга, просматривались уходящие в глубь леса вбитые в землю колышки. На ближайшем к охотникам была краской намалевана цифра «20», на следующем – «19». И так далее, уменьшаясь.

– Наверное, по колышкам сможем до Яренги добраться? – предположил Мишка.

– Не знаю, не знаю...

Потихоньку на сердце начала накапливаться тревога. Навстречу все попадались муравейники и муравейники, сначала обычные, потом все больше, больше, пока не встретился один – в человеческий рост. Оба застыли. От муравейника к муравейнику текли бесконечные дорожки рыжих муравьев.

– Зря идем.

– Ну ладно...

Инерция толкала вперед. Дойдя до колышка с обозначением «один», они остановились: дальше не было ни столбиков, ни тропинок.

– Придумал, – сказал Андрей. – Надо искать ЛЭП. Это выведет нас.

Подняли головы.

– Пока нет.

– Пошли.

Нашли через час. Столбы линий электропередач тянулись один за другим в густейшем молодом березняке. Чтобы не потерять их, поперлись именно в этот березняк. И тут, как раз вовремя, начался дождь. И гром гремел, и молнии сверкали, и хлестал он с такой силой, с такой злостью, что, казалось, хочет пригнуть,

втоптать людей в землю. В сплошных струях воды, под градом бьющих по лицу упругих веток проридались сквозь чащобу. Не видно было ни зги. Очень скоро Мишка потерял Андрея. Добравшись до ближайшего столба, он забрался по железным перекладинам высоко наверх, пытаясь разглядеть, найти, где же друг, но ничего, кроме сплошного колышущегося ковра, не увидел. Совсем рядом дрожали, прогибаясь под дождем, провода высокого напряжения.

Раздался выстрел, еще один – обрадовался, слез и побежал, преодолевая преграды. Бабахнуло опять, совсем рядом, и он увидел друга.

– Где ты пропадаешь?! – крикнул Андрей. – Я тут, понимаешь ли, ищу тебя, мокрый весь, как утка!

Березняк внезапно кончился, как только что, мгновением раньше, так же внезапно прекратил лить дождь. И перед охотниками, как из сказки, возникло огромное болото.

Мишка так и сел:

– Вот это да, как приятно! Ты знаешь, а обходить-то его – это еще дня два-три надо, я думаю... Какие будут мнения, товарищи?

– Живу я, как поганка... – горько ответил Андрей. И махнул рукой. – Прямо. Готов?

– Подожди...

Мишка сходил назад и приволок какую-то здоровую, длинную палку:

– Теперь я спокоен, можешь, кстати, взяться за другой край...

– Спасибо, я как-нибудь сам.

Болото плясало, мягко проседая под ногами. В небольших приветливых лужицах всплывали и с чмоканьем лопались пузыри.

– Скоро клюква будет, – задумчиво объявил Андрей в середине процесса прохождения, а кое-где и проползания. – Надо бы место запомнить, потом вернуться, собрать...

– Без меня, без меня... – Мишка тащил длиннущую неудобную палку и был очень зол.

Выбравшись, зажгли костер и растянулись около. Вечерело.

– Я бы поел...

– Да уж, обед всегда кажется вкуснее, если не завтракать.

– Спим, что ли?

– А куда деваться?

Наутро встали – птички поют, погода хорошая. Пошли. И вдруг услышали шум. Знакомый, проносящийся где-то совсем рядом.

– Поезд!!!

Побежали: менее чем через десять метров возвышалась насыпь железной дороги.

– Ты куда пропал? – спросила Оля на следующий день. – Я так волновалась...

– Да ничего, ничего, – вздохнул. – Заблудились немножко.

С Ленкой опять случилась неприятность. Не везло ей почему-то. В день своего рождения решила она собрать друзей и устроить хоть один раз в жизни настоящий праздник. Сказано – сделано. И вот – стоит уже на столе оливье-салат (правда, без горошка), капуста тушеная с зайцем (кто-то подарил имениннице дичь), водка, и шумят-гудят гости под музыку.

Ленка, с легкомысленным синим бантом на рыжей голове, со своими жгуче начерченными глазами, сидит во главе стола и яростно курит, размахивая руками и громко-громко смеясь. Потом вдруг кричит, при этом стуча облизанной для чистоты ложкой по бутылке:

– Алка! Алка! Тихо!
Гасит сигарету и умиляется.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты...

– тянется с шорохами лента старенького магнитофона и воспроизводит на всю механическую мощностъ голос Аллы Борисовны.

– Кто влюблен, кто влюблен, и всерьез, – подпекает ей Ленка, смешно выпячивая губы, – свою жизнь для тебя превратит в цветы...

– А-а-а, – встречается Мишка. – Ну, сдвинули, стынет же! – и, заглушая Пугачеву, орет: – Миллион, миллион зеленых бутылок из окна, из окна видишь ты... И-эх... – и хлопает себя по бедрам.

– Ну зачем ты? – тихо говорит именинница. – Такую песню испортил...

– Да ладно, брось!

Она действительно бросает, зажигает новую сигарету, поднимает стакан и опять хохочет.

Но всему приходит конец, ночь заворачивает поселок в свой шлейф, и все идут домой, натываясь на встречные столбы. Ленка, оставшись одна, обойдя стол с грязной посудой, выключает поработавший сегодня магнитофон и подходит к зеркалу. Молча смотрится, берет увлажняющий крем и пальцем мажет под глазами, пытаясь снять усталость. Неожиданно всхлипывает и хочет заплакать. Но слезы кончаются быстро, и она, обиженно шмыгая носом, выключает свет и ложится спать.

А наутро появляется в медчасти с иссиня-черным фонарем и разбитыми губами.

– Что случилось?

Машет рукой и идет в свою мастерскую.

– Ну что, что?

Нехотя, смотря в сторону, рассказывает: оказывается, какой-то излишне находчивый уголовник залез через окно и попытался изнасиловать. Она сопротивлялась, а он бил. Хорошо – стенки тонкие, соседи услышали крики и вызволили из беды. Вот такие дела. А переживать нечего – всё уже закончилось. И синяк пройдет – Сидорович сказал, что следов на лице не останется, а ему верить можно.

Появился Коля. Культурно так зашел. В два часа ночи (попробуй не пустить). И сел на табуретку со своими отпечатками.

– Ну? – спросил Мишка, сидя в своей излюбленной позе с ногами на кровати. – Чего скажешь?

Ничего не ответил Коля, выудил из-за пазухи бутылку и любовно посмотрел на нее веселыми маленькими глазками.

– Бухнем?

– Сейчас?

– А что? Никто и не мешает.

Мишка вздохнул, слез с кровати и приблизился к бутылке.

После первой Коля изрек:

– Хуже всего недопить. – И вытащил вторую.

– Ты что, обалдел?

– Так я ж уезжаю.

– Куда?

– А я разве не говорил?

– Нет.

– В Лабытнанги. Поезд, – Коля посмотрел на часы. – Два часа осталось.

– Чего, чего вдруг?

– А, надоело. Ткнул пальцем в карту, смотрю – Лабытнанги. Правда, название интересное?

Встал:

– Пойду к главному, уволюсь. – И потянулся.

– В это время!!!

– А что, у меня еще одна есть...

Мишка нацепил крючок на дверь и отправил себя спать. Но ненадолго: Коля вернулся и ходил ходуном в коридоре.

– Ну?

– Уволился.

– И он тебе ничего не сказал?

– Так я ж бутылку принес, все честь по чести.

Путешественник сел и стал сосредоточенно копаться в карманах. Выудил пятерку и критически посмотрел через нее на свет.

– Давай полтинник. У меня деньги кончились.

– Так ты ж не отдашь!

Коля обиделся:

– А тебе какое дело?

Мишка встал и дал деньги.

– Знаешь, а мне будет скучно без тебя, – признался.

Колю это поразило в самое сердце. Не в силах что-либо даже вымолвить, он нахлобучил на голову шапку, махнул рукой и направился к двери. Но вдруг, осененный, обернулся:

– Я придумал, – сказал. – Заведи себе женщину. И пей больше водку – здорово помогает.

Вышел. Но минут через десять, вернувшись с полдороги, постучал опять:

– Поехали, поехали со мной, вставай!

Но Мишка уже окончательно лег спать и не ответил.

Олиного мужа перевели. Не в Лабытнанги, конечно. Но далеко. Последнее время, кстати, она ходила какая-то вся напряженная, Мишка чувствовал, что назревает серьезный разговор, всячески пытался его избежать, но это не получилось.

– Я уезжаю, – подошла в конце дня. Тихо. И подняла глаза с надеждой.

– Жаль.

Он смотрел в сторону. Туда, где загибался и ходил волнами линолеум.

– Ты... ты не хочешь мне что-нибудь сказать?

– Ольчик, да все будет нормально, – и пошутил. – Весна пришла, и кончился твой срок... Помнишь песенку?

Олю передернуло, как от тока. Отстранившись, она растерянно посмотрела на собеседника и опрометью выбежала из комнаты.

На следующий день, утром, когда начальник медчасти и санитарный врач вместе сидели в кабинете, Сидорович, посмотрев на него поверх очков, нацепленных на самый кончик носа, сказал:

– Ольга в больнице. Приняла две пачки снотворного. Пришел муж, увидел, что она без сознания, меня вызвал. Ночью отправили.

– Я поеду?

– Не думаю, что она захочет видеть тебя.

Пожал плечами:

– История...

Вышел в коридор:

– А, Ленка, привет!

Та остановилась и выпалила со свойственной ей горячностью:

– И смотреть на тебя не хочу! Ты бы и со мной так поступил. Я надеялась, не у меня, так хоть у кого-то получится по-человечески... И не подходи ко мне! Уезжаешь? Так уезжай!

И вот, наконец, отъезд. Куплен билет на самолет, и целых три года бывший в употреблении в этом сказочном месте санитарный врач едет в Яренгу взять Андрея. Уже холодно и идет ранний снег – земля тихонечко натягивает на себя свое привычное покрывало, укрываясь на зиму.

По припорошенной бетонке к станции подъезжает газик, и оттуда выбирается начальник штаба:

– А-а-а, Михаил Давыдович... Уезжаете?

– Да.

– Что ж так – и не попрощаться? Хотя бы в гости пригласили, сколько ведь работали вместе, плечом к плечу, можно сказать?

– Ради бога. Город Черновцы на Украине. Улица Комсомола, два.

Можский – Яренга. Яренга – Сыктывкар. Андрей вместе с Мишкой гуляют по Сыктывкару. Андрей купил скрипку за девяносто рублей, единственную, которая была в магазине, и теперь, уже целый час, с превеликим терпением терзает три нежные струны, съезжившиеся под его смычком. Звуки из скрипки все-таки вырываются, но какие-то рваные, испуганные, словно бы скрипка отбивается от нападения и просит помощи.

– А ведь когда-то умел, учился, – говорит музыкант грустно. И вздыхает. – Надо будет ею по голове Шурку ударить, может, умнее станет?

– Наверяд ли, – смеется Мишка.

Он стоит у окна, прикрытого казенным тюлем, и смотрит вниз, на торопящихся куда-то людей и на деловые, по расписанию, и только по расписанию, едущие автобусы.

– Вот объясни мне, – спрашивает, – зачем ты остаешься?

– Я не здесь остаюсь.

– Здесь, не здесь – какая разница? Но ведь остаешься! Едешь в какую-то деревню, зачем тебе это?

– Работать.

– Подожди-подожди... Ерунда какая-то! Да гробишь ты себя, разве не понятно! Простой пример – ты поэт? Поэт?! Так кому ты будешь читать свои стихи? Разве что олень какой умный попадетс... Ты не будешь там поэтом!

Андрей поставил скрипку в сторону:

– Действительно, не буду. Да, наверное, не буду... Плохой из меня, к сожалению, поэт получается... Я буду там врачом.

Вечером спустились в ресторан. Мест, как всегда, не было, но Мишка сунул пятерку, и они проскочили. Маленький зальчик, официанты в мятой униформе, шум, музыка, водка и сигаретный дым. Примерно к половине одиннадцатого все, неважно, кто когда пришёл, доходят до кондиции. За столик подсаживается девушка:

– Мальчики, не угостите?

Угостили.

– Пошли ко мне? Я тут с подругой живу, недалеко...

Мишка было радостно приподнимается, но тут Андрей спрашивает:

– Скажи, а как ты дошла до жизни такой? К мужикам в кабаках липнуть?

И горшок с недоеденным харчо летит в его голову. Потом Мишка моет Андрея в туалете, стряхивая восточный суп сзади с пиджака.

– Если б харчо доел, мог бы еще костюм поносить, а так – только химчистка...

И вообще, что ты за человек? Все тебе надо обязательно испортить!

– Что, шлюха нужна? Всю жизнь мечтал? Иди, догони!

Утром поехали в аэропорт.

– Есть ли у меня счастье? – спросил доктор-моктор-санитар у автобуса.

И решил прокатиться без билета. Но его оштрафовали.

– Нет. В этом городе нет, – решил. – Поэтому я и уезжаю.
– Еще вспомнишь, – сказал Андрей, – пройдет время – вспомнишь... Я тут сочинил, пока ты храпел:

И вот, стареющий Пьеро,
Макнув дрожащее перо
В пучину собственных страданий,
Красивых мук, воспоминаний,
Распутал темы тоненькую нить
И принялся по-философски ныть,
О недопонимании плембеев...

– Говори-говори... Все никак не остановишься... А я, кажется, поехал. Уже время. Пиши! – крикнул.

Сдал чемодан, прошел контроль и сел в самолет. Стюардесса принесла мятные конфеты. Взял. Не хотел, а взял – положено, заплатил. В голову пришло неожиданное:

Самолет летит, мотор работает,
А в нем Мишка сидит, конфетки лопает!

Дома встречали с любовью – сын вернулся. Отдохнул пару дней в трехкомнатной квартире, скучно стало – и пошел работать. По профессии, конечно. Даже начальником отдела назначили: три тетки в подчинении – Орыся, Марыся и Ивонна.

Требовал с них строго: что сделали за неделю, и обязательно в письменном виде. На специализацию съездил. В любимый Ленинград на шесть месяцев – изучать эпидемиологию. Так что – все почти нормально. И как-то решил написать письмо. Своему бывшему начальству:

– Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья! И как у Вас дела? У меня все хорошо. Живу с родителями, ем готовое, вкусное, сплю на свежей, мягкой постели. А работаю далеко, сорок минут езды, в румынско-молдавском районе у самой границы, где половина населения не понимает по-русски. Приезжай в гости, Сидорович, отдохнешь... Места тут – сказка!

И отправил. А через месяц получил его обратно: сверху, красными чернилами было написано: «Адресат умер».

Прошло два года. В жизни ничего не изменилось. А чему меняться-то? Волосы только поредели. С намеком на дальнейшее. Теперь Мишка был уже областным специалистом и ездил с проверками. А когда попадал в разные там компании, с девушками особенно, рассказывал... так, значительно...

– Вот, был на Севере, работал в зоне... Случай был – чуть не убили, и еще был – чуть не убили, и еще...

И все говорили «ах» и требовали продолжения.

А потом все сломалось. И он уехал. Небольшая потеря для одних и слабенькое приобретение для других.

И...и...

И вот стареющий Пьеро,
Макнув дрожащее перо,
В пучину собственных страданий
Красивых мук...

ДВА РАССКАЗА

(из цикла «Восточные миниатюры»)

Беседа достопочтенного Чеун Тая с юной Мей Су в ресторане «Лин Фэт»

Достопочтенный Чеун Тай, человек с совсем седыми волосами, с лицом худым и морщинистым, с длинной редкой бородой, одетый в чёрные шелковые штаны и широкую блузу, и юная Фей Су, с красивым и гладким лицом, в белом платье с высоким воротником, вошли в ресторан «Лин Фэт». У входа в ресторан стояла статуя богини Тиен Хоу, охраняющая путешественников.

Они сели за покрытый белоснежной скатертью столик под жёлтым фонариком, разрисованным экзотическими птицами, находящийся в дальнем углу рядом с камином, на котором стояла изящная белая ваза с двумя ручками в виде голов дракона. Каждый столик в ресторане скрывался за ширмой, раскрашенной яркими цветами.

Один из официантов подошёл к столику достопочтенного Чеун Тая. Они обменялись приветствиями. Официант подал меню, а достопочтенный Чеун Тай поинтересовался, как поживают члены его семьи, и тот заверил Чеун Тая, что они прекрасно себя чувствуют. Достопочтенный Чеун Тай заказал креветки с чесноком, квашеные овощи и фасоль с устричной приправой, а также несколько омаров и зеленых губанов, приготовленных в красном соусе. Официант принёс бутылку с белым вином и два бокала, разлил вино и удалился.

Достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су отпили вино и поклонились друг другу.

– Для меня большая честь, – произнесла юная Фей Су, – что вы пригласили меня разделить вашу трапезу.

– Нет, это вы оказываете мне честь, – ответил Чеун Тай. Он ещё раз поклонился и спросил:

– Можно налить вам ещё вина?

– Для меня это двойная честь, – повторила юная Фей Су и умолкла, выжидая.

Достопочтенный Чеун Тай разлил вино. Чеун Тай и юная Фей Су выпили и помолчали.

Официант принёс к столику достопочтенного Чеун Тая креветки с чесноком, расставил перед ними блюда и удалился.

– Вы прекрасны, как лепесток цветущего лотоса, – сказал достопочтенный Чеун Тай. Это правда. Великий поэт Юань Мэй сказал: «Одна истина прогоняет двадцатикратную ложь».

– Вы – человек чести, – ответила юная Фей Су, – не так уж часто мне выпадает удовольствие разделить трапезу с таким человеком.

Некоторое время достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су молчали и отдавали должное креветкам.

– Для человека, познающего истину, мир подобен прозрачному стеклу, – сказал Чеун Тай. – Он открывает ему свои секреты. Ни одна букашка не шевельнётся, чтобы он её не заметил. Он хочет знать, что происходит внизу у моря и наверху в горах. Он хочет достать недостижимое. И его, открывающего истину, возжелает самая прекрасная из красавиц, такая же прекрасная, как цветок лотоса. И в конце пути он узнает, кто и в каком почётном месте хранит алтарь богини неба и моря Тиен Хоу, охраняющей путешественников, и набросит ткань на её лицо, чтобы она не увидела зла в глазах людей и не затаила на них обиду.

Официант принёс к столику достопочтенного Чеун Тая квашенные овощи и фасоль под устричным соусом, расставил перед ними блюда и удалился.

– Однако я слишком много говорю, – сказал Чеун Тай. – Простите меня. Я – старик и иногда забываю, что вода бежит быстрее с голого камня, чем с холма, покрытого молодой зеленью.

– Это большая честь для меня, – ответила юная Фей Су.

Некоторое время достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су молчали и отдавали должное квашеным овощам и фасоли под устричным соусом.

– Я очень богат, – сказал наконец Чеун Тай, – но и очень стар. Я не могу взять с собой свои деньги, когда придёт мой срок присоединиться к моим предкам. Как сказал великий поэт Юань Мэй: «В конце дня цветы уже не столь прекрасны». Я уйду к праотцам, когда пробьёт мой час.

Достопочтенный Чеун Тай разлил по бокалам ещё вина.

– Я хочу, чтобы вы помнили обо мне, и дарю вам один из самых прекрасных камней. Его название «чинь ю». Он самый древний камень, который я знаю, и передавался в моей семье из поколения в поколение. Пусть он озарит все дни вашей долгой жизни. Такой же камень, который называется «хань ю», я завещал похоронить вместе со мной.

– Вы оказываете мне большую честь, – сказала Фей Су.

Чеун Тай передал камень юной Фей Су и произнёс:

– Конфуций сравнивал этот камень с добродетелью. Он говорил, что он тёплый, сверкающий, крепкий и плотный. Подобно истине, он спускает яркую радугу. У меня есть эти камни, но, – добавил Чеун Тай, – человек живёт слишком недолго, чтобы иметь всё, что он желает.

Достопочтенный Чеун Тай подозвал официанта, и тот принес к их столику несколько крупных омаров и зеленых губанов, приготовленных в красном соусе с сахарным песком и красным перцем. Вместе с едой он подал жёлтое вино, расставил перед ними блюда и бокалы и удалился.

Чеун Тай разлил жёлтое вино и сказал:

– Я испытываю истинное наслаждение в вашем обществе.

– Для меня большая честь, – произнесла юная Фей Су, – что такой человек, как вы, пригласил меня разделить свою трапезу.

Некоторое время достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су молчали, отдавая должное омарам и зеленым губанам.

– Я лишь птица в бамбуковой клетке, – сказал наконец достопочтенный Чеун Тай, – и могу лишь догадываться о том, что происходит на небесах. Но сегодня я хочу только быть с вами, говорить о луне, что запуталась в ваших волосах, и о звёздах, которые спустились с неба, чтобы смотреть из ваших глаз.

– Вы оказываете мне немалую честь, – сказала юная Фей Су, выжидая.

Официант принес к столику достопочтенного Чеун Тая горячий чай с конфетами и засахаренные арбузные семечки.

Чеун Тай и Фей Су помолчали, отдавая им должное.

Достопочтенный Чеун Тай произнес:

– Я согласен с великим поэтом Юань Мэем, который говорил, что «в случайной жизни встреч и расставаний много печали». Но великий поэт также утверждал: «Человек, который не вслушивается в мир каждое утро, может не услышать даже крика петуха». Я хочу, чтобы мы вместе встретили утро и услышали крик петуха.

– Это для меня большая честь, – ответила, потупившись, Фей Су.

Достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су поклонились друг другу, и Чеун Тай подозвал официанта, щедро заплатил ему и пожелал его семье благополучия. Достопочтенный Чеун Тай и юная Фей Су встали из-за покрытого белоснежной скатертью столика, над которым висел жёлтый фонарик, разрисованный экзотическими птицами. Чеун Тай слегка покачивался.

– Эта очень неловкая персона, – сказал он о себе, – к стыду своих предков, запуталась в собственных ногах. Простите.

– Для меня большая честь, – произнесла Фей Су, – то, что вы разделили со мной трапезу. Не так часто мне выпадает подобное удовольствие.

Достопочтенный Чеун Тай, человек с совсем седыми волосами, с лицом худым и морщинистым, с длинной редкой бородой, одетый в чёрные шелковые штаны и широкую блузу, и юная Фей Су, с красивым и гладким лицом, в белом платье с высоким воротником, вышли из-за ширмы, раскрашенной яркими цветами, прошли мимо камина, на котором стояла изящная белая ваза с двумя ручками в виде голов дракона, и направились из ресторана «Лин Фэт». У входа в ресторан стояла статуя богини Тиен Хоу, охраняющая путешественников.

ОБЕД В КИТАЙСКОМ РЕСТОРАНЕ

Приход Вонг Хопхо и Джоян Чунг в китайский ресторан

Вонг Хопхо в пурпурном халате и маленькой чёрной шапочке, с редкой седой бородкой и ничего не выражающим взглядом миндалевидных глаз, и Джоян Чунг в облегающем розовом платье и с воткнутым в блестящие волосы белым цикламеном вошли в китайский ресторан. Каждый столик в ресторане скрывался за ширмой, раскрашенной яркими цветами. Слышался стук палочек и звон посуды. Слуга проводил Вонг Хопхо и Джоян Чунг за ширму, и они сели за лакированный столик, покрытый белоснежной скатертью, на которой были расположены синие чашки, зелёные тарелки и жёлтые миски, и зажёл стоящую на столике лампу под абажуром, разрисованным экзотическими птицами.

Блюдо первое: запечённые креветки

Слуга принёс блюдо с большими креветками, запечёнными в золотистом тесте. В воздухе разлился восхитительный аромат. Вонг Хопхо и Джоян Чунг стали есть креветки, ловко подхватывая их палочками, обмакивая в соевый соус и запивая подогретым крепким вином, разлитым в маленькие разноцветные чашечки. Съев креветки, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: «В “Беседах и суждениях Луньюй” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Блюдо второе: рис, зажаренный с мелко нарезанной ветчиной и яйцами

Слуга принёс блюдо риса, зажаренного вместе с тонко нарезанной ветчиной и яйцами, и разложил его по мискам. В воздухе разлился восхитительный аромат.

Вонг Хопхо и Джоян Чунг сноровисто подхватывали рис палочками, запивая его подогретым крепким вином. Съев рис, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнёс: «В “Беседах и суждениях Луной” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как животное человеку». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Блюдо третье: суп из акульих плавников

Слуга принёс глубокую чашку с супом из акульих плавников и разлил его по мискам. В воздухе разлился восхитительный аромат. Рядом с мисками он положил изящные ложки. Вонг Хопхо и Джоян Чунг быстро ели суп, так же проворно орудуя ложками, как и палочками. Съев суп, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: «В “Беседах и суждениях Луной” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как младший старшему». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Блюдо четвертое: цыплята, запеченные в листьях лотоса

Слуга принес цыплят, натёртых пряностями и запечённых в листьях лотоса. Он развернул листья и выложил цыплят на тарелки. В воздухе разлился восхитительный аромат. Палочки Вонг Хопхо и Джоян Чунг снова пришли в движение. Вонг Хопхо и Джоян Чунг ели цыплят, запивая их подогретым крепким вином. Съев цыплят, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнёс: «В “Беседах и суждениях Луной” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как нижестоящий вышестоящему». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Блюдо пятое: грибы, побеги бамбука и солёный имбирь

Слуга принес миски с грибами, побегами бамбука и солёным имбирем. В воздухе разлился восхитительный аромат. Вонг Хопхо и Джоян Чунг ели грибы и мелко нарезанные побеги бамбука, ловко подхватывая их палочками, обмакивая в солёный имбирь и запивая подогретым крепким вином, разлитым в маленькие чашечки. Съев грибы и побеги бамбука, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: «В “Беседах и суждениях Луной” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как подлое благородному». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Блюдо шестое: арахисовый торт и благоуханный чай

Слуга принёс большое блюдо с арахисовым тортом и небольшие чашки с благоуханным чаем. Вонг Хопхо и Джоян Чунг медленно ели маленькими ложечками сладкий арахисовый торт и неторопливо запивали его благоуханным чаем. Наконец съев торт, Вонг Хопхо откинулся на стуле и произнес: «В “Беседах и суждениях Луной” сказано: низменное и чувственное начало “ци” должно подчиняться разумному и творческому началу “ли”, как женщина мужчине. Теперь я предлагаю уйти из ресторана и заняться любовью». Джоян Чунг согласно закивала головой.

Уход Вонг Хопхо и Джоян Чунг из китайского ресторана

Слуга погасил стоявшую на лакированном столике лампу под абажуром, разрисованным экзотическими птицами, и вывел Вонг Хопхо и Джоян Чунг из-за ширмы, раскрашенной яркими цветами. Сопровождаемые стуком палочек и звоном посуды, Вонг Хопхо в пурпурном халате и маленькой чёрной шапочке, с редкой седой бородкой и ничего не выражающим взглядом миндалевидных глаз, и Джоян Чунг в облегающем розовом платье и с воткнутым в блестящие волосы белым цикламеном вышли из китайского ресторана.

РАССКАЗЫ

(из цикла «Счастливые люди»)

Они жили долго...

Люди не выносят тишину. В тишине – частица вечности, а это ужасает. Поэтому люди постоянно убивают тишину попсовой музыкой, телевизором и разговорами о политике. Кажется, что и сказать-то нечего, но проще говорить ни о чём, чем заглядывать в бездну тишины.

Какое счастье, что у меня есть собеседник, с которым можно часами молчать. Это большой талант – умение молчать. Для этого интеллекта недостаточно. Для этого нужна отвага.

Вот поэтому и встречаемся мы с Михал Михалычем. Помолчать пару часов с хорошим человеком – это большое дело.

Сегодня прохладно. Бриз несёт с океана солоноватый запах гнили. Мы сидим с Михал Михалычем, покуриваем и глубокомысленно смотрим на дорожку, тянущуюся вдоль бульвара, по которой движется, укрепляя здоровье, разномастная публика. Кто на роликах, а кто и на своих двоих. Вот два гея, взявшись за руки, несутся на роликах. Прокатились туда-обратно, потом встали у канадского клёна и целуются взасос. И так это у них выходит страстно и обнажённо, что стайка молодых хасидок в чёрных юбках по щиколотку возмущённо переглядывается на бегу. Затем, как по команде, развернулись и побежали в другую сторону.

– Любовь... Загадка... Вечная тайна... – заметил Михал Михалыч. – Никогда не поймёшь, чем она закончится, и закончится ли когда-нибудь.

Я молчал. Не хотелось словами разрушать банальную конструкцию, что выстроил Михал Михалыч.

А он вынул из пачки сигарету и, понюхав её, аккуратно уложил обратно. Это потому, что Михал Михалыч старается растянуть пачку на три дня. Не из опасений за здоровье. Нет. Просто в Нью-Йорке сигареты подорожали так, что поневоле приходится экономить.

Я терпеливо ожидал конца этих манипуляций, зная, что после них Михал Михалыч нет-нет да и вспомнит что-нибудь интересное. И ждать мне пришлось недолго.

– Я, Боря, вспомнил сейчас потрясающую историю. Её можно озаглавить так же, как Грин заканчивал многие свои рассказы о любви: «Они жили долго и умерли в один день». Если вы наберётесь терпения минут на пятнадцать, то я вам её расскажу.

Я сказал, что терпения у меня хватит, и угостил Михал Михалыча сигаретой. И он, прикурив, начал.

– Как-то много лет тому назад довелось мне нарвать грыжу. Пошлейшая штука, я вам скажу. Но какая бы ни была, а оперировать надо. Вот я и пристроился по благу в онкологический диспансер. Там и почище было, и хирурги поопытнее, и, главное, главрачом там служил мой одноклассник Валерий Сергеевич. В первый же день я пожалел, что позарился на блат. Это была первая больница – из всех,

что я видел, — где пациенты не играли в карты и не рассказывали анекдоты. В операционные дни больные периодически поглядывали на часы. Считалось, что операция должна занимать четыре-пять часов. А если кого-то привозили из операционной раньше, то, значит, он уже не жилец. Вскрыли, обнаружили множественные метастазы и зашили, не оперируя. Моя левая, по здешним меркам, операция длилась минут сорок. И когда меня везли в палату, я встречал сочувственные взгляды болящих, праздно бродящих по коридору.

Палату мне отвели отдельную: блат — он и в Африке блат. Телевизор, свежие газеты... все дела. Болей — не хочу. Я приноровился курить в приоткрытое окно. К вечеру приходили друзья и можно было выпить рюмашку втихаря. Чем не жизнь?

Дня через три пришёл главврач Валерий Сергеич и спросил, не буду ли я против, если он ко мне подселит соседа, сослуживца отца полковника Лисичкина. Конечно, я был только рад соседу с такой шикарной фамилией.

Полковник Иван Павлович Лисичкин, вопреки ожиданиям, оказался похож не на лисичку, а на лося. Баскетбольный рост, рельефные мышцы и беззащитная улыбка. Мы познакомились и уже к обеду подружились.

К вечеру пришла жена Ивана Павловича Марта Феликсовна. Тоже росту выше-среднего, красивая той особой красотой, которая появляется у женщин с возрастом, и, так же, как муж, брызжущая обаянием.

— Я тебе, полковник, помереть не дам, — заявила она с порога, — ты и не надейся даже. Ишь — что выдумал! Запомни: уйдём только вместе.

Потом она рассказала, что Ивану Павловичу диагностировали рак желудка. Готовят к операции. Но пусть полковник Лисичкин и не надеется — помереть ему она не позволит.

А Иван Павлович рассказал, как в сорок четвёртом Марта Феликсовна вынесла его с поля боя. Как валялся он по госпиталям, как нашла его там Марта, как забрала домой и буквально поставила на ноги. Вот с той поры и живут вместе.

— Правда, мы не расписаны, — уточнила Марта Феликсовна. — Эти условности не для нас.

— Марта! Ты не права, — одёрнул Иван Павлович. — Вот как только выйду из больницы, так сразу и оформим все формальности.

Через день его увезли на операцию, но не прошло и часа, как вернули в палату. Когда Ивана Павловича перекладывали с каталки на кровать, я всё смотрел на его ноги, иссечённые голубоватыми от времени шрамами. И мне было жаль этого сильного мужика, которого пожирала болезнь.

На следующий день меня выписали, и быт, хлопоты и заботы заставили меня забыть о полковнике с такой ласковой фамилией.

А года через три я случайно встретил его с женой на трамвайной остановке. Я ждал трамвай, а они шли мимо, взявшись за руки. Точно как эти пацаны.

Михал Михалыч кивнул головой в сторону, где миловались мальчишки на роликах. И только он это сделал, как один из влюблённых оттолкнул от себя партнёра, перескочил через ограждение из металлических труб и выехал на дорогу. Он пересёк шестирядное шоссе, маневрируя между несущихся машин, и остался цел и невредим. Потом присел на нашу скамью и снял ролики. По его лицу катились какие-то голливудские слёзы. Не верилось, что человек может плакать такими крупными слезами. Но это были уже наши с Михал Михалычем проблемы. А пацан связал ролики шнурками, закинул на плечо и ушёл, гордо вскинув голову.

— Жизнь, — попытался объяснить происшедшее Михал Михалыч. — Тут тебе и горе, тут тебе и радость.

Помолчали. Я спросил:

— Так что там дальше с Лисичкиными было?

— Да! — спохватился Михал Михалыч. — На чём я остановился? Да! Трамвайная остановка. Когда супруги подошли поближе, я поздоровался и спросил о здоровье.

– Опять не дала мне Марта помереть, – засмеялся Иван Павлович. – Не знаю точно, какому она Богу молилась, только рак мой исчез, как и не был.

Я хотел было расспросить его подробней, но подошёл мой трамвай и мы расстались.

И вот как-то в дружеской компании я рассказал о чудесном исцелении полковника Лисичкина. О том, что любовь творит чудеса. А мне друзья в ответ: так и так, нет больше Лисичкиных. Дескать, обнаружили у Марты рак прямой кишки. Собрались оперировать – выводить кишку на бок. Супруги сходили в церковь, обвенчались. Потом поужинали в ресторане. А когда пришли домой, Иван Павлович выстрелил из наградного пистолета Марте Феликсовне в затылок, а потом себе в рот. Так что умерли они так, как мечтали: в один день.

– Да... – протянул я. – История... Жалко стариков.

– Эх, Боря! – сказал Михал Михалыч. – Это ещё не финал. Через несколько лет я Встретил Валерия Сергеича. Ну, того моего одноклассника, который когда-то был главврачом онкологии. Так он мне рассказал, что на вскрытии у Марты никакого рака не обнаружили. Обычный геморрой.

Мы с Михал Михалычем закурили по последней, помолчали ещё часик и разошлись. Он к себе в nursing home¹ на ужин, а я в бар, чтобы помянуть как следует всех влюблённых.

Лётчики

– Романтическая профессия. – сказал Михал Михалыч, проводив взглядом истребитель, пронёсшийся над заливом. Оно и сегодня слово «лётчик» звучит. А в наши годы при этом слове у девушек температура тела повышалась и озноб бил. Да что там говорить? Я как-то купил на толкучке кожаную лётную куртку на медвежьем меху. Какие дивиденды у девочек я на этой куртке заработал – не поверите, Боря, да я Вам и не расскажу... Впрочем, я вовсе не о куртке хотел рассказать, а о своеобразном лётном братстве. Нет! Не об этом... А! Запутали вы меня, Боря. Я расскажу, а вы уж сами сообразите, что к чему.

Михал Михалыч помолчал, глядя на асфальт перед собой, пожевал губами, сделал несколько неопределённых жестов руками и начал.

Служил я срочную службу вместе с одним интересным парнем. Звали его Бенито Миронов. Он до призыва работал инженером на ВЭФе. Может, помните, был такой радиозавод в Риге? Был этот Бенито высоким блондином. Руки золотые. Всё командование носило ему телевизоры ремонтировать. По этому случаю командир части даже приказал оборудовать в подвальчике для Бэна мастерскую.

Ну и вот. Оставалось этому Миронову служить примерно полгода. И тут приходит в часть правительственная телеграмма. Ну, сразу все зашустрили, забегали... Приодели Бэна во всё новое и отправили в краткосрочный отпуск.

Писаря потом раскололись, что папашка у Миронова умер и что был он большой шиш, поэтому такая суета.

Короче, вернулся Миронов с похорон – лица на нём нет. Я подошёл, выразил, так сказать, свои соболезнования. А он мне шепотком, мол, земля, вечером заходи в мастерскую.

После отбоя сели мы с Мироновым в его мастерской, выпили, закусили рижскими деликатесами. Я и спрашиваю:

– Бэн! А что с отцом случилось?

Смотрю – у него желваки на скулах ходят. Говорит:

¹ Частная лечебница, в данном случае – дом престарелых (англ.)

– Я тебе, Миша, сначала эпизод из кинофильма расскажу. Вот, представь себе латышский хуторок. С одной стороны лесок, с другой – луг. В доме на кухне бреется русский майор в нижнем белье. Время от времени слышно, как пролетают самолёты, как вдалеке рвутся снаряды. И вдруг в кухню входит немецкий офицер. Пауза. Потом немец говорит:

– Ты не волнуйся, коллега. Я не буду стрелять. Война закончена. Гитлер капут. Я прилетел забрать свою женщину.

Русский отвечает по-немецки:

– Я не волнуюсь. Я бреюсь. А эта женщина моя, и я её не отдам.

И тут входит женщина с тазом белья в руках.

– Айна! – говорит немец. – Поехали со мной. Я на самолёте. Бросай всё, и полетели. В Швеции нас уже ждут.

– Решай, Айна, – говорит майор по-русски. – Только помни, что у тебя есть отец и брат и что их расстреляют. И я тут буду ни при чём. Твои же соседи на тебя и донесут.

– Я не поеду с тобой, Карл,. – говорит Айна. – Я люблю Лёву и я жду от него ребёнка.

– Тогда немец козырнул и вышел. Взревели моторы и поднялся в воздух мессершмит с полянки.

– Хорошо, что мы в кусты мой самолёт загнали. А то бы шёл сейчас пешком, – сказал русский майор.

Я выпил водки и сказал Бэну, что кино, конечно, интересное, но всё это неправда.

– Как это – неправда? – обиделся Миронов. – Айна – это моя мама. А русский майор... мой отец. Я потом спрашивал у мамы, почему же это они не стреляли друг в друга. Она говорила, что этого мне не понять. Потому что они были лётчики. Они не привыкли убивать сами. За них убивали машины. А этот русский после войны частенько к матери заезжал. Поэтому я и родился. У него таких, как я, детей было... четверо парней и одна девушка приехали на похороны. И представлешь – ни от кого не отказался. Признал. Свою фамилию дал. И отчество, ясное дело.

Более того – нам полагается приличное наследство. Но... я откажусь от наследства, Миша. И фамилию свою сменю. Как ты думаешь, Зариньш – это красиво будет?

Я сказал, что красиво, мы снова выпили, и я спросил:

– А что с Карлом?

– Я пробовал его разыскать по просьбе мамы, – ответил Бэн, закусывая. – Мне ответили, что его не дождалось в Швеции. Наверное, русские сбили.

– Видишь, как твоей маме повезло, – ляпнул я.

– Да, – согласился Миронов. – Можно сказать, что и повезло.

Он снова поиграл желваками и поставил точку в разговоре:

– Он застрелился, этот кабан. Он был директором авиазавода. А там взорвался один из цехов. Вот этот гад с перепугу и застрелился. Оставил подробное завещание и выстрелил себе в висок.

Представлешь! Он насиловал мою маму! Он всю жизнь её насиловал! Сволочь. Мама мне сама об этом после поминок рассказала.

Мы пили водку, Боря. Я смотрел на этого породистого, холёного человека и закипал:

– Скажи, Бэн, у тебя в детстве была няня?

– Конечно, Миша, – он не сразу понял, к чему я клоню. И няня была, и квартира хорошая в Риге, и всякое такое.

– Вот видишь, Бэн, – сказал я негромко. – У тебя было всякое такое. «За детство счастливое наше спасибо, родная страна». А твои сверстники в это время в

деревнях с голоду пухли. Я носил рубашки с перелицованными воротниками, а ты не знал, какой костюм надеть. Мы зарабатывали гастриты по студенческим столовкам, а ты питался в лучших ресторанах... Я вот что тебе скажу, Бэн: у тебя был хороший отец. А кто, где и кого насиловал – война давно списала.

– Наверное, ты прав, Миша, – задумчиво сказал Миронов. – Отказываться от наследства неразумно. Это и разговоры ненужные вызовет. А фамилию я всё равно сменяю. Это немодная сейчас фамилия в Латвии.

Снова пронёсся истребитель, оставив за собой белесый след. Чёткий вначале, но со временем раплывающийся в обычный туман.

– Вот, и судите сами, Боря, к чему это я вам рассказал. То ли о лётчиках, то ли о любви, то ли сам не пойму, о чём...

Михал Михалыч тяжело поднялся со скамейки и побрёл в сторону своего nursing home.

Дядя Вася

– Дети тоже разные бывают, – сказал Михал Михалыч ни к селу ни к городу.

Потом достал из кармана несколько орешков и поделил их между тремя бойкими белками, которые крутились возле ног, выклянчивая гостинец.

Помолчали. И Михал Михалыч продолжил.

Где-то в конце сороковых мама подруга Шура привела к нам на смотрины своего очередного мужа. Где она их находила мужиков при послевоенном дефиците – это для меня до сих пор загадка. Но находила. Её нового мужа звали Василий Васильевич. Дядя Вася – так он велел мне его называть.

Дядя Вася мне сразу понравился. Во-первых, у него была красивая наколка на руке, во вторых, он умел очень громко петь «Я помню тот Ванинский порт». Но самое главное – у дяди Васи был полный рот блестящих металлических зубов.

– Чистая сталь! – хвастался дядя Вася. – Хочешь, вилку перекушу?

А потом начинал бесконечные рассказы о колымских лагерях.

Отец с матерью только тревожно переглядывались.

Но мне дядя Вася очень нравился. Я похвастался мальчишкам во дворе, что у моего друга дяди Васи железные зубы и он кого хочешь загрызёт. Пацаны мне не верили и дразнили другом крокодила. Но это до поры до времени.

А потом настал час моего триумфа. Мы играли в пристенок, когда во дворе появился Гришка Косой со своей шпаной. Они подошли к нам, и Гришка отобрал все наши копейки. Он ещё подбрасывал их в ладони, когда раздавался голос дяди Васи:

– Отдай детям, сявка. Накажу.

Дядя Вася стоял во всей красе – в распахнутом чёрном бушлате и тельняшке.

– Канай отсюда, дядя, – сказал Гришка и сверкнул финским ножом.

Дядя Вася спокойно подошёл к Косому, как-то очень ловко и моментально закрутил ему руку назад, отобрал нож и дал крепкий поджопник.

Деньги нам были возвращены с обещанием переловить нас по одному, а мой авторитет во дворе взлетел на недосыгаемую высоту.

Так-то...

Что дальше?..

А дальше вот что.

Дядя Вася очень быстро с тётей Шурой разошёлся и начал жить бобылём. Время от времени он заходил к нам. Они с отцом выпивали по рюмке, и дядя Вася пел про Ванинский порт. Пел и плакал.

Потом я вырос и вернулся в городишко только после смерти отца. Надо было маму поддержать, и морально, и материально.

Дядя Вася по-прежнему иногда заходил к нам и занимал троячок до получки. Деньги он отдавал исправно, и мама шутила, что одолжить дяде Васе – всё равно, что в сберкассе положить.

Потом дядя Вася внезапно ослеп, его устроили в дом престарелых, и я забыл о «друге детства».

Однажды в дверь позвонили. На пороге стоял мужчина в форме подполковника инженерных войск. Он представился сыном дяди Васи, сказал, что дядя Вася умер. А перед смертью дал мой адрес и сказал, что я помогу в организации похорон.

Ну как не помочь? Дело святое.

На похоронах я узнал, что дядя Вася ветеран войны, что имеет ряд правительственных наград, что свои прежние проступки искупил кровью, воюя в штрафной роте.

А когда всё закончилось и мы сели с подполковником помянуть дядю Васю, он мне вот что рассказал.

Оказалось, что дядя Вася был обычным инженером. И когда в конце тридцатых начали грести инженерно-технический состав, дядя Вася взломал двери магазинчика на окраине города, выпил две бутылки водки, закусил шоколадкой и заснул на полу.

Дали ему сущие пустяки по тем временам – пять лет. И при этом – что главное – семья не была поражена в правах.

На зоне дядя Вася «раскрутился». За убийство сокамерника ему добавили десятку и отправили на Колыму. Оттуда он и попал в штрафную роту.

– Я всю жизнь его искал, – говорил подполковник. – Он ведь ради меня и мамы пожертвовал собой.

Оказалось, что нашёл он своего отца только за две недели до его смерти. Но нашёл.

Такое вот счастье выпало дяде Васе – сына повидал.

Мы ещё помолчали минут десять. И Михал Михайлович, закурив, подвёл итог: – А у меня столько детей по миру разбросано – вы, Боря, и представить себе не сможете! И никто из них меня не ищет. Впрочем, я думаю, что это не их вина.

Профессор

Михал Михалыч задумчиво посмотрел на пронёсшуюся мимо ревушую сиренами машину «скорой помощи» с надписью «Ambulance». Потом безотносительно к нашему разговору сказал:

– А я ведь, Боря, один раз хирургом был. Пришлось. Выхода у меня не было, вот и пришлось. И ревели не сирены. Ревела и орала простая деревенская баба, которой я без всякого наркоза зашивал рану льняными нитками.

Я угостил Михал Михалыча сигаретой. Он с удовольствием затянулся и продолжил:

– Я был молод тогда и в самом деле верил, что молодым везде у нас дорога. И почему мне было не верить? Я был оставлен на кафедре и писал диссертацию с мудрёным названием: «Версия происходящего как элемент сюжета в прозе Пантелеймона Романова». Кроме того, я читал курс русской литературы восемнадцатого века, и это мне нравилось. Мне дали отдельную комнату в общежитии. И если купить двести граммов дешёвых конфет вахтёрше, в эту комнату можно было безбоязненно привести девушку. Жизнь была прекрасна и удивительна. Но, Боря,

любая красота имеет и свою безобразную изнанку. Через год с небольшим меня пригласили в партком, где человек с тусклым лицом поинтересовался, знаю ли я, что моя научная работа противоречит идеологии Партии на современном этапе? Мне бы согласиться, признать ошибки, покаяться и жить спокойно. Но я был наивен, как младенец, и начал спорить, крича, что сейчас свобода и что все мы скоро будем жить при коммунизме. В результате непродолжительной дискуссии мне объяснили, что в коммунизм меня не возьмут; моя тема была закрыта, с кафедры я был уволен и лишён места в общежитии. Можно было бы вернуться в свой городишко к папе и маме. Но это было так унижительно – возвращаться неудачником, что я и думать об этом не хотел. У меня началась депрессия. Я чувствовал себя никчемным и бездарным. Я запил. Но запой только ухудшил моё состояние. И я всерьёз начал подумывать о самоубийстве.

И вот однажды, сидя в пивной, я вспомнил, что где-то в глухой деревеньке живёт моя тётушка. И что тётушка эта даже иногда присылала мне письма, которые писала соседская девчонка: сама тётушка была неграмотна. Я порылся в своих бумагах, нашёл письмо с обратным адресом, занял у друзей денег – и устроился на полке плацкартного вагона.

Я вышел в пыльном районном городке, из разговора со скучающей кассиршей автобусной станции выяснил, что до нужной мне деревни около шестидесяти километров, что автобусы туда не ходят и никогда не ходили, и взял такси.

Мрачный таксист высадил меня у развилки, объяснил, что дальше дорога говняная и машина не пройдёт. Потом он утешил меня тем, что до места мне осталось всего километров пятнадцать, развернулся и уехал.

Уже вечерело, когда я, присев на кочку, стал рассматривать вожделенную деревеньку. В ней-то и домов было всего около пятидесяти. Нет. Не домов, а хатёнок, крытых соломой. Я послушал, как кричит козодой в поле, поднялся и уже через полчаса был в объятиях тётушки. Постелила мне она на сеновале. Было душно. Мне не спалось, и я слушал, как шуршит в сене нечто незнакомое. И жизнь вокруг тоже была незнакомая и непонятная.

На следующий день после завтрака, только я сел покурить на завалинке, как прибежала молодая женщина. Она стала кричать, что они стоговали сено, что Мария была на стоге, что кто-то неразумный поставил к стогу вилы зубцами вверх, и что Мария, съезжая со стога, села на эти вилы. Закончила эта женщина свой монолог странной фразой:

– Побегали, профессор! Мария уже в хате. За Ефимом, еённым мужиком уже послали. Давай быстрее, а то крови много ушло.

Я сказал ей, что мне до профессора, как до луны пешком, но, похоже, она меня не поняла. Тогда я подумал, что я единственный образованный человек на всю деревню и что я не могу бросить эту несчастную Марию без помощи. Просто не имею права. И я пошёл. По дороге я представлял себе распоротую вилами вагину, и мне было очень не по себе.

Мария лежала на столе, прикрытая тряпками. Девочка веткой отгоняла мух. Бабы теснились в углу. Я поднял тряпё, осмотрел раны, и мне стало легче на душе. Эта Мария была везучей невероятно. Четыре рваных глубоких борозды кровоточили у неё на заднице. Остальное было не затронуто. Я постоял минуту-другую – и распорядился вскипятить воду, принести мне ножницы, опасную бритву, спринцовку, штопальную иглу, льняные нитки, несколько велосипедных ниппелей и бутылку самогона. Потом я послал девочку с веткой нарвать побольше тысячелистника, который в этих краях величали кашкой. Девочка приволокла охапку этой кашки, вода вскипела, и я заварил траву. Потом процедил и остудил котелок в ведре с холодной водой.

Это, Боря, я вам так подробно рассказываю, потому что мне приходилось продумывать порядок операции на ходу. А это было не так уж и просто.

Я дал Марии стакан самогона в качестве болеутоляющего, перевернул её на живот и начал злодействовать. Из спринцовки я промыл раны отваром тысячелистника. Потом бритвой начал обрезать бахрому мяса по краям ран. Вот тут-то Мария и начала орать. Я не успел закончить, как в хату вбежал мужик с топором в руке.

– Издеваетесь, суки! Зарезать хотите? – заорал мужик, – всех на хрен поубиваю!

Я, обернувшись, приложил ему правым прямым. Мужик сел на пол и выронил топор. Уже боковым зрением я видел, как его подхватили бабы и поволокли.

А я продолжил. После того, как я обработал раны, остались пустяки. Я изогнул иглу и начал зашивать, вставляя вместо дренажей резинки от ниппелей.

Через полчаса я уже сидел на лавке возле дома и курил. Подошёл мужик, что с топором бегал, и сел рядом. Скрутил козью ножку, прикурил и сказал:

– Ты, профессор, не обижайся. Это я понарошку с топором... Люблю я её – вот и расстроился. Спасибо тебе. Вечером приду – бутылку разопьём.

Вот так, Боря, началась моя сельская жизнь. Днём я помогал тётушке по хозяйству, вечером сидел с мужиками возле нежилой хаты, служившей чем-то вроде клуба, покуривал и слушал разговоры о том о сём. В основном о том, что жить становится всё трудней и трудней.

Ночами ко мне на сеновал пробиралась бойкая девка Настя. У неё было горячее дыхание и прохладные бёдра.

И жизнь снова была хороша. И в этой прекрасной жизни было и мне место.

Через две недели, когда я шёл по глинистой непроезжей дороге к большаку, мне уже было ясно, что коммунизм не наступит никогда. Потому что не может быть социальной справедливости, пока существует рабство, называемое «колхоз». И от этого понимания мне почему-то было хорошо. Да, Боря. Частенько бывает человеку хорошо только от осознания того, что кому-то хуже, чем тебе.

Я вернулся к родителям, а через два дня пришёл в райком и написал заявление с просьбой отправить меня на ударную комсомольскую стройку.

Михал Михалыч говорил, а я думал, что приврал он несколько. Точнее сказать, приукрасил. Уж очень много странного было в его рассказе.

А потом я решил, что ничего страшного в этой лжи нет: это была его жизнь. Это было его, и только его, прошлое. И он вправе сочинить об этом прошлом миф. Причём такой, какой захочет...

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕР-НОЧЬ

Александрю Кабанову

Оскал зимы – декабрьское бесснежье.
Дерев оцепеневший растопыр.
Проклёпаная в небе тень медвежья.
Заброшенный стрельцами звёздный тир.

Ученье – это только повторенье.
И дрожь ума на призрачной черте.
И съёжилось моё мировоззренье
До точки зренья света в темноте.

До жёлтого зрачка ничьей собаки,
Что в трёх шагах застыла от меня...
А мне домой. Всего-то до Итаки.
Да вот душа блуждает в трёх огнях...

Зима без снега. Под рукою шёрстка.
– Возьму, конечно, ну куда одной...
Душа, возможно, – это только горстка
Собачьих слёз под жёлтою луной.

* * *

По наклонной,
По преклонной,
Штрихпунктирных линий крыш,
Завораживая сонно,
Городскую глушь и тишь,
Падал снег,
А может, пухом
Оренбургского платка
Согревала
Ночь-старуха
Город, словно старика,
Прикрывала мощи
Тощих,
Деревцами вздетых рук,

Там, где были раньше рощи,
А теперь костлявый сук...
И домов слепые очи,
Из-под дряблых
Сонных век,
Говорили что-то ночи
Про тепло и вечный снег...
И спокойно, и влюблённо
Застывал огней оскал;
По наклонной,
По преклонной
Сыпал снег
И засыпал...

* * *

Мне было скучно, а верней никак.
Хотелось знать, что есть на свете много
Каких-то дел,
Хотелось верить в Бога.
Но не умел.
Подумаешь, пустяк...

Мне было ясно: здесь я не найду
Добра и зла логичную трактовку,
И взяв из кучи хлама заготовку,
Клепал для неба новую звезду.

СЕРАЯ ЗОНА

РОМАН¹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

М А К С

1

Макс Адлер взглянул на светящийся циферблат. Часы показывали полночь. Он лежал с закрытыми глазами уже больше часа, ворочался с боку на бок, но сон не приходил. В голове против воли прокручивались события прошедшего дня, обрывки случайных разговоров, потом вдруг возникали какие-то странные, непонятные видения, и воображение уносило его в надуманный мир ночных фантазий. Это было то сумеречное время суток, когда человек уже не бодрствует, но ещё не спит. От сознания того, что ночные часы бегут неумолимо и что на сон остаётся всё меньше времени, попытки заснуть становились особенно мучительными. Он снова и снова отдавал напрасные приказы кому-то, сидевшему внутри него и отказывавшемуся повиноваться – «спать, спать, перестать думать!» Но этот «кто-то» будто издевался над ним и продолжал своё чёрное дело. Наконец, изнурённый борьбой с самим собой, он заснул неглубоким тревожным сном... Наступил первый майский вторник 199... года, судьбоносный день в его жизни.

Бессонница началась у Макса внезапно, около двух лет назад. Раньше он не знал, что это такое. Он всегда ложился в половине одиннадцатого, минут двадцать читал перед сном, потом выключал свет, поворачивался на правый бок и через три-четыре минуты засыпал. Сон его был спокойным и крепким, без сновидений или ночных пробуждений, и заканчивался в шесть утра. Будильник ему не требовался. Сколько он себя помнил, это время, минута в минуту, было запрограммировано в нём каким-то непостижимым образом. Макс открывал глаза, переворачивался на спину и лежал минуты две неподвижно. Затем резко откидывал одеяло, вставал и начинал утреннюю рутину, доведённую до автоматизма. Она включала обязательную получасовую гимнастику, холодный душ и лёгкий завтрак, состоявший из грейпфрута, кофе с молоком и поджаренных в тостере двух ломтиков белого хлеба с твёрдым сыром. В семь двадцать, гладко выбритый и безупречно одетый, он спускался в гараж под домом, садился в серебристую «ауди» и отправлялся на работу.

Жил Макс на окраине Кирлингерского леса, в маленьком живописном городке Вейдлинг, расположенном среди холмов и виноградников северного предместья Вены. Сначала он выезжал в сторону Дуная по узкой извилистой Демгассе, которая

¹ Продолжение. Начало см. в № 8.

через шестьсот метров переходила в более широкую и прямую Брандмейерштрассе, а затем поворачивал на юг вдоль реки по магистральной Хейлингенштрассе. Он доезжал до Северного моста, пересекал по нему Дунай и попадал в левобережный район Флорисдорф. Этот отрезок пути занимал обычно двадцать минут. Ещё десять минут уходило, чтобы доехать по Бруннерштрассе до просторного компаунда нефтяной компании «Эрдойль Гезельшафт», где Макс работал старшим специалистом в отделе зарубежной разведки. Он отвечал за операции компании в Юго-Восточной Азии и Австралии. В его обязанности входила оценка нефтяного потенциала этих регионов, составление разведочных проектов и контроль за их выполнением. Такая работа требовала досконального знания не только геологии и технологии разведки, но также нефтяного рынка, инфраструктуры и политической обстановки в странах, где проводились поиски. Макс хорошо разбирался в сложном переплетении столь многообразных факторов, от которых зависел успех нефтяного бизнеса. То, чем он занимался, было, по его убеждению, лучшим из всех возможных сочетаний в профессии разведчика. С одной стороны, он не мыслил свою жизнь вне геологии, которую считал одной из трёх самых увлекательных научных областей, наряду с астрономией и биологией. С другой стороны, возможность бывать в разных странах отвечала его страсти к путешествиям. «Достоин одобрения тот, кто соединяет полезное с приятным», – эти слова Горация он сделал своим девизом.

Но главным, конечно, было то, что его проекты и рекомендации приводили к открытию новых месторождений. Обязательные ежегодные оценки результатов работы, хранившиеся в его личном файле в отделе кадров, отражали эти успехи и были составлены в самых лестных выражениях. Поэтому у Макса была безупречная профессиональная репутация. А поскольку все знали, что он не претендует на какие-либо административные должности, то отношения с коллегами были дружеские и корректные. Впрочем, если требовалось, Макс умел быть жёстким и непреклонным. И это тоже все знали.

По существу, работа занимала главное место в жизни Макса Адлера. В то же время его нельзя было назвать трудоголиком, которого ничто другое не интересует. Раз в месяц он обязательно бывал в оперном театре, не пропускал интересные выставки и концерты. А зимний отпуск проводил обычно в Альпах, на горных лыжах. Такая счастливая гармония между работой, отдыхом и теми занятиями, которые доставляли ему удовольствие и даже радость, сложилась как-то сама собой, без особых усилий с его стороны. С годами она определила и общий стиль жизни Макса.

Возвратившись с работы, он переодевался в спортивный костюм и совершал часовую пробежку по аллеям и тропинкам Кирлингерского леса, образующего северную, наименее людную часть обширного Венского лесного массива. Потом принимал душ, ужинал в небольшом ресторанчике недалеко от дома, а оставшееся до сна время либо читал, либо смотрел телевизор, предпочитая научные программы или «Нэшнл джиографик».

Из того, что читателю уже известно о нашем герое, нетрудно догадаться, что жил он один. С женой Макс развёлся пять лет назад. Детей у них не было. Не было у него и близких родственников. В Израиле и Канаде жила какая-то дальняя родня, но связь с ними давно оборвалась. После развода стали постепенно ослабевать, а затем и вовсе прекратились приятельские отношения с несколькими супружескими парами, входившими в их общий с женой круг знакомых... Когда-то давно, более двадцати лет назад, была у Макса девушка по имени Джулия. Они идеально подходили друг другу и физически, и духовно, и интеллектуально. Джулия, талантливая балерина, была моложе Макса на десять лет, и им казалось, что это единственное различие между ними. Но они забыли о другом различии –

семья Джулии была очень богата, принадлежала к элите общества. Брак дочери с Максом не входил в планы её родителей, и их заставили расстаться. Джулия вышла замуж за кого-то из своего круга, и Макс вычеркнул её из своей жизни. Но не из памяти. Этот урок социального неравенства он запомнил навсегда...

Такой образ жизни, возникший исключительно в силу сложившихся обстоятельств, вовсе не говорит о нелюдимости Макса или склонности к одиночеству. Он любил и ценил содержательное человеческое общение, но считал, что подлинные друзья появляются лишь в молодые годы, а в зрелом возрасте поздно навёрстывать упущенное. Так уж получилось, что судьба не свела его тогда со сверстниками, близкими по духу и интересам. Молодость Макса совпала со сложным историческим временем, да и проходила она в условиях, не способствовавших возникновению прочных дружеских связей. Однако он не видел здесь особой проблемы и не испытывал от этого какого-либо дискомфорта, ибо принадлежал к тому типу людей, которых называют самодостаточными. Интересная работа, увлекательная книга, хороший концерт, горные лыжи, путешествия – всё это целиком заполняло его жизнь. Он не считал, что слушать музыку, кататься на лыжах или путешествовать нужно обязательно в обществе знакомых. Наоборот, наибольшее удовольствие он получал, делая это один.

После развода Макс не тяготился одиночеством, а, напротив, обнаружил в нём неоспоримые удобства и преимущества. Впрочем, он был далёк от того, чтобы лишать себя насущных физиологических потребностей. Дважды в неделю, в среду и пятницу, он брал с собой в машину свежую тщательно выглаженную рубашку и смену нижнего белья. В эти дни он не ночевал дома, а наносил визит frau Эльзе, молодой пышной вдове, знавшей толк в любви. Макс дорожил их добрыми стабильными отношениями, а она считала его внимательным и заботливым другом, каким он и был на самом деле. Их обоих устраивала эта прочная привязанность без каких-либо взаимных обязательств. В дни этих визитов приходила женщина, которая убирала его дом, покупала продукты и относила бельё в прачечную.

Однако мы немного отвлеклись и забыли, что в начале рассказа речь шла вовсе не о среде и пятнице, а о некоем конкретном вторнике в мае 199... года, который, казалось, ничем не отличался от всех прочих рабочих дней недели. Как обычно, Макс проснулся в шесть утра, несмотря на то, что заснул поздно. Он полежал пару минут на спине, затем откинул одеяло, сел на кровати, свесил ноги и нащупал шлёпанцы. Он уже готовился было встать и приступить к утренней рутине, как вдруг ощутил какую-то непривычную и ещё не вполне осознанную пустоту. Что-то было в это утро не таким, как всегда. Макс окончательно стряхнул с себя остатки сна и только тогда вспомнил, чем именно было вызвано такое ощущение. С этого дня его жизнь резко и бесповоротно изменилась. Ему больше не надо было, как это происходило на протяжении последних двух десятилетий, выезжать в семь двадцать на Демгассе, в семь сорок пересекать Дунай по Северному мосту и без десяти восемь парковать свою «ауди» около офиса компании. С сегодняшнего дня он был уволен. В возрасте пятидесяти пяти лет он стал безработным. А поскольку «Эрдойль Гезельшафт» была единственной нефтяной компанией в Австрии, то поиски новой работы теперь могли быть связаны только с иностранными фирмами. Для этого нужно было рассылать письма и документы, ездить на интервью. Но Макс чувствовал себя настолько опустошённым, что был не в состоянии заниматься такими делами. Кроме того, он понимал, что в его возрасте найти работу будет нелегко. Последние годы он работал с огромным физическим напряжением, зачастую по шестнадцать часов в сутки. Поэтому его единственным желанием было отдохнуть, обрести прежнюю форму и на какое-то время отключиться от всяких служебных забот.

Увольнение не было для Макса полной неожиданностью. Он знал о неизбежности этого события и готовился к нему на протяжении почти трёх лет, вскоре после того, как в компании появился Дейв Пауэлл, новый вице-президент по зарубежной разведке. Как человек разумный и уравновешенный, он был уверен, что встретит этот день с философским спокойствием и достоинством, без ненужных эмоций и надрыва. Однако он даже представить себе не мог, каким трудным и опустошающим будет первое утро его новой жизни. Не первый месяц, не первая неделя и даже не первый день, а почему-то именно утро, которое вообще не играло никакой роли в его планах и размышлениях. В сущности, что такое утро? Всего лишь момент пробуждения, краткий отрезок времени между сном и долгим активным днём, какие-то шестьдесят минут, когда человек вообще ни о чём значительном не думает, а действует машинально по давно заведенному распорядку – идёт в туалет, умывается, чистит зубы, бреется, делает гимнастику, принимает душ, завтракает. Мысли, а с ними и проблемы приходят потом, когда он погружается в суету дня, сталкивается с необходимостью что-то обдумывать, принимать какие-то решения, действовать. И вот это первое утро его жизни безработного наступило... Макс сидел на кровати, свесив ноги, поставив их на шлёпанцы, и никак не мог решить, что же делать дальше. Такой странный вопрос перед ним никогда ещё не возникал. Он был совершенно не готов к нему. Что-то вдруг рухнуло и ушло безвозвратно. И это была даже не сама работа, к которой его мысли будут ещё не раз возвращаться, а всего лишь ежедневная утренняя рутина, которую он прежде вообще не замечал...

Макс не знал, сколько времени просидел на кровати в состоянии какого-то постыдного оцепенения – десять, двадцать, тридцать минут? Наконец, он заставил себя встать и проделать все те утренние процедуры, которые раньше выполнялись им с автоматизмом робота и поэтому не задерживались в памяти. Он никогда до этого не задумывался даже об их последовательности. Но сейчас он вдруг засомневался, что следует делать в первую очередь – чистить зубы или бриться? После некоторого раздумья он всё-таки сначала почистил зубы. Затем не спеша проделал всю утреннюю рутину, завершившуюся завтраком, вымыл посуду и оделся. Это заняло у него немислимо долгое время – более двух часов. Закончив дела, он спустился в гараж, сел в машину и выехал на Демгассе. Он доехал до Хейлингенштрассе и остановился на обочине. Постояв минут пять, двинулся дальше, но на ближайшем перекрестке развернулся и поехал обратно. Справедливости ради надо сказать, что уже садясь в машину, Макс поймал себя на мысли, что делает что-то не то, затевает какой-то самообман, какую-то детскую игру с самим собой. Но противиться такому необъяснимому желанию не стал. Ему было любопытно увидеть как бы со стороны, чем всё это закончится.

Итак, он вернулся, поставил машину в гараж и поднялся в дом. Снял костюм, равязал галстук и облачился в серый стёганный халат. Наивная попытка вырваться из цепкого капкана жизни безработного закончилась нелепым конфузом. Больше он такие глупости делать не будет. То, что произошло в это утро, было отражением внезапного замешательства и утраты чувства реальности, которые совершенно выбили Макса из привычной жизненной колеи.

Около часа потребовалось ему, чтобы привести мысли в порядок и начать обдумывать что-то, отдалённо напоминающее план или программу действий на ближайшие месяцы. Без особых сомнений и колебаний он решил, что прежде всего отправится в долгое путешествие. Во-первых, Макс нуждался в смене обстановки, а во-вторых, он давно мечтал о такой поездке. Путешествия были одним из его главных увлечений. Он побывал во многих странах, но заветным желанием оставалось добраться до экзотических рифовых атоллов Тихого океана с такими таинственными и завораживающими названиями, как Кваджалейн, Раротонга, Капингаманганги. И вот теперь самое время сделать это. Ещё в школьные годы Макс придумал

для себя увлекательную игру. Брал контурную карту мира и стряхивал чернила с перьевой ручки на акватории океанов. На бумаге появлялись кляксы самых разных размеров и очертаний. Он обводил их и воображал, что это неведомые острова. Затем придумывал им названия, наносил в глубине заливов и бухт портовые города и рыбацкие деревушки, связывал их дорогами. Иногда из островов возникали целые архипелаги. Тогда он возводил их в ранг государств, соединял порты между собой и с окружающими континентами пунктирными линиями, воображая их судходными трассами, и начинал путешествовать. Так появился у него на всю жизнь интерес к географии, а потом и к геологии.

...Вдруг, будто в виде компенсации за постыдное оцепенение, охватившее его утром, Макс захотелось делать всё быстро, энергично, не откладывая на завтра. Он подошёл к книжному шкафу и начал снимать с полок книги и туристические проспекты, касавшиеся Тихого океана. Часть этой литературы была сложена двумя высокими стопками наверху шкафа, и пришлось принести лестницу, чтобы достать её. Разобрав книги, он увидел около стены чёрный цилиндрический футляр. Макс снял его, вытер пыль, извлёк находившийся внутри рулон ватмана и присвистнул от неожиданности. На ватмане было вычерчено генеалогическое древо двух семей, Адлеров и Ландау, которое когда-то давно составили его родители, а затем сам Макс дополнил недостававшими данными. Эта изображённая графически семейная хроника пролежала на шкафу так долго, что Макс совершенно забыл о ней. Была какая-то таинственная предопределённость в том, что он обнаружил её в столь не простой для себя день, будто многочисленные предки решили именно сейчас напомнить ему о себе и сообщить некий важный семейный секрет.

Макс развернул рулон на столе, придавил углы книгами и стал с интересом рассматривать свою родословную. Теперь он воспринимал её не так, как тогда, около тридцати лет назад, когда увидел впервые. От того первого знакомства с генеалогическим древом остались лишь смутные воспоминания о множестве имён, которые смешались у него в голове и которые он даже не пытался расположить по степени родства и соотнести с самим собой. Многочисленные Альфреды, Юлиусы, Теодоры, Розы, Клары, Эммы... Те из них, кто составлял одну ветвь древа, не знали о существовании другой ветви, ибо принадлежали к двум разным семейным кланам, соединившимся в некое виртуальное целое лишь благодаря браку Леопольда Адлера и Берты Ландау. И сейчас единственным оставшимся в мире реальным воплощением этого брака, а следовательно, и всего древа, был он, Макс Адлер, сын Лео и Берты. Как выглядели все эти люди, чем увлекались, какими талантами обладали, от чего страдали и чем гордились? Макс этого никогда не узнает. А ведь частицы их индивидуальности, перемешавшись причудливым образом и совершив немислимый генетический твист, перешли к нему и сделали его таким, каков он есть.

Макс с любопытством разглядывал сложные родственные связи, обозначенные замысловатым пересечением линий, стрелок и прямоугольников. Слова и цифры внутри них были единственным зримым напоминанием о давно ушедших предках, сведённой до предельного минимума информацией: имя, фамилия, год рождения – тире – год смерти. Вспомнились удивительно точные строки забытого поэта:

Неважно, кто какого чина,
Рожденья год – тире – кончина.
Приходит так конец Игре –
Жизнь умещается в тире...

Макс вдруг перестал обращать внимание на имена, которые мало что говорили ему, а сосредоточился на датах, разделённых короткими чёрточками. Они порази-

ли его. Неожиданно он обнаружил, что все его многочисленные прадедушки, прабабушки, дедушки, бабушки, дяди и тётки с обеих сторон, которые умерли естественной смертью, оставили этот мир в весьма преклонном возрасте – за девяносто, а кое-кто перешагнул и столетний рубеж. Исключением были те, кто сгорел в огне Холокоста. Их возраст был самый разный – от пяти лет и до глубокой старости. Датами их смерти Макс дополнил когда-то генеалогическое древо. Среди них были его дед, родители, старшие брат и сестра...

Максу вспомнились отрывочные эпизоды детства, будто выплывшие из тумана далёкого прошлого. Вот какой-то семейный праздник, все собрались в большой гостиной. Ему четыре года, он стоит между коленями прадеда Бруно Ландау, которому уже сто лет. Прадед гладит его по головке и говорит какие-то ласковые слова. Вдруг он забывает нужное слово и просит внучку Берту напомнить его. «Забывчив ты стал, дедушка», – улыбается Берта. «Да, внучка, забывчив стал, – отвечает старик. – Потому и живу». Все смеются. Макс не понимает, что смешного сказал прадед. Иногда он забывал застегнуть ширинку, но над этим, наоборот, смеялся только маленький Макс и никто больше.

Затем в памяти возникает сарай на опушке леса. Они с отцом входят внутрь. Там их ждёт какой-то незнакомый человек. Отец опускается на корточки и прижимается лицом к лицу Макса. Щёки мальчика становятся мокрыми и он недовольно вытирает их рукавом. Потом отец быстро выходит, а незнакомый человек берёт Макса за руку и выводит через заднюю дверь. Там стоит конная коляска. Они долго едут куда-то. С этого дня Макс живёт в другой семье. Потом он узнаёт, что человек в сарае был компаньоном отца. После войны он оплатил его учёбу в университете. От него же Макс получил рулон ватмана, лежавший сейчас перед ним, и шкатулку, в которой хранились несколько фотографий, прощальное письмо отца и старинные карманные часы-брегет, принадлежавшие деду Оскару Адлеру.

Макс снова взглянул на даты, указанные в родословной, и подумал, что жить придётся долго. Не этот ли секрет решили сообщить ему сегодня многочисленные Адлеры и Ландау, сведённые по прихоти судьбы на одном листе ватмана? Нельзя сказать, что известие о принадлежности к роду долгожителей удивило его. Скорее озаботило. Теперь надо было думать, как распорядиться этим неожиданным подарком. Подарком ли? Раньше он никогда об этом не задумывался, хотя и понимал, что генетика ему досталась неплохая. В свои пятьдесят пять он ни разу не обращался к врачам, если не считать удаления аппендицита лет тридцать назад и лечения ноги, повреждённой на горных лыжах. В зубоврачебном кресле сидел только однажды, когда потребовалось запломбировать два зуба. Макс не знал, что такое боли в сердце или печени, какие страдания доставляют мигрень или запоры. Ему были неведомы муки радикулита или затруднённого мочеиспускания. Такие слова, как диабет, геморрой, импотенция, депрессия, имели для него абстрактное значение. При росте сто восемьдесят он весил ровно восемьдесят килограммов.

Макса нельзя было назвать красивым мужчиной в том смысле, как это понимают женщины. Поэтому они редко обращали на него внимание при первой встрече. Не было у него и того внешнего налёта интеллигентности, который отличает человека, родившегося в семье с давними культурными традициями. Высокий лоб не очень гармонировал с несколько грубоватым скуластым лицом, на котором выделялись маленькие глубоко посаженные глаза и крупный нос. Редкие чёрные волосы были слегка тронуты сединой. Однако такая внешность не давала истинного представления о нём, что становилось очевидным после непродолжительного общения. Собеседники быстро меняли первое обманчивое впечатление, а женщины начинали видеть другую красоту – не внешнюю, а гораздо более привлекательную внутреннюю.

... Да, жить придётся долго, снова подумал Макс. Лет сорок, а то и больше. Чем же заняться, чем заполнить эти годы впереди? Можно, конечно, отправиться

в долгое путешествие, даже на целый год. Его финансовое положение было достаточно прочным, что позволяло не думать о расходах. Ну а потом? Нельзя же всё время путешествовать. Как это часто бывает, Макс отличался разносторонними интересами, но у него не было какого-либо хобби, которому можно посвятить свободное время. В молодости он пытался рисовать, но из этого ничего не вышло из-за отсутствия способностей. То же произошло и с желанием писать – оказалось, что сочинять не так-то просто. Не умел он и вырезать по дереву, разводить аквариумных рыбок, копать в саду, хотя при доме, купленном двадцать лет назад, был приличный участок земли. За цветами и травой ухаживал садовник из фирмы ландшафтного дизайна. К любой так называемой общественной деятельности Макс испытывал хроническую аллергию ещё с молодости. Одним словом, всепоглощающего хобби у него не было.

... Макс продолжал рассеянно скользить взглядом по листу ватмана, словно надеясь извлечь ещё какую-нибудь информацию о предках. Впрочем, двигали им скорее инерция и вялое любопытство, нежели осознанный интерес или сентиментальность. Рядом с некоторыми именами были приведены данные о месте рождения и профессии. А если речь шла о лицах, породнившихся с семьёй, то указывалось их происхождение. Например, около имени жены Теодора Ландау, уяди Макса по материнской линии, было написано: «Клара, дочь адвоката Соломона Вайса из Галиции». Это уточнение «из Галиции» показалось Максиму забавным и привлекло внимание. Если учесть, что поженились Теодор и Клара намного позже распада Австро-Венгрии, когда Галиция уже отошла к Польше, то был в этом уточнении некий наивный снобизм, присущий коренным жителям Вены.

Около имени деда Оскара Адлера тоже стояла какая-то надпись из четырёх слов, но язык был не немецкий. Буквы вообще были не латинские. Макс снял с полки энциклопедию и открыл таблицу нелатинских алфавитов. Оказалось, что слова написаны каллиграфическими печатными знаками на иврите. Это озадачило его. Он вспомнил, что в письме отца было что-то сказано о дедушке Оскаре. Макс достал из шкафа шкатулку с реликвиями, вынул из неё письмо и стал внимательно перечитывать. Первая страница была очень эмоциональная и касалась родителей, брата и сестры. Хотя со времени их трагической гибели прошло почти полвека, он снова почувствовал комок в горле. Дальше отец переходил к дедушке Оскару, и эта часть письма была похожа на какую-то информацию, смысл которой не вполне понятен. Отец писал, что дедушка очень состоятельный человек, но, к сожалению, в силу обстоятельств лишён возможности распоряжаться своим имуществом. Поэтому единственное, что он может оставить Максиму на память, – это золотой старинный брегет. Отец настойчиво просил хранить эту драгоценную вещь, никогда не передавать в чужие руки и не ремонтировать, так как современные мастера могут испортить уникальный механизм. Стрелки брегета были неподвижны, а головка заводного механизма не вращалась. Но как часы они и не представляли никакой ценности. Поэтому у Макса даже не возникала мысль о ремонте. Он просто хранил их в шкатулке как память о дедушке, погибшем в Холокосте. Письмо заканчивалось загадочными словами с каким-то явным подтекстом: «Это наш семейный талисман, который принесёт тебе удачу и счастье. Твоя жизнь должна сложиться хорошо. Дедушка Оскар любит говорить, что лучшая месть – это хорошо жить». Когда Макс впервые, много лет назад, прочитал письмо, то подумал, что эти фразы отражали душевное состояние отца, надежду, что младший сын переживёт Катастрофу и станет таким же преуспевающим человеком, как дед. В конце письма был постскриптум, который казался никак не связанным с его содержанием: «Тебе будет полезно хотя бы немного изучить иврит». Впрочем, это выглядело просто как доброе пожелание.

Макс извлёк «талисман» из шкатулки. Часы были увесистые, диаметром более шести и толщиной не менее полутора сантиметров. На циферблате стояло имя

французского мастера Брегета. Золотую заднюю крышку украшала витиеватая резьба, на которой читался год изготовления – 1818. Макс начал машинально вглядываться в завитушки резьбы и вдруг заметил искусно вписанные в них и незаметные при беглом осмотре ивритские буквы. Он подошёл к ватману и сравнил их с надписью около имени деда. Оказалось, что буквы на часах составляли три последние слова из надписи на генеалогическом древе. Первого слова на них не было. «Любопытно, – подумал он, – надо будет узнать, что они означают». Заинтригованный, он тщательно перерисовал в записную книжку слова с ватмана, сверяясь с таблицей в энциклопедии. Знаки имели чёткие прямоугольные очертания, и копировать их было несложно.

2

Компания «Эрдойль Гезельшафт» была основана в конце двадцатых годов для поисков нефти в районе между Веной и чешской границей. С самого начала она принадлежала нескольким учредителям, ни один из которых, впрочем, не имел контрольного пакета акций. Помимо них было много мелких пайщиков, владевших долями процента каждый. Управлял компанией Совет директоров, который избирался на общем собрании держателей акций и назначал президента и вице-президентов. В него входили, кроме влиятельных представителей финансовых и промышленных кругов, также наиболее крупные акционеры. Самый большой пакет долгое время не превышал десяти процентов. Компания выплачивала хорошие дивиденды, и поэтому никто не хотел продавать свою долю. Но в середине тридцатых годов владельцу десятипроцентного пакета удалось приобрести дополнительные акции, предложив за них выгодную цену, и увеличить свою долю до двадцати пяти процентов. После этого он стал так называемым контролирующим акционером компании и получил постоянный пост вице-председателя Совета директоров. Однако будучи занят другими бизнесами, он никогда не присутствовал на заседаниях, поручив защиту своих интересов небольшой венской адвокатской фирме «Ленхард и компаньоны», глава которой представлял его в Совете и которая, в свою очередь, была младшим партнёром швейцарской фирмы «Манфред и Рорвиг».

В марте 1938 года, на следующий день после аншлюса, контролирующий акционер «Эрдойль» продал швейцарской фирме весь свой пакет. Впрочем, эта финансовая операция прошла почти незамеченной в компании и никак не отразилась на её деятельности. Отто Ленхард по-прежнему продолжал занимать пост вице-председателя Совета директоров, но теперь он представлял адвокатскую фирму «Манфред и Рорвиг». После войны имя бывшего контролирующего акционера никто уже не помнил, даже ветераны компании.

В шестидесятых годах «Эрдойль» вышла на международную нефтяную арену, и её оперативная активность резко возросла. Она приобрела концессии в нескольких странах третьего мира и успешно вела там разведочные работы. В её структуре были созданы региональные отделы, курирующие поиски нефти в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и в ряде других районов. Это привело к возникновению партнёрских связей с международными корпорациями и национальными нефтяными компаниями.

Три года назад в «Эрдойль» произошло знаменательное событие. Впервые за всю её историю на одну из руководящих должностей был приглашён иностранец. Им был англичанин Дейв Пауэлл, ставший вице-президентом по зарубежной разведке. Поговаривали, что это назначение имело прямое отношение к более чем тесным связям президента «Эрдойль» Гельмута Келлера с одной из крупнейших британских нефтяных корпораций. Во всяком случае, то, что Пауэлл – человек

Келлера, было очевидным для всех. В компании отнеслись к его появлению без энтузиазма. Хотя Совет директоров и утвердил назначение по рекомендации президента, но Пауэлл всё же оставался тёмной лошадкой. Поэтому он нуждался в быстром и впечатляющем успехе, чтобы продемонстрировать своё соответствие должности и упрочить профессиональную репутацию. В этом же был заинтересован и пригласивший его Келлер.

В прошлом Пауэлл несколько лет работал в Австралии. И он решил, что именно этот регион больше всего подходит для такой цели. Он вызвал начальника отдела Юго-Восточной Азии и Австралии Зигфрида Кляйна и затребовал все имеющиеся оперативные геологические и геофизические материалы по региону. Ответственным за эти материалы был Макс Адлер. Так произошло его первое близкое знакомство с новым вице-президентом. Пауэлл приступил к их детальному изучению, изредка обращаясь к Максусу за дополнительными сведениями. Через два месяца было объявлено, что компания приобрела в Новой Гвинее морскую разведочную концессию в западной части залива Папуа около дельты реки Флай (по-английски «муха») и вскоре приступит к самому крупному зарубежному проекту. Стало известно, что Дейв Пауэлл сам проанализировал материалы по акватории залива и обнаружил гигантское геологическое поднятие, названное им Биг Флай («Большая муха»), – классический объект для нефтяной разведки. Обычно такие проекты разрабатывал Макс Адлер, а если они поступали от партнёров, то в обязательном порядке передавались ему для экспертного заключения. На этот раз он был отстранён от работы. Пауэлл не собирался делить успех с кем бы то ни было. Далеко не все в компании желали ему удачи. И с этого момента его стали за глаза называть папуасом.

Стоимость проекта была огромной. Но папуасу удалось убедить Келлера в его высокой перспективности и экономической рентабельности, а затем оба они без особого труда добились согласия Совета директоров на получение банковского кредита. События развивались стремительно. «Эрдойль» заключила контракт с фирмой морского бурения «Ошеан Дриллинг» в Лос-Анджелесе, и плавучая буровая установка «Сэми»² вышла в море, взяв курс на Новую Гвинею.

В разгар всей этой лихорадочной активности Зигфрид Кляйн зашёл в комнату Адлера.

– Послушай, Макс, что ты думаешь об этой затее?

Адлер молча пожал плечами.

– Это же твой район, – продолжал настаивать Кляйн. – Должен же ты иметь собственное мнение. Ты что, согласен с папуасом? Там действительно есть эта муха?

– Не знаю, – ответил Макс, – я не видел его интерпретацию. Многое зависит, как ты знаешь, от того, какие сейсмические скорости³ он использовал. Я передал ему всё, что у меня было, и понятия не имею, как он обработал и экстраполировал данные по ближайшим скважинам на суше, в которых проводился сейсмокаротаж⁴.

– У тебя есть копии этих материалов?

– Конечно. Копии карт и другой графики у меня имеются, а остальные данные есть в компьютере.

– Вот что, Макс. Сколько времени тебе потребуется, чтобы проверить всё это?

– Ты имеешь в виду расшифровку структуры под водами залива?

– Да, именно это я имею в виду.

– Ну, если работать плотно, то две недели, не меньше.

² Сэми – слэнговое сокращение английских слов semi – submersible drilling rig – полупогружная буровая установка на двух подводных катамаранах.

³ Сейсмическая скорость – скорость распространения сейсмических волн в разных породах.

⁴ Экспериментальное определение сейсмических скоростей в скважине.

– Хорошо. Продолжим разговор через две недели. И ещё вот что – о том, что ты этим занимаешься, никто знать не должен.

Ровно через две недели Макс позвонил Кляйну: «Приходи. Посмотришь, что получилось». Когда тот вошёл, на большом рабочем столе уже лежали карты, профильные разрезы и таблицы сейсмических скоростей. Кляйн, не говоря ни слова, стал внимательно рассматривать их. Он был опытный геолог, настоящий профессионал, и сразу всё понял.

– Чёрт возьми, не зря у меня было предчувствие. Значит, всё-таки ничего нет. Нет мухи – ни большой, ни маленькой. Весёленькая история. Что будем делать, Макс?

– Не знаю, Зигфрид. Они так раскрутили маховик, что даже приближаться опасно. Закончится всё это плохо.

– Да, закончится плохо. «Сэми» уже подходит к островам Гилберта. Скважина будет стоить сорок миллионов долларов, а весь проект – около ста. Пахнет грандиозным скандалом. Может всё-таки попытаться остановить эту затею?

– Видишь ли, если бы здесь была только профессиональная ошибка, то попытаться было бы можно. Но за всем этим стоят личные амбиции, и не только Пауэлла, но и Келлера. Это важнее интересов компании. Сотрут в порошок.

– Да, пожалуй, ты прав. Лучше не связываться. Ну что ж, спрячь всё это подалее. И будь что будет. Нас это не касается.

Через несколько дней, на новогоднем вечере, который компания традиционно устраивала в итальянском ресторане, Кляйн, как обычно, выпил лишнего, и когда речь зашла о бурении в заливе Папуа, небрежно заметил: «Ни хрена там нет».

– Как нет? – не без удовольствия воскликнул начальник юридического отдела Карл Финк, один из наиболее явных недоброжелателей Пауэлла. – Там же, по словам этого британца, огромное поднятие.

– Нет никакого поднятия. Большая муха улетела, остался огромный мыльный пузырь. Вон Макс может подтвердить, – Кляйн кивнул в сторону стоявшего поодаль Адлера.

– А мы сейчас спросим, – Финк направился к Максусу.

В этот момент Кляйн внезапно протрезвел и ухватил его за руку: «Оставь. Я просто пошутил». Но слово вылетело... В компании процветало доносительство. Не прошло и двух дней, как об этом стало известно Пауэллу.

После Нового года Кляйн зашёл к Максусу. Он был взволнован.

– Послушай, Макс. Папуас каким-то образом узнал о твоей карте. Я только что был у него. Он хочет видеть её. Мне пришлось сказать, что она у тебя. Извини, дружище, но просто не было выхода.

– Что значит «каким-то образом узнал»? Ведь кроме нас двоих о ней никто не знает. Я никому не говорил. Ты, что ли, ляпнул?

– Ну что ты! Ты же знаешь, это не в моих интересах. Да и какое это сейчас имеет значение? Главное, что он что-то знает. Я просто зашёл предупредить.

– Слушай, Зигфрид, но ведь это было твоё задание.

– Разумеется. Я не отрицаю. Но какой смысл говорить об этом Пауэллу? Ты уж как-нибудь постарайся выкрутиться. Одному это сделать проще, чем двоим. Скажи, что поиграл скоростями ради любопытства. Войди в моё положение – у меня же трое детей. Ну, удачи, – бросил Кляйн уже в дверях.

Минут через десять позвонила секретарь Пауэлла и попросила зайти к боссу. «Захватите карту и другие материалы по заливу Папуа», – сказала она.

– Заходите, Макс. Как дела? – приветствовал его Пауэлл. – Принесли что-то интересное? Ну что ж, давайте посмотрим.

Макс разложил материалы на столе. По мере того, как папуас разглядывал их, его маленькое птичье лицо становилось пунцовым. Наконец, он побагровел весь, от подбородка до лысины.

– Сейсмокаротаж какой скважины вы использовали? – резко спросил он.
– Скважины «Аворро» компании «Тексако».
– На каком основании? Вы что, не видите, что скважина «Дару», пробуренная «Бритиш Петролеум», расположена совсем рядом с нашей концессией, а «Аворро» – на расстоянии тридцати километров от неё?

– Географически это так. Но «Аворро» находится в той же геологической зоне, что и концессия, а «Дару» – в другой зоне, с другим составом пород и другими скоростями. Мне бы не хотелось это говорить, Дейв, но использование скважины «Дару» привело к появлению на вашей карте ложного, несуществующего поднятия.

– Вызывающее и самонадеянное заявление. Что даёт вам право утверждать это?

Макс подошёл к профильным сейсмическим разрезам и показал на них границы геологических зон. Они были настолько очевидны, что у Пауэлла не нашлось возражений.

– Когда вы построили карту? – спросил он.

– Недели две назад.

– С какой целью?

– Мне было просто интересно. Я ведь курирую этот район, – спокойно ответил Макс.

– Что значит – курирую? Сейчас я его курирую. И я не просил вас заниматься этим. Вы что, хотели проверить меня? Ваша карта – безграмотная чушь.

Макс бросил на Пауэлла насмешливый взгляд.

– Не паникуйте, Дэйв. Верните «Сэми» обратно, – сказал он твёрдо. – Ваша «Большая муха» – это большой блеф.

– Какая наглость! Кто, кроме Кляйна, видел карту?

– Никто.

– Идите. Материалы оставьте здесь.

После разговора с Пауэллом положение Макса в компании резко изменилось. Через несколько дней его перевели из большой светлой комнаты, которую он занимал уже много лет, в маленькую полутёмную каморку в конце коридора. Коллеги перестали заходить к нему, а встречаясь в вестибюле или в столовой, ограничивались лишь коротким приветствием, а то и просто едва заметным кивком. Зигфрид Кляйн в присутствии других старался не показывать прежние дружеские отношения, а наедине подбадривал ничего не значащими словами: «Держись, Макс, всё образуется. Наберись терпения и не падай духом. Вот провалятся они в заливе Папуа и увидят, что ты был прав. Тогда всё изменится». Оба они понимали, что тогда-то всё и начнётся...

Но хуже всего было то, что Макс вдруг перестал получать задания. После проекта, который был начат ещё до разговора с Пауэллом и закончен через месяц после него, Кляйн больше не передавал ему материалы для анализа или экспертной оценки. Его не приглашали на технические совещания, его мнением никто не интересовался даже тогда, когда речь шла о регионах, по которым он был признанным специалистом. В откровенной форме ему давали понять, что он должен уйти из компании. В то же время просто уволить его в приказном порядке было невозможно, учитывая безупречную прошлую работу, которая была документально подтверждена ежегодными оценками, хранившимися в его файле. Наконец Макс не выдержал и пришёл к Кляйну.

– Зигфрид, в чём дело? Что происходит? Ты что, думаешь, я уйду добровольно? Не надейся. Только за последние пять лет у меня в активе три новых месторождения, которые приносят компании миллионы. И не забывай – это ты впутал меня в эту историю. Так что, в случае чего, окажемся на улице вместе.

Кляйн побледнел.

– Макс, дружище, поверь, я здесь ни при чём. Ничего не могу сделать. Всем этим дирижирует папуас. Попробую поговорить с ним, но ничего не обещаю.

На следующий день Кляйн зашёл в каморку Макса.

– Ну вот, твоё безделье закончилось. Есть срочная работа – оценить перспективы нефтеносности восточной части острова Калимантан и составить детальный план разведки. Срок – два месяца. И учти – ни дня больше. Через три месяца тендер на разведочную концессию.

– Ты шутишь, Зигфрид? Я знаю этот район. Для него и шести месяцев мало. И что значит – ни дня больше?

– Срок определил папуас. Он подчеркнул, что опоздание даже на один день будет считаться невыполнением проекта. Ты, конечно, можешь отказаться. Но сроки следующего проекта будут ещё менее реальными. А два отказа – повод для увольнения за профессиональное несоответствие. У тебя просто нет выбора. Так что берись за работу и будем уповать на Бога.

– Уповать на Бога, которого нет... Ну что ж, давай проектное задание.

Макс начал в тот же день и работал по двенадцать часов в сутки. Это был изнурительный марафон наперегонки с календарём. Через два месяца, день в день, детальный геологический анализ и план разведки были готовы. Презентация проходила при необычно многолюдной аудитории. Вся компания знала, что предстоит публичная расправа. Поэтому одни пришли из любопытства, другие – из-за профессионального интереса, а третьи, составлявшие специально отобранную группу, – с целью разыграть заранее подготовленный сценарий и провалить проект. Но справиться с заданием им не удалось. Ни один из них не владел материалом так, как Макс. Поэтому он с лёгкостью отвечал на каверзные вопросы и парировал критические выступления. В результате его план разведки был принят полностью, без малейших изменений и замечаний. Вскоре после этого Макс узнал, что никакого тендера в этом районе не было, и «Эрдойль» не планировала проведение здесь разведочных работ. Жёсткий срок, отведённый для проекта, имел только одну цель – сделать его невыполнимым.

В эти дни, впервые в жизни, у Макса начались проблемы со сном. Режим работы был намеренно выматывающим. Но будучи человеком сильным и волевым, он твёрдо решил, что это не должно повлиять на его физическое и душевное состояние. Однако решить оказалось легче, чем сделать. Он ложился спать в половине одиннадцатого, как обычно. Но сон не приходил, несмотря на невероятную усталость. Вместо этого калейдоскопом проносились события прошедшего дня и в голову лезли, вопреки логике и здравому смыслу, какие-то дикие фантазии, всегда на одну и ту же тему – как он отомстит папуасу! Порой месть принимала изощрённые формы... Вот он едет ночью по пустынной дороге и видит в кювете перевернутый автомобиль, а в нём раненый Пауэлл. Макс подходит к нему. Их взгляды встречаются. Он улыбается, снова садится в машину и уезжает... Или другая фантастическая картина. Макс становится президентом компании, и теперь судьба Пауэлла в его руках. Он даёт ему проектное задание с нереальным сроком. Тот не справляется, и Макс с позором увольняет его... Иногда объектом мести становится Зигфрид Кляйн... Наконец, промучившись час, а то и два, он с трудом засыпает. Утром вспоминает ночные фантазии с содроганием и отвращением. На память приходят слова из письма отца: «Лучшая месть – это хорошо жить». Однажды под утро ему приснился настоящий папуас в набедренной повязке, с кольцом в носу, с которым он познакомился когда-то в Новой Гвинее. Он выходил на берег из залива Папуа и кричал: «Ты украл мою нефть! Я расскажу об этом Совету директоров!» Папуас приблизился, и Макс узнал в нём Пауэлла. Он протянул ему свою карту, но Пауэлл завопил «безграмотная чушь» и помочился на неё. Макс бросился на него с кулаками... и в этот момент проснулся. Часы показывали без четверти

шесть. Пора было вставать. Начиналось новое утро и новый тяжёлый рабочий день...

После презентации проекта по Калимантану снова потянулись месяцы вынужденного безделья, а потом вдруг Макс получил ещё одно проектное задание с таким же нереальным сроком. И опять блестящая презентация без единого дня опоздания. Такое напряжение не проходило бесследно – он осунулся, глаза ввалились, нервы начали пошаливать.

Тем временем провал в заливе Папуа становился всё более очевидным. Поскольку в финансовом отношении это был не рядовой проект, причины неудачи рассматривались на заседании Совета директоров. Пауэлл и Келлер вынуждены были объяснять, как мог произойти такой скандальный просчёт. И папуас нашёл выход – причиной ошибочной интерпретации геологических материалов, по его словам, были заведомо неправильные значения сейсмических скоростей, полученные им от Макса Адлера. Он также намекнул, что сделано это было умышленно, в отместку за то, что Адлер не был привлечён к проекту. Возмущению членов Совета не было предела. Специально созданная комиссия начала проверку работы Макса за несколько последних лет. И здесь обнаружилось, что из личного файла в отделе кадров исчезли оценки его предыдущих проектов. Никто не мог объяснить, как это произошло...

Упорные и грубые попытки профессиональной дискредитации, в которых участвовало немало коллег, продолжались уже около трёх лет. Но ни одного мало-мальски обоснованного повода для увольнения найти не удавалось. И вдруг необходимость такого повода отпала сама собой. Чтобы как-то компенсировать финансовые потери в заливе Папуа, компания была вынуждена сократить бюджет и уволить пять процентов сотрудников. Макс, конечно, оказался первым в этом чёрном списке. Вторым был Зигфрид Кляйн, вина которого состояла в том, что он видел злополучную карту. Когда проводится вынужденное сокращение персонала, никаких индивидуальных причин и объяснений для увольнения не требуется.

Незадолго до этого в США вышла книга, которая произвела сенсацию в обществе, и особенно – в мире большого бизнеса. О ней говорили в СМИ, деловых клубах, компаниях, при частных встречах в кругу белых воротничков. Книга быстро стала бестселлером, а её автор – национальным героем. Звали его Ли Якокка, а книга была его автобиографией. Макс прочитал её на одном дыхании. В жизни и карьере этого человека были две вершины, два «Эвереста», как он их называл. Первая вершина – пост президента компании «Форд». Он начал работу в ней молодым инженером и через двадцать четыре года стал вторым человеком после самого Генри Форда, внука основателя автомобильной империи. За восемь лет на посту президента Якокка сделал компанию стабильной и процветающей. Однако в последние три года он стал подвергаться постоянным унижениям и издевательствам со стороны Форда. «В 1975 году он приступил к своему преднамеренному плану уничтожить меня, – говорит Якокка. – В параноидальном мозгу Генри возникло подозрение, что после его смерти я отстраню его сына Эдсела от руководства компанией и завладею ею. Он действовал целенаправленно из месяца в месяц. Моя жизнь превратилась в ад. Я стал пить больше, появилась дрожь в руках. Я чувствовал, что расползаюсь по швам. Я стал записывать всё, что происходило. Жена поддержала меня. Может быть, однажды ты захочешь написать книгу об этом, сказала она. И никто не поверит, что в уважаемой компании было возможно то, через что нам пришлось пройти».

В течение трёх лет Форд делал всё, чтобы заставить Якокку уйти добровольно. «Почему я не уходил? – задаёт вопрос Якокка и отвечает так. – Были две причины. Форд не является единоличным владельцем компании. Основная часть акций принадлежит частным лицам. И я наивно полагал, что они не допустят увольнения

человека, чьи впечатляющие достижения обеспечивают им высокие дивиденды. А во-вторых, я был столь же наивно убеждён, что Совет директоров, в котором было много моих личных друзей, не разрешит Форду уволить меня. Я не сомневался, что хотя бы один из них встанет и скажет, что это позор. Якокка приносит компании два миллиарда ежегодно. Если он уйдёт, я тоже уйду».

Надежды Ли Якокки не сбылись. Никто не выступил в его защиту. Совет директоров не посмел бросить вызов Генри Форду. В возрасте пятидесяти четырёх лет, в день своего рождения, Якокка был уволен без объяснения причин. «Сброшен с Эвереста», – как он пишет. Вторым «Эверестом» стал предложенный ему вскоре пост президента компании «Крайслер», которую он спас от банкротства и поставил на ноги. После этого успеха он стал фигурой национального масштаба и его кандидатура даже выдвигалась в Белый дом.

Историю увольнения, своё душевное состояние и пережитый стресс Якокка описывает подробно и эмоционально, с чисто итальянским темпераментом. Особое место в его драматическом рассказе занимает первое утро жизни безработного, когда им вдруг овладело смятение и он почувствовал себя потерянным, опустошённым, не знающим, что делать и чем заняться. Макс поразило сходство всего этого с тем, что происходило с ним самим. Как бы объясняя это сходство, Якокка замечает: «Когда ты уволен без причины после многих лет безупречной работы, не имеет значения, кто ты – президент компании или клерк. Психологически это одинаковая катастрофа для любого».

Наиболее болезненным было намеренное унижение, которому подверг его Форд. По условиям контракта, в случае увольнения президенту для поиска новой работы предоставляется полностью оборудованный временный служебный офис. Этим «офисом» оказалась маленькая обшарпанная комната на складе запчастей в нескольких милях от того здания, в котором ещё вчера Якокка занимал роскошный кабинет с ванной и специальным помещением для отдыха. На складе он пробыл менее часа и больше там не появлялся. Но унижения не забыл. Прочитав об этом, Макс вспомнил свою полутёмную каморку в конце коридора... Другим поразительным сходством было то, что друзья и коллеги, продолжавшие работать в компании, сразу же прекратили общение с Якоккой. Никто из них даже не пришёл на похороны его жены и не прислал соболезнование. «Это был самый большой шок в моей жизни», – пишет Якокка.

Так же, как и бывший президент компании «Форд», Макс наивно полагал, что геолог, работа которого привела к открытию не одного нефтяного месторождения, не может быть уволен без причины. Документы об этих открытиях имелись в его личном файле. Решение нашли простое – они были изъяты. Наконец, ещё одно сходство заключалось в том, что Якокка не скрывает появившуюся у него навязчивую идею отомстить Генри Форду. «Во время бессонных ночей я непрерывно фантазировал, как ударю его в самое больное место. А такие места я знал... За унижение мерзким “офисом” на складе запчастей я был готов убить его физически». Эти строки напомнили Максу его собственные ночные фантазии. «Поразительно, – подумал он, – значит, везде и со всеми это происходит одинаково. Технология расправы в уважаемых организациях одна и та же – будь то Европа или Америка, нефтяная компания или автомобильная, идёт ли речь о президенте или инженере. Но Якокке повезло – он взошёл на свою вторую вершину и снова стал “хорошо жить”. Это была лучшая месть Форду. А у меня впереди только горнолыжные вершины, что, в сущности, не так уж плохо...»

3

Самуэль Маркус, раввин Старой венской синагоги, что недалеко от Юденплац, рассматривал слова в записной книжке Макса.

– Первое слово не очень понятно. Возможно, это чьё-то имя. Бергет или Боргет. Без огласовки прочитать трудно⁵. Вы знаете этого человека?

– Может быть, Брегет? – предположил Макс.

– Вполне вероятно. А три других слова читаются так: «фтах эт ха'михсе», что означает «открой крышку».

– Я вам очень благодарен, рабби.

Выйдя из синагоги, Макс мысленно повторил эти слова: «Брегет. Открой крышку». Он вспомнил, что на генеалогическом древе написана вся фраза, а на часах первое слово отсутствует. «Это логично, – подумал он. – Ведь часы и есть брегет. И специально указывать это незачем. А на древе необходимо объяснить, о какой крышке идёт речь. Так вот что означал постскрипtum об изучении иврита в письме отца...» Уже сидя в машине, он вдруг поймал себя на том, что непроизвольно напевает эти загадочные слова, как некий рефрен. И ещё он заметил, что едет домой с особым нетерпением...

Крышка брегета была наглухо прикреплена к корпусу каким-то секретным внутренним зажимом. Максусу пришлось повозиться, чтобы открыть её. Часы оказались полые, без механизма. Чтобы его отсутствие не делало их подозрительно лёгкими, внутрь была вложена свинцовая пластинка. По существу, брегет был лишь футляром. Макс извлёк из него плоский ключ сложной конфигурации с выбитой на нём цифрой «23» и записку на маленьком листке тонкой плотной бумаги, аккуратно сложенном в несколько раз. Текст записки гласил: «Это ключ от принадлежащего Оскару Адлеру сейф-бокса, который находится в офисе «Свисс Бэнк Корпорэйшн» по адресу: Швейцария, Женева, Рю де ла Сите. Номер сейфа 23. Номер счёта в этом же банке P4-644,481.2. В случае смерти Оскара Адлера право доступа к сейфу и счёту получают его дети Леопольд, Эмма и Клара, а также их прямые потомки (дети, внуки и т.д.). Сейф абонирован и оплачен владельцем на 100 лет, начиная с 1938 года. Он открывается одновременно двумя ключами, один из которых приложен к данному письму, а второй находится в банке».

Роланд Шиллинг, генеральный директор женеvского филиала «Свисс Бэнк Корпорэйшн», внимательно читал документы Макса Адлера и передавал их один за другим юриконсульту Эдварду Верга, на столе которого лежала папка «Оскар Адлер. Счёт P4-644,481.2, сейф-бoкс 23». Документы включали свидетельство о рождении с данными об отце и матери, а также официальное уведомление специального правительственного бюро о гибели в лагере смерти Маутхаузен Оскара Адлера, его троих детей и пятерых внуков. В уведомлении было указано, что оно выдано в соответствии с запросом Макса Адлера, единственного ныне живущего члена семьи.

– Господин Адлер, – торжественно произнёс генеральный директор, когда бумаги были просмотрены, – мы внимательно изучили представленные вами документы и пришли к выводу, что они соответствуют швейцарским законам и уставу нашей корпорации. Мы также пришли к выводу, что вы являетесь законным наследником покойного Оскара Адлера и имеете право доступа к его банковскому счёту и сейф-боксу. Однако окончательное подтверждение этого права вы сможете получить только через неделю, после экспертизы документов в нашем главном офисе в Цюрихе. Мы сожалеем, что вынуждены отложить на это время завершение формальностей, и надеемся, что вы отнесётесь к этому с пониманием.

Через неделю Макс снова появился в кабинете генерального директора. Шиллинг встретил его широкой приветливой улыбкой, вышел из-за стола и пожал руку.

⁵ В иврите нет гласных букв. Иногда вместо них ставятся специальные знаки – огласовки. Брегет пишется «бргт», что может читаться «бергет, боргет, брегет» и т.п.

– Подтверждение из Цюриха получено, господин Адлер. Поздравляю. Сердечно поздравляю от себя лично и от имени нашей корпорации. Мы надеемся, что вы продолжите семейную традицию и останетесь нашим постоянным клиентом. Могут ли я спросить, господин Адлер, с чего вы хотели бы начать знакомство с вашими активами – с банковского счёта или сейф-бокса?

– С банковского счёта.

– Прекрасно. Я провожу вас в операционный отдел.

... На банковском счёту оказалось 96 миллионов швейцарских франков. Макс подписал необходимые документы, заказал чековую книжку и кредитную карточку. С этого момента он стал владельцем счёта и мог распоряжаться им по своему усмотрению.

После ланча в служебном ресторане банка, на который его пригласил Шиллинг, они спустились в бронированное хранилище, где находились сейф-боксы. Здесь Шиллинг представил Максу супервайзера хранилища и попрощался. Макс и супервайзер подошли к сейфу 23. Супервайзер вставил ключ в верхнюю замочную скважину и ушёл. Макс вставил свой ключ в нижнюю скважину и повернул оба. Замок открылся легко и бесшумно, будто был смазан только вчера. Макс вынул из ниши длинный металлический ящик, перенёс его в закрытую кабинку и поставил на стол. Сейф был почти пуст, и лишь тонкий запечатанный конверт лежал на дне. Макс сел в удобное кресло, вскрыл конверт и вынул из него три сложенных пополам документа. Он развернул тот, что находился сверху. Это был договор, заключённый между Оскаром Адлером и адвокатской фирмой «Манфред и Рорвиг» в марте 1938 года. В нём говорилось, что господин Адлер передаёт фирме принадлежащие ему двадцать пять процентов акций компании «Эрдойль Гезельшафт» на следующих условиях.

1. Акции остаются собственностью господина Адлера и его наследников.
2. Фирма принимает акции на бессрочное хранение без права продажи всего пакета или любой его части.
3. В силу известных обстоятельств фирма согласна считаться формально юридическим владельцем акций, но де-факто – лишь номинальным.
4. Акции должны быть возвращены господину Адлеру или его наследникам по первому требованию независимо от срока, каким бы длительным он ни был.
5. В качестве вознаграждения за оказанные услуги фирма получает полностью дивиденды, которые будут выплачены компанией «Эрдойль Гезельшафт» за весь период хранения. Помимо этого, при возвращении акций их юридическому владельцу фирма оставляет себе пять процентов в качестве дополнительного вознаграждения.

... Макс с трудом верил своим глазам. Ему вдруг стало казаться, что это не реальный документ, а лишь одна из его безумных ночных фантазий на тему мести папуасу. Ну конечно же, знакомое видение – он становится президентом компании, и судьба Пауэлла в его руках... Макс тряхнул головой, ущипнул себя и огляделся. Нет, он не спит, а сидит перед сейф-боксом в кабинке хранилища. Для верности он выглянул из неё и посмотрел на десятки других сейф-боксов в стальных ячейках. На сон не было похоже... Он перечитал договор снова, на этот раз – вслух, шёпотом. Как бы не доверяя только глазам, он хотел удостовериться в его реальности ещё и ушами. Но и глаза, и уши, и пальцы, которыми он недоверчиво ощупывал бумагу, говорили одно и то же: «Отныне ты, Макс Адлер, персона нон грата в компании “Эрдойль Гезельшафт”, становишься её контролирующим акционером и вице-председателем Совета директоров. Твои безумные ночные фантазии превратились в реальность».

«Не слишком ли круто для нормального человека, а не финансового супермена? – подумал Макс с несвойственным ему суеверием. – Такие сценарии можно уви-

деть в кино, а не в жизни». Неожиданно, без всякой связи с происходящим, вспомнилась рыжеволосая красавица Джулия. Он понял, что никогда не забывал о ней. Просто сейчас память о тех давних событиях получила по некоей загадочной и таинственной ассоциации новый импульс. Где она сейчас? Доходили слухи, что она живёт не то в Канаде, не то в Америке. Не удивительно ли, что он вспомнил о ней в хранилище швейцарского банка? Почему он не оказался здесь тогда, двадцать пять лет назад? Всё могло бы быть иначе...

Вдруг его мысли сделали ещё один зигзаг и пошли в ином направлении. Как это всё стало возможно? Макс имел в виду ту почти мистическую случайность, в результате которой он сейчас держит в руках этот фантастический документ. Ведь ватман с генеалогическим древом мог пролежать на шкафу ещё тридцать лет, и столько же могли оставаться незамеченными ивритские буквы на крышке брегета... Если бы не увольнение и вызванное им внезапное импульсивное желание отправиться в долгое путешествие, он никогда бы не полез за туристическими проспектами и не обнаружил рулон в чёрном футляре... А уволил его Пауэлл. Значит благодаря ему он сидит сейчас здесь. Как в английской поговорке: «У каждого облака есть серебряная подкладка»... Макс не верил ни в Бога, ни в знаки зодиака, ни в приметы. Он верил только в судьбу, в её предначертанность. И подумал, что это было predetermined, а следовательно, неизбежно. Что – «это»? Вся цепь событий – и появление в компании Пауэлла, и его амбициозная затея с разведкой в заливе Папуа, и задание Кляйна проверить «Большую муху», и последовавшая за этим месть папуаса... Это не хаотическое нагромождение случайностей, не мистика. Это судьба. А судьба так же реальна, как воздух, пища и как сам человек, состоящий из плоти и крови. Если из цепи событий убрать хотя бы одно звено, то конструкция рухнет, судьба не состоится. Но в том-то и заключается главная тайна, что убрать звено невозможно. Это только кажется, что Пауэлл, Кляйн и он сам действовали по своей воле. Всё было predetermined, и они не могли не делать то, что делали...

Эти размышления привели мысли и чувства Макса в состояние равновесия и гармонии. Он раскрыл следующий документ. Это была справка о банковских реквизитах и юридическом статусе фирмы «Манфред и Рорвиг». Там же был указан её адрес – Женева, Рю де Мон-Блан. Последний, третий, документ касался банковского счёта, владельцем которого он стал в это утро.

Макс нажал кнопку звонка, вызвал супервайзера и спросил, где можно сделать копии. Тот проводил его в соседнюю комнату. Макс скопировал документы и положил оригиналы в сейф-бокс. Затем вставил его обратно в нишу стены, закрыл двумя ключами, вернул верхний ключ супервайзеру и вышел в вестибюль. Там он вынул из кейса карту города и нашёл Рю де Мон-Блан. Улица оказалась совсем близко от банка. Макс подумал, что за пятьдесят лет адрес фирмы мог измениться. Поэтому он решил посмотреть на дом просто из любопытства.

Он перешёл по мосту на правый берег Роны в том месте, где река вытекает из Женевского озера, и сразу же попал на нужную улицу. Найдя дом, он был приятно удивлён – над простой, но элегантной входной дверью, прямо на облицовочной плите было выгравировано «Манфред и Рорвиг». «Да, для тихой консервативной Швейцарии пятьдесят лет – это вообще не исторический срок, – подумал Макс. – По Европе прокатилась мировая война, а здесь всё было и остаётся неизменным. Дед Оскар не мог выбрать лучшей страны для своей последней финансовой операции». Постояв несколько минут перед домом, он решил, что свой первый визит сюда должен нанести по всем правилам. А для этого нужно сначала позвонить по телефону и назначить время встречи. Он сделает это завтра.

Возвратившись в гостиницу, Макс раскрыл телефонный справочник и нашёл фирму «Манфред и Рорвиг». Он опять был приятно удивлён: рядом с телефонами

её владельцев стояли имена – доктор Гуго Манфред и доктор Виктор Рорвиг. «Конечно, это не те люди, которые подписали договор с дедом, – подумал он. – Видимо, их сыновья, а скорее всего, внуки». Хотя это и не имело для него никакого значения, но снова повеяло незыблемой швейцарской традицией, непоколебимой стабильностью.

Утром Макс позвонил Гуго Манфреду. Он услышал приятный вышколенный голос секретаря. Макс назвал своё имя и сказал, что хотел бы поговорить с доктором Манфредом. Его соединили.

– Здравствуйте, господин Адлер. Чем могу быть вам полезен?

– Я бы хотел встретиться с вами, доктор Манфред, по поводу акций «Эрдойль Гезельшафт», принадлежащих семье Адлер.

– Простите, господин Адлер. Я как-то сразу не связал ваше имя с семьёй Адлер. Искренне рад разговаривать с вами. Где вы сейчас находитесь?

– В Женеве, недалеко от вас.

– Прекрасно. Мой компаньон Виктор Рорвиг и я будем счастливы видеть вас в любое время, которое вы сочтёте удобным. Если вы хотите приехать сейчас, то дайте нам два часа для подготовки документов.

У Макса возникло ощущение, будто собеседник только и ждал его звонка все эти годы. Никаких лишних вопросов, ни тени удивления, ни намёка на неожиданность или сюрприз. Искренняя готовность оказать услуги клиенту. Всё это говорило о высшем уровне профессионализма. Они договорились встретиться завтра утром.

Документы оказались в идеальном порядке и были быстро переоформлены на имя Макса. Итак, отныне Макс Адлер стал законным правопреемником деда Оскара и вступил во владение самым большим пакетом акций «Эрдойль Гезельшафт». Он договорился, что один из владельцев фирмы сделает официальное заявление об этом в Вене и представит его в новом статусе Совету директоров и руководству компании.

4

Раввин Самуэль Маркус встретил Макса как старого знакомого.

– Рад видеть вас, господин Адлер. Надеюсь, моя скромная помощь была полезна.

– О да. Весьма полезна. Если позволите, я и в дальнейшем буду пользоваться вашими услугами и советами в делах, в которых не очень сведущ. А сейчас я бы хотел обсудить с вами ряд других вопросов. Во-первых, я хочу построить на новом еврейском кладбище в районе Симмеринг мемориал в память членов семей Адлер и Ландау, погибших в Маутхаузене. И буду признателен, если вы поможете с выбором места и порекомендуете хороших специалистов. Во-вторых, я хочу установить в вашей синагоге мемориальную доску с именами погибших. И в третьих, я намерен сделать пожертвование синагоге.

– Очень похвальные планы, господин Адлер. Что касается мемориала, то кладбище находится в ведении похоронного братства «Хевра кадиша». Я свяжу вас с ними и уверен, что они отнесутся к вашему желанию с полным пониманием. В отношении мемориальной доски можете положиться на меня. И, разумеется, я вам искренне благодарен за намерение сделать пожертвование.

Совместное заседание Совета директоров и руководства «Эрдойль Гезельшафт» было назначено на десять часов утра в понедельник. По случайному совпадению, ровно два месяца назад Макс последний раз переступил порог компании. Утром того памятного дня ему пришлось перенести в машину личные вещи и

сдать пропуск. «Всего два месяца, – подумал Макс, – а кажется, что мир перевернулся». Он неожиданно быстро привык к своему новому положению, а главное – пропала бессонница, восстановился ежедневный распорядок, и снова обязательной рутинной стали холодный душ, утренняя гимнастика, вечерняя часовая пробежка по лесным аллеям. Возобновились и визиты к фрау Эльзе. Он вошёл в свою прежнюю физическую форму, что отразилось и на его внешности. Но всё же иногда перед сном, когда мысли вдруг переставали подчиняться логике и чувству реальности, в сознание нет-нет да закрадывалось сомнение: «А правда ли всё это? Не сон ли?» В такие минуты Макс включал ночную лампу, брал с тумбочки договор деда с «Манфред и Рорвиг», пробежал его глазами, успокаивался и быстро засыпал...

Когда Франц Ленхард, сын Отто Ленхарда и глава венской адвокатской фирмы «Ленхард и компаньоны», сообщил банкиру Клаусу Руппе, председателю Совета директоров, что их швейцарский партнёр намерен сделать важное сообщение на внеочередном заседании Совета, ему, естественно, был задан вопрос: «О чём пойдёт речь?» Ленхард, следуя инструкции Манфреда, ответил, что это касается кое-каких технических изменений в юридическом статусе пакета акций, принадлежащих швейцарской фирме. Подробности он не знал.

... До заседания оставалось несколько дней. Макс позвонил своему автодилеру и попросил подготовить «мерседес» последней модели, которым он решил заменить «ауди». В четверг новый серебристый лимузин был доставлен к его дому. В тот же день он встретился с Гуго Манфредом, и они обсудили детали предстоящего заявления на Совете директоров. Было решено, что сначала Манфред сделает краткое информативное сообщение, во время которого Макс будет находиться в соседней комнате. И лишь после того, как Манфред назовёт его имя, Элизабет Боне, секретарь фирмы, пригласит Макса в зал. Он войдёт и займёт место, заранее приготовленное для него за большим овальным столом справа от председателя. Благодаря такому сценарию внимание публики не будет преждевременно отвлечено присутствием Макса и позволит ей без помех выслушать сообщение Манфреда.

Гуго Манфред позвонил в офис президента компании и попросил приготовить на понедельник два пропуска для сопровождающих его господина Адлера и госпожи Боне. Фамилия Адлер достаточно распространённая и поэтому секретарь Гельмута Келлера не связала её с Максом.

В понедельник без двадцати десять два лимузина одновременно подъехали к офису «Эрдойль Гезельшафт» и остановились на специальном паркинге для руководства компании. Макс, Гуго и Элизабет поднялись на десятый этаж на так называемом «президентском» лифте и вошли в зал заседаний Совета. Никто из сотрудников им не встретился. Гуго и Элизабет остались в зале, а Макс прошёл в небольшую смежную комнату, служившую для отдыха и частных бесед.

Ровно в десять появились члены Совета и приглашённые. Каждый занял своё постоянное место. Манфред, сидевший как вице-председатель рядом с Клаусом Руппе, попросил оставить свободное кресло по другую руку от него. В кратком вступлении Руппе сказал, что просьба о внеочередном расширенном заседании Совета поступила от фирмы «Манфред и Рорвиг», которой принадлежит двадцать пять процентов акций компании, и предоставил слово её совладельцу.

– Господа, – обратился к собравшимся Манфред, – как вы знаете, наша фирма приобрела пакет акций «Эрдойль Гезельшафт» в 1938 году, что дало нам право занять пост вице-председателя Совета директоров. Все эти годы интересы фирмы в Совете представлял наш младший партнёр «Ленхард и компаньоны». В действительности приобретение акций не было обычной финансовой операцией. Соглас-

но договору между предыдущим владельцем пакета и «Манфред и Рорвиг» акции были переданы нам на хранение с условием вернуть их по первому требованию либо самого владельца, либо его наследников. Такой характер договора был обусловлен известными событиями в марте 1938 года. Я должен особо подчеркнуть, что юридическая сторона соглашения не противоречит ни швейцарским, ни австрийским, ни международным законам.

Манфред сделал паузу и вынул несколько листов из лежавшей перед ним кожаной папки. Напряжение в зале нарастало. Все понимали, что главное ещё впереди, и с нетерпением ожидали его.

– Владелец акций и почти вся его семья погибли в Маутхаузене, – продолжал Манфред. – Но его внук, к счастью, жив и недавно связался с нашей фирмой. Он представил все необходимые документы, не оставляющие сомнений, что является законным наследником и правопреемником своего деда. Вот договор о возвращении ему акций, о которых идёт речь, за вычетом пяти процентов, предусмотренных в виде гонорара «Манфред и Рорвиг», – Манфред взял со стола документ и показал его присутствующим. – Я уполномочен сообщить уважаемому собранию, что отныне, согласно уставу компании «Эрдойль Гезельшафт», пост вице-председателя Совета директоров переходит к юридическому лицу, которому принадлежит пятая часть её активов, что обеспечивает ему статус контролирующего акционера. А теперь позвольте мне назвать имя. Многим из вас оно хорошо известно.

Манфред выдержал паузу и обратился к Элизабет Боне, сидевшей в кресле около двери в смежную комнату.

– Элизабет, пригласите, пожалуйста, господина Макса Адлера.

В первый момент в зале повисла тишина. Но через короткое мгновение она сменилась глухим нарастающим шумом. Послышались возгласы удивления и недоумения. Кое-кто, не веря своим ушам, переспрашивал имя у соседей. Когда Макс вошёл, шум моментально прекратился. Он держался уверенно и с достоинством. Элегантный тёмно-синий костюм подчёркивал его новый статус. Прямо от двери он решительно направился к свободному креслу справа от Клауса Руппе. Прежде чем сесть, Макс медленно обвёл взглядом присутствующих, улыбнулся и отчётливо произнёс: «Здравствуйте, господа. Рад видеть вас снова». Затем сел и, после небольшой паузы, продолжил:

– Я полагаю, доктор Манфред сообщил вам необходимую информацию. Хочу лишь добавить, что я намерен самым активным образом участвовать в делах компании. Главным направлением моей работы будет зарубежная разведка. В последнее время у нас не всё благополучно в этой области. Поэтому я решил взять её под свой контроль и разобраться в причинах неудач. Я убеждён, что в венском офисе и в наших зарубежных филиалах работают прекрасные специалисты. И если мы сможем более эффективно использовать их знания и опыт, то добьёмся успеха. А теперь я готов ответить на вопросы.

В зале снова воцарилась тишина. Все были поражены, с одной стороны, краткостью и резкостью выступления, а с другой – его деловым характером. Макс увидел краем глаза, как Дейв Пауэлл незаметно положил под язык таблетку. Наконец, люди стали приходить в себя. Первым решился сломать лёд начальник юридического отдела Карл Финк, который был в приятельских отношениях с Максом до его конфликта с папуасом.

– Господин Адлер, не знаю, как вас теперь называть... – он смущённо улыбнулся.

– Так же, как и раньше, – ответил Макс.

– О'кей. Макс, прежде всего я искренне поздравляю тебя и не сомневаюсь, что твоя работа принесёт компании большую пользу. А во-вторых, не могу не

спросить... – Финк замялся. – Почему мы не знали об этом раньше? Я имею в виду то, что тебе принадлежит этот прелестный пакет.

– Ты хочешь честный ответ или уклончивый? – Макс улыбнулся.

Такой чистосердечный вопрос разрядил обстановку. Многие заулыбались, кое-кто одобрительно рассмеялся.

– Хотелось бы честный, – Финк тоже улыбнулся.

– Если честно, то раньше я и сам об этом не знал, – сказал Макс с подкупающей откровенностью.

Все засмеялись. Слово взял Гельмут Келлер.

– Позвольте искренне поздравить вас, дорогой Макс, от своего имени и от имени руководства компании. Хочу воспользоваться случаем и лишний раз подчеркнуть, что я всегда был самого высокого мнения о ваших личных и профессиональных качествах. Я совершенно убеждён в правильности вашего решения взять под контроль зарубежную разведку. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и сотрудничество.

– Спасибо, Гельмут, – сухо сказал Макс (раньше он не называл президента по имени, но ситуация изменилась).

После Келлера ещё несколько человек высказались в таком же духе. Последним выступил Клаус Руппе.

– Господин Адлер, – почтительно обратился он к Макс, – к сожалению, раньше я не был знаком с вами лично. Но мне приходилось неоднократно слышать, что вы прекрасный специалист. И я искренне рад, что такой профессионал, как вы, занял пост вице-председателя нашего Совета. Надеюсь на дружеское и плодотворное сотрудничество.

Макс и Руппе встали и обменялись рукопожатием. Раздались дружные аплодисменты. Как только заседание закончилось, вокруг Макса столпились те, кто не успел засвидетельствовать лояльность. Они пожимали ему руку и поздравляли, каждый в меру своей велеречивости. Был среди них и Дейв Пауэлл...

5

Офис Макса был оборудован на одиннадцатом этаже, над офисами президента и вице-президентов. К просторному кабинету примыкали комфортабельная комната отдыха и ванная. В приёмной было готово рабочее место секретаря, но пока оно пустовало. Макс вызвал начальника отдела кадров Юргена Фолкмана, чтобы обсудить вопрос о кандидатуре.

– Есть два варианта, – сказал Фолкман, – или подобрать кого-нибудь в компании, или обратиться в агентство по трудоустройству.

– Второй вариант предпочтительнее, – решил Макс. – Займитесь этим, Юрген. И не откладывайте. Офис может работать без шефа, но не без секретаря. Интервью с кандидатами проведите сами. Мои условия просты – профессионализм, приятная внешность и неглупое лицо. Но оно не должно быть слишком обезображено интеллектом.

Фолкман понимающе улыбнулся.

– Возраст? – спросил он.

– Ах да, возраст. Ну, скажем, от тридцати до сорока.

– Хорошо, займусь этим безотлагательно. А пока пришлю кого-нибудь временно.

Было заметно, что Фолкман хочет что-то сказать, но не решается.

– У вас есть что-то ещё? – спросил Макс

– Да, если позволите. Это касается вашего файла. Помните те пропавшие документы? Они нашлись.

– Вот как. Приятная новость, – Макс усмехнулся, – когда-нибудь вы мне расскажете об этом подробно...

– Могу сейчас, если хотите.

– Сейчас не надо. Можете идти.

Пауэлл и Келлер беседовали уже около часа, но Келлер продолжал делать вид, будто впервые слышит то, о чём говорит вице-президент.

– Не понимаю, куда вы клоните, Дейв? – спросил Келлер и удивлённо посмотрел на Пауэлла.

– Я бы не ставил вопрос таким образом, Гельмут. Я никуда не клоню, а просто хочу, чтобы вы поняли – мы оба в одной лодке. И если вы думаете, что Адлер отыграется только на мне, то заблуждаетесь.

– Не могли бы вы объяснить свою мысль более понятно? О какой лодке вы говорите? И за что Адлер должен на мне отыгрываться?

– Вот как. Надеюсь, вы не забыли, что мы поступили с ним, как бы это сказать помягче, ну, что ли, не вполне корректно. И мало найдётся на свете людей, способных простить это.

– Почему вы всё время говорите «мы»? Это были ваши личные отношения, и вам не следует впутывать меня в свои дела. Вы упорно твердили, что Адлер не отвечает профессиональным требованиям. В конце концов, он работал в отделе, который подчиняется вам. А мой принцип – не вмешиваться в отношения между подчинёнными.

– Да, но я согласовывал с вами каждый шаг.

– Не помню. Если бы это было так, то противоречило бы указанному принципу. Следовательно, ваше утверждение не соответствует истине. Элементарная логика. Что же вы всё-таки хотите, Дейв?

– Я хочу, чтобы мы вместе пошли к Адлеру и выяснили его намерения относительно нас. Неопределённость меня убивает. Если потребуется, я готов просить у него прощения. И хочу, чтобы вы сделали то же. Меня не устраивает роль единственного козла отпущения. Не забывайте, что нам под шестьдесят. И если мы окажемся на улице, то вряд ли найдём достойную работу. Но если даже и найдём, то потребуется референс от Совета директоров. А он теперь в руках Адлера. Двадцать процентов обеспечивают ему решающий голос. Всё это буквально лишает меня сна.

– Не знаю, Дейв, не знаю. Мне искренне жаль вас. Я сплю спокойно. И следуя вашей логике, я не чувствую ни малейшей вины (Келлер говорил неправду. На самом деле у него тоже появилась бессонница и он тоже был обеспокоен своим будущим, но решил во что бы то ни стало дистанцироваться от Пауэлла). Поэтому не могу принять ваше неуместное, и я бы даже сказал, наивное предложение. Если хотите, идите к Адлеру один. Но предупреждаю: не вздумайте говорить ему то, что вы сейчас здесь наплели. Прошу прощения за резкость. Только поставьте себя в более трудное положение. Мой вам совет – не дёргайтесь. Проявите знаменитую британскую выдержку. Так это, кажется, называется, – Келлер усмехнулся.

– Ну что ж, Гельмут. Тогда мне остаётся напомнить, что условием моего перехода в «Эрдойль» была продажа вам части принадлежащих мне акций «Кинг Эксплорэйшн» по цене ниже рыночной. И если вы загоните меня в угол, то я вынужден буду рассказать об этом Совету директоров. Мы с вами скованы одной цепью. Вы просто обязаны помочь мне.

– Вы с ума сошли, Дейв! Бессонница лишила вас рассудка. О каких акциях вы болтаете? Мой брокер постоянно покупает и продаёт ценные бумаги. Я ему полностью доверяю и не сомневаюсь, что он действует в моих интересах. В подробности я не вникаю. Вы что, решили шантажировать меня и сделать своим врагом? Подумайте как следует.

– Хорошо, я подумаю, – сказал Пауэлл и вышел из кабинета.

6

Макс с удивлением обнаружил, что многие хотят встретиться с ним и сообщить «важную информацию». Одни прямо говорили, что она касается происходившего вокруг него за последние три года. Другие ограничивались лишь общими словами, намекая на то, что их рассказ, возможно, заинтересует его. Он догадывался, о чём все они хотят говорить. Макс знал об этом достаточно, а детали его не интересовали. Поэтому он не спешил приглашать добровольных информаторов. Единственное, что было ему не вполне ясно, это их мотивы. Впрочем, у каждого они были, по-видимому, свои. Он понимал, что если позволит открыть этот ящик Пандоры, то работать будет трудно – если вообще возможно.

Ещё в самые первые дни он вдруг с облегчением почувствовал, что у него нет ни малейшего желания сводить счёты, мстить, устраивать разборки. Сумеречные фантазии, вызванные бесследно прошедшей бессонницей, исчезли вместе с ней. Прав был Конфуций: «Избежавший сражения выиграл его». Эта мудрость справедлива для любого конфликта, независимо от его природы и масштаба. В памяти снова и снова всплывали слова деда Оскара: «Лучшая месть – это хорошо жить». Понятие «жить» не ограничивалось, конечно, только материальной стороной. Оно охватывало человеческое существование в самом широком смысле – работа, возможность и право принятия решений, реализации своих профессиональных и моральных принципов. Ну и, разумеется, финансовая независимость. Всё это у Макса теперь было. Так стоит ли унижать себя и других недостойным сведением счётов? Еще царь Соломон предупреждал: «Не спеши мстить, ибо мстительность обитает в груди глупцов».

Правда, один человек занимал особое место в этих размышлениях. И им был, конечно, Дейв Пауэлл. По всем профессиональным и нравственным критериям он заслуживал наказания. Не мести, но справедливого наказания. И это стало для Макса настоящей моральной проблемой. Что делать с папуасом? У Макса было достаточно власти и законных оснований, чтобы вышвырнуть его из компании. Никто не встал бы на его защиту, а многие были бы рады этому. За месяц, прошедший после заседания Совета директоров, Макс ни разу не встретился с ним. Но он хорошо представлял себе, что тот должен думать и чувствовать. Он, конечно, ждёт разговора с Максом. И ждёт расплаты. Это соответствует его собственным понятиям о том, как следует расправляться с неугодными. Такое ожидание ещё более мучительно, чем само увольнение. Возможно, даже у него началась бессонница и в сумеречное время он проклинает Макса. Интересно, проклинает ли он себя? До какой черты раскаяния и унижения он способен дойти, чтобы удержаться в компании? Макс не сомневался, что папуас готов просить прощения. В его возрасте нет шансов найти другую работу, равную нынешней. А на рядовую должность бывших вице-президентов не берут. Вероятно, Пауэлл считает, что вся эта затянущаяся неопределённость лишь часть изощёренной мести, которую задумал Макс. На самом деле никакого специального плана у него не было. Он просто не знал, что делать, и поэтому откладывал разговор. В конце концов Макс решил, что разговор неизбежен, а результат его будет зависеть только от честности и искренности Пауэлла. Поэтому он не стал принимать решение заранее. Макс вызвал секретаря.

– Эрн, отметьте, пожалуйста, у себя вызов Дейва Пауэлла в следующий четверг, на конец дня. Сообщите ему об этом в четверг утром.

– Хорошо, господин Адлер.

Фолкман остановил свой выбор на Эрне после интервью с несколькими десятками претенденток на эту должность. Она обладала всеми нужными качествами

– профессионализмом, исполнительностью, мягкими манерами, приятной внешностью. Её особым достоинством было умение держать дистанцию и с посетителями, и с шефом. Эрна обозначила её с первого дня и сделала это с большим тактом. Ростом немного ниже среднего, она выглядела на тридцать лет, хотя была несколько старше. Макс был доволен тем, как она выполняла свои обязанности, и сказал об этом Фолкману.

– Рад слышать это, Макс. Буду счастлив оказывать вам услуги и в дальнейшем.

Макс обратил внимание, с какой готовностью сотрудники компании берутся выполнять его просьбы и распоряжения и какой радостью озаряются их лица после его благодарности. Было в этом что-то неестественное, преувеличенное...

Через полчаса Эрна сообщила, что на линии Дейв Пауэлл. «Он просит соединить его с вами. Я, конечно, ещё не говорила ему о вызове в четверг. Он сам позвонил», – сказала она. Макс снял трубку.

– Слушаю вас, Дейв.

– Макс, я хотел бы поговорить с вами. Не могли бы вы принять меня сегодня?
– Макс почувствовал, что Пауэлл нервничает.

– Что-нибудь срочное?

– Для меня – да.

– Хорошо. Давайте за полчаса до конца работы. Вас устраивает?

– Да, конечно. Спасибо.

Пауэлл заметно изменился. Он похудел, левый глаз подёргивался, взгляд стал какой-то потухший.

– Неважно выглядите, Дейв. Плохо себя чувствуете?

– Вид соответствует самочувствию. Макс, мне бы хотелось быть предельно честным и откровенным. Иначе нет смысла начинать разговор. Могу я рассчитывать на беседу в таком духе?

– Разумеется. Всё зависит от вас. Я, так же, как и вы, не намерен ходить вокруг да около.

– Хорошо. Мне трудно начать. Впрочем, мы оба знаем, что произошло. И, как ни парадоксально, это облегчает задачу. Вы были несправедливо и незаслуженно уволены. Перед этим вы подвергались недостойным унижениям. Тяжело говорить об этом, но значительная часть вины лежит на мне.

– Что значит – значительная? Вы хотите сказать, что кто-то ещё разделяет её с вами?

– Да. Келлер. Когда я сообщил ему о вашей злополучной карте, он сказал, что если нас ждёт провал в заливе Папуа, то лучше, чтобы никто не знал о ней. Иначе выяснится, что мы получили предупреждение и проигнорировали его. Одно дело – просто неудача, от которой никто не застрахован. И совсем другое – неудача, которой можно было избежать. Особенно в данном случае, когда речь шла о десятках миллионов долларов.

– И вы решили убить того, кто принёс плохую весть? Kill the messenger.⁶

– Звучит слишком прямолинейно, но, к сожалению, это так. Не могу отрицать. Келлер был полностью осведомлён о тех шагах, которые предпринимались против вас, и санкционировал их. Больше того, он даже ужесточал их. Например, первоначальный срок проекта по Калимантану был три месяца, но он сократил его до двух. Не примите за лесть, Макс, но мы были поражены тем, как блестяще вы справились с практически невыполнимым заданием. В глазах Келлера это сделало вас ещё более опасным.

– А в ваших?

– Ну что ж. Я должен быть честным. В моих тоже. Несправедливо всё валить на Келлера. Моё положение в компании было более уязвимым, чем его. Я был

⁶ Убей гонца – англ.

новый человек, к тому же иностранец. И разведка в заливе Папуа была моей идеей. Правда, Келлер её поддержал и как бы стал соавтором проекта. Он тоже нуждался в быстром крупном успехе. Одним словом, наши личные интересы совпали. И тут появились вы, Макс, с этой ужасной картой. Я просто запаниковал, потерял голову и повёл себя не по-джентльменски, мягко говоря. Сказать, что я сожалею, значит ничего не сказать. Я чувствую себя по уши в дерьме.

– Кто распорядился изъять документы из моего файла в отделе кадров? – перебил его Макс.

– Распорядился я, но предложение исходило от Келлера.

– Скажите, Дейв, каковы ваши личные отношения с ним? Когда он пригласил вас на должность вице-президента, многие в компании были удивлены. Что связывало вас с ним до этого?

Пауэлл напрягся. Левый глаз начал дёргаться сильнее. Макс это заметил.

– Ничего особенного. Только общие деловые и профессиональные интересы. Я работал старшим менеджером в «Кинг Эксплорэйшн». Мы и «Эрдойль» были партнёрами на нескольких блоках в Австралии и Индонезии. Тогда я и познакомился с Келлером. Ему понравился мой подход к разведочным проблемам, и он предложил мне пост вице-президента.

– Хорошо. Напоминаю, Дейв, мы договорились об абсолютной честности и искренности. Вы хотите сказать что-то ещё?

– Да. Так вот, я по уши в дерьме. У вас, Макс, есть достаточные моральные и профессиональные основания уволить меня. Я даже не могу надеяться на золотой парашют⁷. Но дело не только в деньгах. Мне пятьдесят восемь лет, и я просто не готов оказаться на улице – ни морально, ни физически. Понимаю ваши чувства ко мне и всё же не могу не сделать попытку начать новую страницу в наших отношениях. У меня две просьбы. Первая – если можете, простите то зло, которое я причинил вам. Поверьте, я глубоко и искренне раскаиваюсь. И вторая – я бы хотел остаться в компании в каком-нибудь профессионально достойном статусе. Полагаю, что я неплохой геолог и смогу принести пользу.

– Дейв, вам знакомо имя Ли Якокка?

– Ли Якокка? Это, кажется, бывший президент компании «Форд», который потом перешёл в «Крайслер». Вы о нём говорите?

– Да, тот самый. Вы читали его автобиографию?

– Нет, не попадалась.

– Прочитайте. Настоятельно рекомендую. А теперь о ваших просьбах. Давайте по порядку. Не в моих правилах бить лежачего. А вы, Дейв, сейчас именно в таком положении. Кроме того, вы сами себя наказали. Это избавляет меня от неприятной необходимости делать это ещё раз. Что касается прощения, то договоримся так: я вас прощаю, но ничего не забываю. И можете мне поверить – я никогда не напому вам об этом, если вы сами не дадите повод. А насчёт работы моё мнение таково. Хороший специалист – не всегда и не обязательно порядочный человек. И наоборот – порядочный человек не обязательно хороший специалист. Ваши человеческие качества мне ясны. И с этим ничего не поделаешь. Но у меня нет чёткого представления о том, какой вы геолог. Допускаю, что ваша ошибка со скоростями в заливе Папуа лишь досадное недоразумение. «Эрдойль», как и любая другая компания, – это не конгрегация ангелов и не клуб джентльменов. Каждый ценится по тому вкладу, который вносит в главное дело – увеличение прибылей компании и дивидендов акционеров. Поэтому решение вопроса о рабо-

⁷ Оговоренная в личном контракте крупная денежная компенсация, выплачиваемая высшим руководителям компании в случае увольнения. Это обязательство теряет силу, если поводом для увольнения служит грубая профессиональная ошибка, причинившая большой ущерб компании, или серьёзное нарушение морально-этических норм.

те возможно лишь после того, как я смогу оценить ваши профессиональные качества. А для этого вы должны выполнить самостоятельный проект, включающий полный аналитический цикл – расшифровка геологической структуры концессии, оценка её нефтяного потенциала, составление плана разведочных работ, определение степени их риска, экономического анализа. Вам будет дан достаточно реальный срок, после чего мы вернёмся к вопросу о вашем статусе. На время проекта формально сохраняется ваша нынешняя должность. А сейчас возьмите двухнедельный отпуск и приведите себя в форму. Проектное задание получите по возвращении. Вот всё, что я могу сказать по поводу ваших просьб. Вас устраивают эти условия?

– О да, Макс. Более чем устраивают. Спасибо.

– Хорошо. Разговор должен остаться между нами. Можете идти.

Через две недели Пауэлл снова появился в кабинете Макса. Он выглядел спокойным, посвежевшим, глаза оживились.

– Ну вот, теперь я вижу перед собой прежнего Дейва Пауэлла, – улыбнулся Макс.

– Спасибо, Макс. Это только внешне. Не боюсь признаться – я сильно переменялся. Заглянул в себя, покопался в душе, многое обдумал и переосмыслил. Имел обстоятельную беседу со своим пастором. Я ведь принадлежу к англиканской церкви. И конечно, прочитал внимательно Ли Якоку.

«Поздновато вспомнил о Боге. Надо было побеседовать с пастором раньше...»

– подумал Макс, но спросил о другом.

– А, прочитали? Ну и как?

– Очень поучительная и впечатляющая история. Её должен знать каждый, кто распоряжается судьбами других. Меня особенно поразили его откровенные слова о том, что, оказавшись уволенным, он сразу же вспомнил всех тех, кого уволил сам, и мысленно отождествил себя с каждым из них.

– Да, помню эти слова. Не зря я рекомендовал вам книгу?

– Нет, не зря. Спасибо.

– Теперь о проекте. Вам приходилось работать в Альберте?

– Нет, не приходилось.

– Это хорошо. В таком случае у вас будет преимущество непредвзятого подхода к разведочной проблеме. А проблема очень сложная. Давайте посмотрим карту.

Они подошли к рабочему столу, на котором лежала детальная карта северной части провинции Альберта. Обширный район Стин Ривер на границе с Северо-Западными территориями был обведён красным фломастером.

– Вот этот район, Дейв. Площадь двенадцать тысяч квадратных километров. На протяжении последних пятнадцати лет разведка здесь проводилась в разное время более чем двадцатью компаниями. Пробурены около ста сорока скважин и открыты только два небольших месторождения. Сейчас разведка почти полностью прекращена. Но я убеждён, что нефтяной потенциал района достаточно высокий и не ограничивается этими открытиями. Для успешной разведки необходима принципиально новая геологическая концепция. Вот почему я сказал о преимуществе непредвзятого подхода. Над вами не довлеют идеи и представления, которые лежали в основе прежних поисковых работ. Вы должны заново осмыслить и проанализировать все геологические и геофизические материалы, изучить керн⁸. Попытайтесь разработать собственную концепцию. Для этого нужно хорошее знание как правильных, так и ошибочных решений при разведке множества открытых ранее месторождений. Знаете, что отличает шахматных гроссмейстеров от рядовых игроков? Они опираются на знание бесчисленных прошлых игровых

⁸ Образцы пород, извлекаемые в процессе бурения из разведочных скважин.

позиций. Для нас игровая позиция - это стратегия и тактика изучения разведочного блока. Через шесть месяцев правительство Альберты проводит тендер на нефтепоисковые концессии в этом районе. Поэтому я должен получить окончательные результаты ваших исследований не позже, чем через пять месяцев. Основную часть работы будете выполнять в Канаде. Я дал указание нашему филиалу в Калгари оказать вам всяческое содействие. У вас есть вопросы, Дейв?

– Пока нет. Как будто бы всё ясно.

– Хорошо. В таком случае – вот проектное задание, – Макс протянул Пауэллу несколько переплетённых страниц. – Да, кстати, когда вы последний раз работали с керном?

– Лет десять назад.

– Ну что ж, вам будет полезно освежить свои навыки. Для меня нет ничего более волнующего и информативного, чем образцы пород, поднятых с глубины нескольких тысяч метров. Они как бы позволяют заглянуть в чрево Земли. Керн – это главный и объективный свидетель того, что происходило там миллионы лет назад. И если вы зададите этому свидетелю правильные вопросы, то получите правильные ответы. Желаю успеха, Дейв.

– Спасибо, Макс.

7

Макс и Гуго Манфред обедали в ресторане делового клуба. Они обсудили ряд юридических вопросов, и Гуго, у которого была ещё одна встреча, ушёл первым. Макс остался и заказал десерт. В этот момент к нему подошёл незнакомый человек небольшого роста и неопределённого возраста, с круглой лысой головой и роговыми очками на крупном носу.

– Здравствуйте, господин Адлер. Приятного аппетита. Меня зовут Дитрих Хаузер, брокер. – Он положил на стол свою визитную карточку. – Мне бы хотелось поговорить с вами, если не возражаете.

Макс жестом указал на стул.

– Надеюсь, я не помешал. О вас сейчас много говорят в деловых кругах, господин Адлер. То, что произошло в «Эрдойль», вызвало большой интерес у всех – бизнесменов, финансистов, журналистов. Не буду скрывать, у меня вопрос чисто профессиональный. Судя по газетам, вам принадлежит двадцать процентов акций компании. Должен заметить – впечатляющий пакет. И я подумал, не хочет ли господин Адлер увеличить его и сделать ещё более впечатляющим. Вам интересно то, что я говорю? – Хаузер вопросительно посмотрел на Макса.

– Продолжайте.

– Спасибо. Так вот, я мог бы провести анализ рынка ценных бумаг и приобрести для вас дополнительный пакет. Смею уверить, у меня есть достаточный опыт работы с акциями нефтяных компаний. И мои клиенты всегда остаются в выигрыше. Не буду называть имена, но среди них есть и ваши коллеги из «Эрдойль». Для одного из них мне удалось приобрести на очень выгодных условиях пакет акций большой английской нефтяной компании. – Хаузер был говорлив, как всякий брокер.

При упоминании большой английской компании у Макса внезапно возникла смутная реминисценция. Даже не реминисценция, а некая необъяснимая интуитивная догадка, которая приходит казалось бы ниоткуда, из воздуха, но затем подкрепляется доказательствами и превращается в уверенность. Единственной зацепкой, своего рода сигналом, послужила прошлая работа Пауэлла в «Кинг Эксплорэйшн» и то смятение, которое вызвал у него вопрос о личных отношениях с Келлером до перехода в «Эрдойль». Но догадку надо было проверить, не вызвав подозрений собеседника.

– Английской компании? – переспросил Макс. – Насколько я знаю, сейчас не время покупать их акции. Стоимость слишком высока. Покупать надо было года три назад.

– Приятно иметь дело со специалистом, господин Адлер. Я сделал это именно тогда. И заметьте, моему клиенту они обошлись на восемнадцать процентов дешевле даже тогдашней низкой цены. Представляете, сколько он может заработать на них сейчас?

– Представляю. Да, это было хорошее время для покупки. Помню, тогда был особый спрос на акции «Кинг Эксплорэйшн». Уж не о них ли вы говорите, господин Хаузер?

На лице брокера отразилось явное изумление.

– Господин Адлер, вы проницательный человек. Имена клиентов и названия компаний – это профессиональная тайна. Но раз уж вы сами догадались... Да, это был «Кинг». Не лучше ли закончить этот рискованный экскурс в прошлое, а то вы, чего доброго, назовёте имя клиента. – Хаузер натянуто улыбнулся.

– Хотите услышать его?

– Ну, знаете ли... Это уж чересчур... Я вам ничего не говорил. – Хаузер вдруг не на шутку встревожился.

– Нет, конечно. Вы не говорили. Но оно написано у вас на лбу – Гельмут Келлер.

Брокер непроизвольно закрыл лоб ладонью. Макс рассмеялся.

– Это надо было делать раньше, господин Хаузер. Я успел прочитать. А сейчас выше вашей ладони появилось ещё одно имя – того, кто продал акции Келлеру.

– Я вас умоляю. Ради Бога, – взмолился брокер. – Это была строго конфиденциальная сделка. Вы меня погубите.

– Не беспокойтесь. Наш разговор такой же конфиденциальный, как и сделка между Келлером и Пауэллом.

Хаузер вскочил со стула.

– Рад был познакомиться, господин Адлер... В другой раз... Извините, сейчас спешу... – Он схватил со стола свою визитную карточку и почти выбежал из ресторана.

Макс вошёл в приёмную управляющего банком в точно назначенное время.

– Здравствуйте, господин Адлер, – улыбнулась секретарь. – Господин Руппе ждёт вас.

– Рад видеть вас у себя, дорогой Макс, – Руппе вышел из-за стола и протянул руку. Давайте присядем за боковой столик.

Они устроились в удобных креслах и, перед деловым разговором, обменялись несколькими фразами о погоде и курсе акций.

– Дорогой Клаус, – начал Макс, – я бы хотел обсудить с вами деликатную проблему. Речь пойдёт о Гельмуте Келлере. Мне стало известно, что три года назад, когда он пригласил Пауэлла на должность вице-президента, между ними была заключена сделка. Пауэлл продал Келлеру часть своего пакета акций «Кинг Эксплорэйшн» по цене ниже рыночной. Я даже знаю, насколько ниже – на восемнадцать процентов. Другими словами, Келлер получил взятку, или, называя вещи своими именами, продал должность. У меня был обстоятельный разговор с Пауэллом, но эта сделка не была им упомянута. Я знаю о ней из другого источника. Такова проблема.

– Невероятно! – воскликнул Руппе. – Почти как в той нашумевшей истории с итальянской фармацевтической фирмой. Но там было чисто мафиозное дело. Насколько надёжен ваш источник?

– Достаточно надёжен. Но мы можем проверить информацию. Для этого я и пришёл к вам. Я предлагаю пригласить Келлера и прямо заявить ему, что нам это

известно. Посмотрим, какова будет реакция. Если он признается, то у нас останется только один выход – уволить его. В этом случае о золотом парашюте не может быть и речи. Единственная уступка, которую можно сделать, – не начинать уголовное расследование. Каково ваше мнение?

– Вы сами сказали, Макс, – если он признается. А если нет? Если он будет всё отрицать, а у вас не найдётся веских доказательств? Представляете, в каком положении мы окажемся. Прежде чем принимать решение, я хотел бы узнать, как вам удалось получить информацию.

Макс подробно рассказал о разговоре с брокером. Руппе поморщился.

– Извините, Макс, но это несерьёзно. Нет ни одного финансового документа. Что вы предъявите Келлеру?

– Мне понятны ваши сомнения, Клаус. Но у меня есть внутренняя уверенность, что это так. Видите ли, вы можете судить о моём разговоре с брокером и о тех психологических нюансах, которыми он сопровождался, только по моему пересказу. А я был его непосредственным собеседником, видел его глаза, выражение лица, мимику, жесты. Всё это трудно передать словами. Я убеждён, что, назвав ему имена Келлера и Пауэлла, попал в точку. Его поведение убедило меня в этом на сто процентов. Поэтому я готов рискнуть и сделать то, что предлагаю. Я, конечно, могу вызвать Келлера и сказать ему об этом сам. Но лучше это сделать вдвоём. Вы будете просто присутствовать и примете участие в разговоре только в том случае, если считаете нужным. Можете даже поддержать Келлера, если увидите, что обвинения против него необоснованны. У вас карт-бланш в этом отношении и никаких предварительных обязательств. Согласны на такой вариант?

В словах и интонациях Макса послышались присущие ему жёсткость и непреклонность, которые уже стали известны в «Эрдойль» и которым было трудно противостоять. Руппе это почувствовал.

– Хорошо, – сказал он после некоторого раздумья, – на такой вариант я, пожалуй, соглашусь. Но в этой истории есть и другой участник. Что будем делать с Пауэллом?

– Да, роль Пауэлла тоже неприглядна. Но между ними есть разница. Пауэлл специалист, профессиональный нефтяной геолог. А Келлер – профессиональный президент. До «Эрдойль» он был генеральным директором бумажного синдиката. С его уходом компания ничего не потеряет. В отношении Пауэлла я принял другое решение. Ему дана возможность проявить свои профессиональные качества. Сейчас он в Канаде. Работает над довольно сложным разведочным проектом. Через месяц должен закончить. Если пройдёт тест, то сможет остаться в компании на должности консультанта или советника.

– Знаете, Макс, не могу не сказать – с вашим приходом в «Эрдойль» появилась твёрдая рука. Это именно то, чего нам не доставало в последние годы. Общая атмосфера стала не очень здоровой. Интриги, подсиживания и доноительство пагубно отражаются на деловой активности и прибылях компании. Совет директоров – это связующее звено или скорее своего рода буфер между руководством и акционерами, а они очень болезненно реагируют на снижение дивидендов. И я как председатель Совета хорошо это чувствую. Поэтому в своих усилиях оздоровить обстановку и добиться увеличения прибылей вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и содействие.

– Спасибо, Клаус. Рад слышать это. Итак, в отношении Келлера мы договорились.

8

Работа над проектом Стин Ривер близилась к завершению. После долгих лет администрирования на руководящих должностях Пауэлл снова ощущал вкус настоя-

щего творческого исследования, когда сплав личного опыта, знаний и логики превращается в тонкий инструмент познания. Он позволяет расшифровать скрытую геологическую структуру и выявить те её особенности, которые контролируют размещение нефтяных залежей на глубине нескольких тысяч метров. От всего этого он получал ни с чем не сравнимое профессиональное и моральное удовлетворение.

Приступая к проекту, Пауэлл испытывал беспокойство и даже тревогу. Слова Адлера о разработке принципиально новой разведочной концепции казались ему просто ловушкой. О какой новой концепции можно говорить в районе, в котором до этого более двадцати компаний испробовали, вероятно, все мыслимые геологические решения и варианты? Кто он такой, чтобы сделать то, что они не смогли или не считали нужным делать? Но постепенно, по мере анализа материалов, беспокойство сменилось сначала недоумением, а затем и уверенностью, что новая концепция вполне реальна. Основанием для этого послужило довольно неожиданное и странное обстоятельство. Оказалось, что все предыдущие многократные попытки обнаружения нефти базировались на различных вариантах одной и той же ошибочной геологической идеи. Эти варианты создавали иллюзию разных подходов, но в действительности в течение пятнадцати лет ничего не менялось.

Изучив керн, Пауэлл пришёл к выводу, что главной геологической особенностью района были древние коралловые рифы, образовавшиеся более трёхсот миллионов лет назад и залегающие на глубине трех тысяч метров. Именно они и были подобно губке насыщены нефтью. Ни одна из компаний, работавших здесь прежде, почему-то не обратила на это внимание. Впрочем, Пауэлл знал, что такой психологический феномен не редкость в нефтеразведке. Каждая новая компания автоматически следует идеям и представлениям предшественников и повторяет их ошибки. Такое явление называется эффектом «накатанной колеи». Это продолжается до тех пор, пока кому-то не удаётся увидеть проблему свежим взглядом, применить для её решения, как говорят американцы, open mind approach – «незашоренный подход».

Определяя под микроскопом тип породы и нанося результаты на карту, Пауэлл с удовольствием наблюдал, как хаотическая, на первый взгляд, мозаика приобретает закономерные очертания и превращается в цепочку рифов, обрамляющих внутреннюю лагуну. Когда карта была закончена, она напоминала современные кольцевые рифовые атоллы Тихого океана. Глядя на неё, Пауэлл испытывал не только профессиональное удовлетворение, но и подлинное эстетическое наслаждение. Так возникла новая концепция и новое направление разведки – бурить скважины надо было на вершинах рифов.

Макс внимательно и с большим интересом рассматривал карты, развешенные Пауэллом на стенах кабинета. Он вдруг вспомнил о своём недавнем желании отправиться на экзотические рифовые атоллы Тихого океана. «Поразительно, – подумал он, – как мечты могут порой обернуться неожиданной фантастической реальностью из иной геологической эпохи». Вот перед ним древний рифовый атолл Стин Ривер, удивительно напоминающий современный атолл Кваджалейн в группе Маршалловых островов. Такая же лагуна и такое же кольцо рифов, обрамляющих её. Он насчитал около тридцати отдельных рифовых вершин, разных по площади и очертаниям. Даже размеры обоих атоллов одинаковы – длина около ста километров, ширина двадцать пять километров. Макс поймал себя на мысли, что вместо Тихого океана совершает путешествие в прошлое, на триста миллионов лет назад...

Пауэлл давал подробные объяснения и отвечал на вопросы. Наконец, они закончили обсуждение и Макс подвёл итог. Он знал: ничто, даже деньги, не ценятся больше, чем признание и похвала.

– Поздравляю, Дейв, – прекрасная работа. Это именно то, что я имел в виду, предложив вам канадский проект. Принципиально новая разведочная концепция. Теперь у нас есть все основания участвовать в тендере. Проблема только в том, что не каждый риф содержит нефть. Вот если бы мы могли заранее дифференцировать их... Но для этого нужен прямой метод, а он пока не существует.

– Интересный вопрос вы затронули, Макс, – сказал Пауэлл. – Я имею в виду прямой метод. В Канаде я услышал удивительную историю. Года три назад там появилась таинственная компания «Дабл Эй». Они работали на разведочном блоке недалеко от Стин Ривер. И первой же скважиной открыли крупное месторождение Камерон. Потом продали его японцам. Но самым поразительным было то, что они не проводили сейсмику, а сразу начали бурение. Многие в Альберте до сих пор убеждены, что «Дабл Эй» использовала какой-то прямой метод. Вы что-нибудь знаете об этом?

– Впервые слышу. А где они сейчас?

– Никто не знает. После продажи Камерона о них ничего не известно. Я смутно припоминаю, что нечто подобное рассказывали и в Австралии. Но подробности не знаю. Всё это немного напоминает легенду о летучем голландце, – усмехнулся Пауэлл. – Но в Канаде это не легенда. Месторождение Камерон существует.

– Что ещё известно об этой «Дабл Эй»? Из какой они страны?

– Это тоже загадка. Одни говорят, что компания итальянская, другие – что это какая-то группа из Южной Африки. В общем, вопросов больше, чем ответов.

– Интересно. Не могли бы вы собрать всю информацию, включая по Австралии, и изложить её в записке. У вас же сохранились австралийские связи. Используйте их. И не откладывайте.

– Хорошо. Сделаю всё, что смогу.

– А теперь о вашем статусе. Я предлагаю вам должность специального советника по зарубежной разведке. Будете сотрудником технической группы Совета директоров и подчиняться непосредственно мне. Это обеспечит вам независимость от руководства компании. Зарплата, конечно, ниже, чем нынешняя, но машина и основные бенефиты сохраняются. Согласны?

– Да.

– Прекрасно. Ваша ближайшая задача – подготовка к канадскому тендеру. – Макс сделал паузу и неожиданно сменил тему. – Есть ещё один вопрос, из другой области. Что это за история с продажей вами три года назад акций «Кинг Эксплоэйшн» Келлеру?

Пауэлл бросил на Макса взгляд, полный удивления и тревоги.

– Макс, только что вы предложили мне должность советника. Это окончательно?

– Да, да. Не беспокойтесь. Вопрос не имеет отношения к предложению. Но я хотел бы услышать всю историю непосредственно от вас, чтобы устранить последние недомолвки между нами. Итак, вы продали ему свой пакет или часть пакета. Кто был инициатором сделки?

– Инициатива, разумеется, исходила от Келлера. Он дал мне ясно понять, что приглашение на должность вице-президента «Эрдойль» зависит от моего согласия. После долгих сомнений и раздумий я пошёл на это. Могу я спросить, Макс, – от кого вы узнали об этом? Ведь не от Келлера?

– Источник не имеет значения. Но это, конечно, не Келлер. На сколько цена была ниже рыночной?

– На восемнадцать процентов.

– Вы понимаете, что дали взятку?

– Понимаю.

– Считаете ли вы, что вас принудили к этому?

– В некоторой мере это так, хотя окончательное решение было, конечно, моё. Я бы мог просто остаться в «Кинг Эксплорэйшн». Но тогда мне казалось, что должность вице-президента «Эрдойль» – это новый важный шаг в карьере. В «Кинге» такой перспективы у меня не было. Короче, обычные амбиции и тщеславие...

– Ну что ж, одному из вас придётся уйти. Вы сделали хорошую работу в Канаде и доказали, что можете быть полезны компании. Как я уже говорил вам однажды, «Эрдойль» – это не клуб джентльменов, а машина, которая делает деньги для акционеров. Поэтому вы останетесь, а Келлер уйдёт.

Сказав это, Макс вспомнил китайскую мудрость: «Врага можно уничтожить, но лучше превратить в друга». Будет ли такой друг искренним – это отдельный вопрос. Но искренних друзей вообще мало, да и спрос на них невелик. Неожиданно в голову пришёл каламбур, который как бы подвёл итог этим размышлениям, – из двух зол выбирай то, на которое меньше зол. Как ни странно, на Пауэлла он теперь был зол меньше, чем на Келлера. Возможно потому, что Пауэлл раскаялся и принял позу покорности. Даже в мире животных схватка прекращается, когда один из противников принимает такую позу. Впрочем, в мире людей его обычно добивают... И чем более справедливым и гуманным провозглашает себя общество, тем более убеждённо оно следует этой суровой традиции, которая отличает его от волчьей стаи. Но на заре человечества, когда люди ещё не превратились в *Homo sapiens* и не были облагорожены цивилизацией, они, вероятно, вели себя подобно своим меньшим братьям. Иначе они бы не выжили... Вопреки неписаным правилам, Макс считал такое поведение не только более цивилизованным, но и более разумным. Он решил оставить Пауэлла не потому, что тот раскаялся, а потому, что увидел в нём хорошего геолога. Выбросить его из компании было бы всё равно, что выбросить деньги. А избавиться от Келлера было равносильно сохранению денег. В конце концов, нефть находят не президенты, а специалисты. Хороший президент отличается от плохого тем, что не мешает им...

Макс и Клаус Руппе ожидали прихода Келлера. Эрнэ уже позвонила ему и пригласила зайти через полчаса. Он должен был появиться с минуты на минуту.

– Итак, Клаус, я прямо спрошу его об этой сделке с акциями. А потом вы сами решите – следует ли вам вступать в разговор. Договорились?

– Да, договорились. – Голос и выражение лица Руппе показывали, что чувствует он себя не очень уверенно.

– Кстати, в прошлый раз вы подняли вопрос о Пауэлле. Могу сообщить, что он сделал очень хорошую работу в Канаде. Разработал принципиально новую разведочную концепцию. Я предложил ему должность специального советника по зарубежной разведке.

– Хорошо. Принимаю к сведению.

Келлер вошёл с дежурной приветливой улыбкой на лице.

– Здравствуйте, господа. Должен сказать, приглашение несколько неожиданное. Я как раз собирался на важную встречу в Ассоциацию промышленников.

– Сожалею, Гельмут. Но у нас к вам небольшой вопрос. Надеюсь, это не займёт много времени, и вы ещё успеете на встречу. Вопрос касается покупки вами около трёх лет назад пакета акций «Кинг Эксплорэйшн».

– Что именно вас интересует? – На лице Келлера не дрогнул ни один мускул.

– Нас интересуют два обстоятельства. Во-первых, были ли акции приобретены на бирже или непосредственно у определённого акционера? Во-вторых, если они были куплены не на бирже, то отличалась ли цена от рыночной?

– Видите ли, господа, такими операциями занимается мой брокер, и я не очень вникаю в его действия. А кроме того, и это самое главное, моя финансовая

деятельность – дело сугубо личное. Я не понимаю, почему должен отвечать на такие вопросы. – Келлер говорил спокойно и держался уверенно.

– В данном случае эта финансовая операция выходит за рамки вашего частного бизнеса. Вы купили у Пауэлла акции по цене на восемнадцать процентов ниже рыночной. Иными словами, вы продали ему должность вице-президента, – голос Макса был жёстким. – У вас есть две возможности – либо уйти добровольно, либо расследованием займётся уголовная полиция. Добровольный уход предотвратит огласку. При полицейском расследовании избежать её будет невозможно. Решение за вами. Ответ можете дать прямо сейчас или завтра.

Наступило долгое молчание.

– Гельмут, неужели это правда? – не выдержал Руппе.

– Сегодня, господа, я вручу вам заявление об отставке, – невозмутимо ответил Келлер и вышел из кабинета.

9

Владелец компании «Дабл Эй» Шмуэль и адвокат Рон Берман обсуждали ситуацию, сложившуюся на блоке Уинтон. После гибели Алекса и Андрея разведочные работы на нём были остановлены, а три скважины, давшие нефть, законсервированы. По условиям контракта с правительством штата Квинсленд разведка должна была быть завершена ещё полгода назад. Нарушение сроков предусматривало штрафные санкции, вплоть до лишения прав на концессию и объявления повторного тендера. Но на заседании конфликтной комиссии Берману удалось доказать, что временное прекращение работ связано с оговоренными в контракте форс-мажорными обстоятельствами, и «Дабл Эй» получила отсрочку ещё на полгода.

– Нам нужен опытный геолог. Где его взять? – сказал Шмуэль.

– Может быть, поискать в Израиле? Здесь же есть несколько нефтяных компаний и геологический институт, – предложил Рон.

– Ты серьёзно? Эти компании уже сорок лет безрезультатно ищут нефть на миниатюрной территории. Они даже не знают, с какого конца подойти к проблеме. Нет, эти люди нам не подходят. Нужен геолог, не уступающий по профессиональному уровню Алексу. И самое важное, учитывая незащищённость нашего метода, это не должен быть человек с улицы. Поэтому мы не можем искать его по объявлению в газетах. Главное условие – личное знакомство и безусловное доверие с нашей стороны. Всё упирается в то, что у меня нет никаких связей в мире нефтеразведки. Как с этим у тебя, Рон? Не приходилось ли иметь дело с нефтяниками?

– Дело иметь не приходилось. Но я смутно припоминаю, что у жены есть родственник в Австрии. Она как-то говорила, что он нефтяник. Правда, не знаю его конкретную специальность. Связь между ними давно прервалась. Вот такая скудная информация. Может быть, попробовать разыскать его?

– Да, информации не много. Но, в любом случае, мы ничего не теряем. Займись этим, Рон.

Через несколько дней в доме Макса раздался телефонный звонок.

– Добрый вечер. Это дом господина Адлера? – услышал он незнакомый женский голос.

– Да, это дом Адлера.

– Могу я говорить с Максом?

– Я слушаю вас.

– Это Макс? Здравствуй, Макс. Ты сейчас очень удивисься. Это Эстер Ландау-Берман, Эсти. Я звоню из Израиля. Ты помнишь меня?

– Эсти? Дочь дяди Альфреда? Это ты?

– Да, я. Конечно, я. Очень рада, что не забыл. Столько лет не слышали друг о друге... Как ты, Макс? Как Паула?

– Я в порядке, спасибо. А с Паулой мы давно развелись.

– Извини. Я не знала... Макс, ты, конечно, понимаешь, что я разыскала тебя не без повода.

– Догадываюсь.

– А повод такой. Мой муж, Рон Берман, юридический консультант в области бизнеса и ведёт дела одной нефтяной фирмы. Он попросил меня связаться с тобой. Я помню, что ты нефтяник, но забыла, чем именно занимаешься. Напомни, пожалуйста.

– Я геолог. Занимаюсь разведкой нефти.

– Прекрасно. Рон хотел бы поговорить с тобой, если не возражаешь.

– Конечно, не возражаю. Буду рад.

Эстер передала трубку Рону.

– Здравствуйте, господин Адлер. Это Рон Берман. Эсти рассказала обо мне в общих чертах. Дело в том, что наша фирма заинтересована в сотрудничестве с опытным нефтяным геологом. И главное условие – доверительный характер профессиональных и деловых отношений. Поскольку вы и Эсти родственники, я подумал, что это могло бы обеспечить соблюдение такого условия.

– Спасибо, господин Берман. Нельзя ли уточнить, о каком сотрудничестве идёт речь?

– Что-то близкое к консультированию разведочного проекта.

– Боюсь, не смогу быть вам полезен. Я не занимаюсь частными консультациями. Но могу порекомендовать хорошего специалиста. Как называется ваша фирма?

– Фирма не очень известная. Вы вряд ли слышали о ней. Называется «Дабл Эй».

Максу потребовалась продолжительная пауза, чтобы не выдать волнения, охватившего его при этих словах. Рон подумал, что связь прервалась.

– Вы на линии, господин Адлер?

– Да, да, я на линии. Представьте, господин Берман, я слышал кое-что о вашей фирме. Вы ведь работали в Канаде и, кажется, открыли там месторождение Кameron. Не так ли?

Теперь настала очередь Рона удивиться.

– Да, это были мы. Вы хорошо информированы, господин Адлер.

– Зовите меня Макс. Могу я называть вас Рон?

– Да, конечно, Макс. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что название фирмы изменило ваше отношение к моему предложению. Не так ли?

– Вы не ошибаетесь, Рон. Пока ничего не могу сказать о консультировании проекта, но хотел бы встретиться с вами.

– Прекрасно, Макс. Где вам удобнее – в Израиле или Вене?

– В Вене было бы удобнее.

– Хорошо. В ближайшие дни мы с Эсти будем у вас.

Шмуэль внимательно выслушал рассказ Рона о разговоре с Максом.

– Пока преждевременно говорить о чём-то определённом, – заключил он. – Мы знаем только, что он нефтяной геолог и что он родственник Эсти. Как ты понимаешь, этого недостаточно. Кстати, какое у них родство?

– Макс – троюродный брат Эсти.

– Понятно. Это ещё ни о чём не говорит. Тебе предстоит выяснить, во-первых, каков его профессиональный уровень. Не знаю, сможешь ли ты это сделать, не будучи сам геологом. И всё же постарайся составить хотя бы общее представление. Он не назвал свою должность в компании?

– Нет, не назвал. А спрашивать было неудобно.

– Да, конечно. И второе – нужно оценить его человеческие качества, то, что американцы называют integrity⁹. Вопрос в том, насколько мы можем ему доверять. Ну и, разумеется, ты не должен раскрывать техническую сущность метода. Только самые общие сведения. Нельзя предвидеть, как и в каком направлении пойдёт ваш разговор. То, что он знает о Камероне, – и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что не будет воспринимать метод как некую фантазию, афёру. А плохо потому, что может оказаться из породы охотников за чужими секретами, с которыми мы уже имели дело. В общем, Рон, задача у тебя не простая. Желаю успеха.

10

Макс встретил Эсти и Рона в аэропорту Швехат и отвёз в гостиницу «Бристоль» в центре Вены. Они поднялись в номер и только здесь более внимательно разглядели друг друга. Макс и Эсти не виделись лет тридцать, если не больше. Тогда она была пятнадцатилетним подростком, а он только что окончил университет. Теперь Эсти стала интересной элегантной дамой, с хорошо сохранившейся фигурой и живым выразительным лицом. Она старалась держаться непринуждённо, по-родственному. Но из-за такого долгого перерыва у них не нашлось общих тем ни для разговора, ни для семейных воспоминаний. Макс задал стандартный вопрос о детях. Эсти ответила с преувеличенным энтузиазмом и подробностями. Затем Макс, отвечая на такой же вопрос, сказал, что живёт один, детей у него нет. На этом семейная тема была исчерпана. Чтобы заполнить паузу, Макс и Рон обменялись замечаниями о положении в мировом нефтяном бизнесе, но вскоре увлеклись, и разговор пошёл более оживлённо. Хотя это была всего лишь вежливая беседа, чтобы как-то заполнить обязательные для такой встречи двадцать-тридцать минут, они внимательно присматривались друг к другу. Оба понимали, что их ожидают серьёзные переговоры, последствия которых пока трудно предсказать. Судя по всему, их первые взаимные впечатления были благоприятными. Эсти сразу же уловила это и предложила мужчинам перейти на «ты».

– Вы же родственники, хотя и дальние. И, мне кажется, без труда найдёте общий язык. Почему бы вам не перейти на «ты». Так будет проще говорить о делах, – сказала она с милой улыбкой.

Макс и Рон не возражали. Они наполнили бокалы мозельским вином.

– Твоё здоровье, Рон.

– Твоё здоровье, Макс.

Встреча в офисе Макса была назначена на следующее утро.

Эрна встретила Рона приветливой улыбкой и провела в кабинет. Войдя, он остановился в дверях и с любопытством, смешанным с удивлением, окинул взглядом помещение. Даже не сразу обратил внимание на Макса, поднявшегося из-за стола ему навстречу. Наконец он закончил этот беглый осмотр и пожал протянутую руку.

– Доброе утро, Макс. Ты, должно быть, большая шишка в «Эрдойль». Какова твоя должность?

– Вице-председатель Совета директоров. Курирую зарубежную разведку.

– Вот как! А я-то хотел соблазнить тебя консультацией проекта, – усмехнулся Рон. – И всё-таки ты проявил явный интерес к моему предложению. Почему?

– Давай уточним. Я проявил интерес не к проекту, а к методу. Ведь вы работаете прямым методом, не так ли? Ты хотя и не нефтяник, но, думаю, знаешь, что означают для геолога слова «прямой метод». Это как фата-моргана, мираж в пустыне. Было много попыток создать его, но все они окончились неудачей. Сегодня

⁹Честность, верность моральным ценностям.

почти никто не верит, что он возможен в принципе. Если хочешь, в нефтеразведке это своего рода вечный двигатель... И вдруг мой сотрудник, работавший на севере Альберты, сообщает, что некая таинственная компания «Дабл Эй» обнаружила прямым методом в том же районе месторождение Камерон. И что потом следы этой компании ведут в Австралию. Никто не знает, какова её национальная принадлежность. По слухам, она то ли итальянская, то ли южноафриканская. В общем, сплошная загадка. И вот проходят всего две недели, звонит Эсти, и я слышу от тебя по телефону это необычное для нефтяной компании загадочное название «Дабл Эй». Теперь ты понимаешь, чем вызван мой интерес?

– Более или менее. Это, конечно, кое-что объясняет. Но наш интерес по-прежнему сводится только к консультации разведочного проекта и ни к чему больше. Так получилось, что мы остались без геолога. Из-за этого пришлось остановить работы на уже открытом месторождении, и есть опасность, что мы потеряем права на концессию, если не возобновим разведку в ближайшие месяцы.

– Где находится концессия?

– В Австралии.

– Понятно. Послушай, Рон, у тебя не должно сложиться впечатление, будто я пытаюсь давить на тебя и узнать больше, чем ты хочешь или можешь сказать. Мы оба понимаем, что такое прямой метод и какова должна быть степень защиты такого изобретения и ноу-хау. И всё же я предлагаю обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Ну, например, вы могли бы, не раскрывая сути метода, выполнить работы на нашей концессии, а я мог бы сделать то, что вам нужно, в Австралии. Тебя устраивает такой бартер?

– Что ты имеешь в виду, говоря о работах на вашей концессии? И где она находится?

– Концессия Стин Ривер находится в Альберте, недалеко от Камерона. Мы выявили цепочку рифов, но они, видимо, не все нефтеносные. Могли бы вы вашим методом определить, какие из них содержат нефть, а какие нет?

– Я не геолог и не знаю, что такое рифы, – Рон улыбнулся, – но, наверное, можно просто говорить о нефтеносных и пустых участках. Да, метод позволяет распознавать те и другие с абсолютной точностью.

– Невероятно! – воскликнул Макс. – И вы могли бы это сделать для нас?

– Безусловно. Для этого нам требуются только образцы. Мы проведём анализ, и вы получите то, что вам нужно.

– О каких образцах идёт речь?

– Образцы почвы с глубины два метра.

– Нет проблем. Они у вас будут.

– Теперь о работе для нас. Хочу ещё раз подчеркнуть, что её должен выполнять геолог, которому мы можем верить, – не только в профессиональном отношении, но и в плане личного доверия. Такое условие связано с упомянутой тобой особой степенью защиты изобретения. Иными словами, этим геологом должен быть ты сам, а не кто-то другой по твоей рекомендации. Готов ли ты заняться этим делом?

– Это довольно сложно, учитывая мой статус. Но я что-нибудь придумаю. Могу гарантировать, что информация в полном объёме будет только у меня. Любой другой участник работы, а это может быть кроме меня только один человек, не получит доступа ко всем материалам и представления о проекте в целом.

– Всё это требует серьёзного обдумывания и обсуждения, – сказал Рон. – В любом случае, доступа к аппаратуре и ноу-хау не будет даже у тебя. Ты сможешь пользоваться только итоговой картой с результатами анализа образцов и материалами бурения. Но даже эти материалы может видеть абсолютно надёжный человек, которому мы будем полностью доверять. Извини, но таково условие владельца компании.

– Звучит очень таинственно и даже пугающе. Вероятно, у вас имеются веские основания для таких жёстких ограничений. Ни с чем подобным я раньше не сталкивался. Поэтому прежде чем принять решение, я должен понять, во что мне предстоит ввязаться. Послушай, Рон, не мог бы ты всё-таки кое-что рассказать обо всей этой истории. Не о методе, а о том, что произошло. Я чувствую здесь какую-то тайну. Ну, например, почему вы остались без геолога?

– Хорошо, я расскажу. Но только в самых общих чертах. И абсолютно конфиденциально.

– Разумеется, – заверил Макс.

После продолжительной паузы Рон начал свой рассказ. Он говорил очень скупно, тщательно выбирая слова. Макс видел, что он избегает малейшего намёка на физическую природу метода, всего, что могло бы пролить свет на назначение аппаратуры и измеряемый параметр. Когда он закончил, наступило долгое молчание. Наконец Макс нарушил его.

– Очень необычная история. Настоящий триллер. Я бы хотел задать несколько вопросов.

– Задавай. Отвечу, если смогу, – сказал Рон.

– Итак, все ваши проблемы начались с катастрофы самолёта. Что это был за рейс? И кому принадлежал самолёт?

– Это был небольшой самолёт «джет-коммандер», который мы зафрахтовали у компании «Внутренние австралийские авиалинии».

– И что, других пассажиров на нём не было?

– Нет. Только четверо наших сотрудников. Два изобретателя метода, один из них геолог, и два охранника.

– Причины катастрофы установлены?

– Да, взрыв на борту.

– Вот как. Значит, не технические неполадки и не ошибка пилота. У вас есть какие-то версии?

– Не версии, а уверенность. Мы знаем, кто это сделал.

– И?

Возникла долгая пауза.

– Они наказаны, – наконец сказал Рон.

– Каким образом?

– Адекватно, – ответил Рон после ещё более долгой паузы.

– Понятно. И последний вопрос. Кто это был? Я имею в виду – конкуренты, охотники за изобретением или какие-то наёмные убийцы?

– Тебе лучше этого не знать, Макс. Ты получил достаточно информации, чтобы, по твоим словам, понять, во что тебе предстоит ввязаться. Прежде, чем что-либо решать, можешь всё обдумать и взвесить. Я не спешу и ни на чём не настаиваю.

– Да, конечно. Подумать никогда не мешает. Всё это настолько отличается от привычных интриг и разборок в мире нефтяного бизнеса, что здесь есть над чем поразмыслить. Давай продолжим разговор завтра, если не возражаешь.

– Хорошо. До завтра.

Как только Рон ушёл, Макс позвонил Пауэллу.

– Дейв, как у вас дела с запиской о «Дабл Эй»?

– Она почти готова. Я получил кое-какую дополнительную информацию из Австралии.

– Зайдите ко мне. И захватите всё, что у вас есть.

Через несколько минут Пауэлл появился в кабинете.

– Ну, что вам удалось выяснить? – спросил Макс.

– Два года назад они работали на блоке Уинтон, в штате Квинсленд. Пробурили три разведочные скважины, все нефтяные. Так же, как и в Альберте, до бурения

не проводили сейсмику. Потом вдруг законсервировали скважины и прекратили работы. Правда, у них случилась неприятность – в авиакатастрофе погибли два сотрудника. Мне даже прислали факс с газетной заметкой об этом. Вот она, – Пауэлл вынул из папки текст.

Макс прочитал: «Авиационная катастрофа... Взорвался в воздухе... Уцелевший ноутбук... За двадцать минут до взрыва напечатан текст... В серой зоне миллиардных прибылей... Алекс понимал, что, работая методом прямого обнаружения, они рано или поздно вползут в эту зону с её смертельными схватками...» Внезапно у него возникла какая-то смутная реминисценция. Ему вдруг вспомнилась встреча с брокером Дитрихом Хаузером и та необъяснимая интуитивная догадка о сделке между Келлером и Пауэллом, которая, казалось бы, появилась ниоткуда, просто из воздуха, и которая потом полностью подтвердилась. Нечто наподобие этого пришло ему в голову и сейчас.

– Дейв, вы говорите, блок Уинтон? А кто работал на соседнем блоке? – спросил Макс.

– Не знаю.

– От кого вы получили все эти данные?

– От моего приятеля. Он начальник земельного отдела в Управлении минеральных ресурсов штата Квинсленд.

– Так, – Макс взглянул на часы, – сейчас в Квинсленде шесть тридцать вечера. Рабочий день закончился. Но, может быть, нам повезёт и ваш приятель немного задержался. Позвоните ему прямо отсюда. Если не застанете – звоните домой. Вопрос один – кто был соседом «Дабл Эй»?

Пауэлл подошел к телефону и набрал номер.

– Хелло, Стив. Это Дейв Пауэлл. Поймал тебя в дверях? Мне повезло. Не буду долго задерживать. Один короткий вопрос – кто работал или работает на блоке, соседнем с Уинтон? «Альбион Энерджи»? Спасибо, Стив.

– Я слышал – «Альбион». Спасибо, Дейв, – сказал Макс. – Оставьте все материалы у меня.

После ухода Пауэлла Макс позвонил Конраду Кернеру, начальнику отдела технической информации.

– Конрад, мне срочно нужна информация по компании «Альбион Энерджи». Тема – производственные аварии, катастрофы, несчастные случаи за последние два года, повлекшие гибель персонала. Найдите эти данные в Интернете и сразу же перешлите на мой компьютер.

Информация на компьютере Макса появилась через десять минут.

... Пожар на нефтяной скважине в Нигерии. Погибли двое рабочих.

... Перевернулся трейлер с трубами в Индонезии. Погиб водитель.

... Взрыв на нефтехранилище в Перу. Погибли двенадцать человек.

... Авария вертолёта в Северном море. Погибли восемь человек, включая президента компании Энтони Крейга и двух вице-президентов Ларри Эванса и Гарри Бриссона.

Макс посмотрел на дату. Между взрывом самолёта над Австралией и аварией вертолёта над Северным морем прошёл ровно год. Вспомнились слова Рона Бермана: «Наказаны адекватно». Почему-то в памяти вдруг всплыли газетные сообщения о сенсационной операции «Энтеббе» и отстреле арабских террористов по всей Европе после гибели израильских спортсменов в Мюнхене. Сходный по черк, подумал он.

Итак, скупой рассказ Рона обрёл недостающие детали. Таинственная история ожила и наполнилась плотью и кровью. Да, и кровью. Она присутствует в этом «наполнении» не как лексическая фигура, а как трагическая реальность, подумал Макс. Теперь остаётся решить главный вопрос – нужно ли ему ввязываться в эти дела? Стоит ли прямой метод тех смертельных схваток, о которых писал за двад-

цать минут до гибели неизвестный ему Алекс? Память услужливо подбросила закон Мэрфи: «У любого великого изобретения есть недостаток – технический или моральный – равный или превышающий по своему значению само изобретение». Прямой метод уже унёс больше десятка жизней. И эта цифра вряд ли окончательная. Не превысит ли такой «недостаток» значение самого изобретения?

В мире нефтяного бизнеса существуют и процветают многие жёсткие и жестокие формы борьбы, цель которой – полное устранение конкурента. Хотя формально дело никогда не доходит до физического устранения, но в действительности люди, потерявшие работу и надежду, нередко уходят не только из бизнеса, но и из жизни. Наиболее агрессивным и безжалостным видом схваток между компаниями является тейквер¹⁰, или захват конкурента. Во многих странах такие действия запрещены антимонопольным законодательством. Однако финансовый выигрыш зачастую перевешивает риск уголовного преследования. К тому же отработаны изощрённые способы обойти закон. Делается это путём внезапной массивной скупки акций намеченной жертвы с целью получения контрольного пакета. После этого жертва поглощается и переваривается новым хозяином в прямом смысле слова. Её предприятия, нефтяные месторождения, рыночная инфраструктура, финансовые активы становятся его собственностью, а большая часть работников выбрасывается на улицу. Оставляется лишь сокращённый обслуживающий персонал производственных объектов. Процесс почти физиологический и напоминает пожирание сильным хищником слабого с захватом ареала его обитания. От такой тактики до взрыва самолёта – один шаг...

Бывает также внутренний тейквер, когда какой-либо член Совета директоров скупает акции через подставных лиц с целью стать контролирующим акционером и захватить власть в компании. Макс вспомнил, что подобный случай рассказан Арманом Хаммером в автобиографической книге «Свидетель истории». Некто Дэвид Мэрдок, член Совета директоров компании «Оксидентал», владевший пятью процентами акций, попытался таким способом сбросить самого Хаммера и завладеть компанией. Хаммер отбил нападение. Мэрдок был вынужден продать ему свои акции и уйти из «Оксидентал».

Интересно, подумал Макс, а не пыталась ли «Альбион Энерджи» добраться до прямого метода иными путями? Неужели сразу такой крайний способ, как физическая ликвидация? Рассказать об этом может только Рон. Но он вряд ли сделает это. И всё же завтра надо будет попытаться получить от него дополнительную информацию. Но это завтра... А сейчас нужно разобраться с главным вопросом – ввязываться или не ввязываться? Макс знал, что испытанный способ решения любой сложной проблемы – это подход к ней с разных направлений. Одно направление лежит на поверхности – оценка риска и для себя лично, и для «Эрдойль». За методом уже тянется кровавый след, и не учитывать его было бы непостижительно. Другое направление тоже достаточно очевидно – оценка потенциального выигрыша, финансового и технологического. Есть ещё и третье направление, требующее некоторого воображения, – поставить вопрос таким образом: много ли найдётся нефтяных компаний, которые отвергли бы предложение «Дабл Эй» о взаимовыгодном сотрудничестве? После недолгого размышления Макс пришёл к выводу, что любая компания посчитала бы это предложение, при всех его «за» и «против», счастливым лотерейным билетом, мощным рывком в конкурентной борьбе. Ему этот билет выпал случайно, благодаря Эсти. Случайно ли? Он вспомнил, что совсем недавно проблема случайности и предначертанности уже будоражила его мысли. В связи с чем это было? Ну, конечно же, – он сидел в хранилище швейцарского банка и пытался понять, как это всё могло произойти? Что это было – хаотическое нагромождение случайностей или судьба? И вот перед ним

¹⁰ Takeover – англ.

снова стоит этот сакраментальный философский вопрос. Тогда, в Женеве, он твёрдо решил, что, несмотря на кажущуюся цепь случайностей, которая привела к судьбоносному повороту в его жизни, всё было предопределено и неизбежно. Не так ли обстоит дело и сейчас? Предложение Рона – это не случайный лотерейный билет. Это ещё одно звено в цепи предначертанных событий, которые контролируют его жизнь. Последние сомнения отпали. Макс стало ясно, что он не должен отказываться от сотрудничества с «Дабл Эй».

Утром, ровно в девять, Макс и Рон встретились снова и продолжили разговор. Теперь Макс знал намного больше, чем вчера, о том, что произошло в Австралии. И решил, что нет смысла скрывать полученную информацию. Он полагал, что это побудит Рона быть более открытым и откровенным.

– Ну как, Макс, ты принял решение?

– Да. Я готов к сотрудничеству на ваших условиях. И поскольку оно предусматривает полное взаимное доверие и обмен информацией – в допустимых пределах, разумеется, – то я должен кое-что сообщить тебе.

И Макс рассказал о результатах собственного расследования. Рон слушал молча, не прерывая и не комментируя. Когда Макс закончил, он встал и прошёлся по кабинету, обдумывая услышанное.

– Видишь ли, Макс, каждый имеет право искать по собственным каналам дополнительную информацию о потенциальном партнёре по бизнесу. Это общепринятая практика. И вчерашнее расследование говорит о серьёзном подходе с твоей стороны. Но оно завело тебя слишком далеко, в область фантастических предположений и спекуляций. Из всего, что ты рассказал, могу подтвердить лишь два факта. Первый – мы действительно работали на блоке Уинтон. И второй – виновные в гибели наших людей наказаны. Это я сказал тебе вчера. А кто они такие и кто за ними стоял – это только твои догадки. Мало ли сколько самолётов и вертолётов разбились через полгода, год или полтора года после того трагического события в Австралии. Извини, но я не могу обсуждать с тобой этот вопрос.

– Хорошо. Забудем об этом. Я лишь хотел, чтобы между нами не было недомолвок. Теперь ты знаешь, что я провёл расследование и пришёл к некой версии. Если она не соответствует действительности, тем лучше. Но скрывать это я не считал нужным.

– Понимаю. Ну что ж, по главному вопросу мы договорились. Ты поможешь нам закончить разведку в Австралии, а мы сделаем для тебя работу в Канаде. Теперь мне надо вернуться в Израиль и сообщить об этом боссу. После этого составим детальный план. Обсудим его при следующей встрече. Я улетаю сегодня вечером. Эсти решила остаться на неделю. Если сможешь, удели ей немного внимания.

– Постараюсь. Когда твой рейс?

– В двадцать пятнадцать.

– Я подброшу тебя в аэропорт.

– Спасибо.

Окончание следует

СНЫ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Сон первый: гибель Дома

Турбину стал снится Город.

Белая гвардия

*...я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит
под неподвижным чёрным небом.*

Записки покойника

Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий дом?

Белая гвардия

1

Его Городом навсегда остался Киев.

«Весной зацвели белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало на них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зелёное море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Чёрно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских» («Киев-город», 1923).

Место, где он родился (3/15 мая 1891 года), известно лишь приблизительно. Через несколько лет семья поселилась на Андреевском спуске, и этот дом, от которого открывалась замечательная панорама Города, навсегда стал точкой опоры в перевернувшемся мире. Милые приметы безмятежной жизни – лампа под зелёным абажуром, оперные арии, книжный шкаф, где соседствуют детский «Саардамский плотник» и «золото-чёрный конногвардеец Брокгауз-Ефрон», – населили его прозу, начиная с первого романа.

В доме жила большая семья. Отец, человек «крепкой веры», преподавал в Духовной академии историю западных вероисповеданий, увлекался англиканством, публиковал научные труды. Мать, как и положено, вела домашнее хозяйство. Детей в семье было семеро. Михаил, первый, старший, был, тем не менее, избавлен от необходимости продолжить родительское дело. Профессор Духовной академии хотел дать всем троим сыновьям светское образование.

Отец умер рано (1907), но даже оставшейся без помощи матери удалось на пенсию выполнить наказы и осуществить задуманное. Куррикулум витэ (жизненный путь) Михаила Булгакова проходит через гимназию и медицинский факультет.

Линия жизни определилась: в грядущей перспективе маячили доктор Астров или – что тоже небезосновательно – доктор Чехов, ставящий мучительные вопросы, бередящий общественные язвы, намекающий на грядущие потрясения, но страдающий, прежде всего от обыденщины, однообразной провинциальной жизни, вида семейства, спокойно пьющего чай на веранде.

«Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жёсткий, крупный ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно, грозно наступила история» («Киев-город»).

Начало «настоящего двадцатого века», времени, когда белый цвет превратится в «чёрный снег» (драму под таким заглавием сочиняет герой «Записок покойника»), современники обозна-

чали по-разному. Для одних (Ахматова) рубежом был август четырнадцатого, когда империя втянулась в несчастную мировую войну. Для других новая эра (Маяковский, Блок) или океанские дни (Бунин) начались в октябре семнадцатого, когда – на горе всем буржуйам – запылали по всей Руси помещичьи усадьбы и даже трамваи продолжили свою гонку уже при социализме.

Булгаков (как позднее – Солженицын) датировал наступление истории по-иному – и с точностью до минуты: в 10 часов утра 2 марта 1917 года загадочный депутат Бубликов прислал в Киев телеграмму об отречении императора.

«История подала Киеву сигнал к началу. И началось, и продолжалось в течение четырёх лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддаётся. Будто уэллсовская атомистическая бомба лопнула над могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело, и клочкотало, и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах окружности на 20 вёрст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьёт всех до одного современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917 – 1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счёту киевлян у нас было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причём 10 из них я лично пережил» («Киев-город»).

Историю он встретил земским врачом в глухом углу Смоленской губернии, перед этим побывав на Юго-Западном фронте. В феврале незабываемого 1918-го в Москве было получено освобождение от военной службы по болезни, но в исторические времена это уже ничего не значило.

В марте Булгаков с женой возвращается в дом на Андреевском спуске. И – начались «необыкновенные приключения доктора», те самые несчитанные перевороты с кровью, голодом, страхом, ощущением пира во время чумы.

«За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет назад? Или ещё лучше – через сто лет. А ещё лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: “Зато вам будет что порассказать вашим внукам!” Болван такой. Как будто единственная мечта у меня – под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе! <...> К чёрту внуков. Моя специальность – бактериология. Моя любовь – зелёная лампа и книги в моем кабинете. <...> А между тем... Погасла зелёная лампа. “Химиотерапия спириллёзных заболеваний” валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счёту власть» («Необыкновенные приключения доктора», 1922).

Степень биографической точности этого и других военных рассказов определить трудно: многие подробности булгаковских скитаний во время гражданской войны остаются неизвестными. Но психологическая их достоверность несомненна: автопсихологический персонаж, чаще всего – врач, связывает эти разнородные тексты.

Киевский год под лопнувшей атомистической бомбой действительно заканчивается мобилизацией. Военный врач Булгаков успел послужить и у самостийных петлюровцев, и (предположительно) в красной и в денкинской армии. Его заносит во Владикавказ, Беслан, Грозный (города, которые через много десятилетий станут местом действия новых трагедий). Попытка эмиграции в Константинополь (привет тараканьим бегам!) не удалась: Булгаков заболел тифом и не смог уйти с отступающими белыми войсками.

После прихода во Владикавказ красных войск он служит в отделе народного образования, читает лекции перед спектаклями, пишет в газеты, начинает сочинять агитационные пьесы (среди них была и несохранившаяся – «Братья Турбины»).

В мае 1921 г. начинается очередное странствие уже по советской стране: Баку – Тифлис – Батум – Одесса – Киев. «В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда» (Автобиография, 1924).

Он приехал в Москву не только без вещей и денег, но и без каких бы то ни было иллюзий. Диагноз произошедшему он поставил полтора года назад. В ноябре 1919-го – ещё при белых – в газете «Грозный» автор, скрывшийся под инициалами М. Б., публикует статью «Грядущие перспективы» (её обнаружат и перепечатают лишь через семьдесят лет). Сравнивая настоящее России с тоже пережившим великую войну и заливающим раны Западом, Булгаков мрачно предсказывает: «Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за возвращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за всё!

И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко “читает”, как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

– Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»

Каким образом, почему «беспечальное юное поколение» превратилось в *поколение неудачливое*? Понять и показать это мог бы только «новый, настоящий Лев Толстой». На современных писателей надежды не было. Но ждать пятьдесят лет... Такая грядущая перспектива Булгакова не устраивала. Нужно было как-то справиться самому.

Чехов любил шутить, что медицина его законная жена, а литература – любовница. В начале двадцатых годов Булгаков меняет не только город, но – судьбу.

«В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрёл себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого» (Дневник, 26 октября 1923 г.).

Хотя первые литературные опыты Булгакова относятся к детским годам, в Москве он делает литературу «законной женой», навсегда вступает в «орден русских писателей». Командором ордена он считает Александра Пушкина, а своим учителем – Николая Гоголя.

«Я с детства ненавижу эти слова “Кто поверит?..” Там, где это “кто поверит”, я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: “А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я писатель?” И прочее и так далее» (В. В.Вересаеву, 22 – 28 июля 1931 г.).

«Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем» («Мастер и Маргарита»).

На доказательство тем, кто не верил, не хватило жизни. Но потом в это вынужден был поверить весь мир.

2

В Москве Булгаков начинает работать в газете для железнодорожников «Гудок». В редакции и на знаменитой четвёртой, литературной, полосе соседствуют несколько авторов, которые совсем скоро станут первыми перьями только ещё складывающейся, формирующейся новой – советской – литературы: Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров.

Булгаков во многих отношениях был, если не чужим, то чуждым в этой весёлой компании. «Он был старше всех нас – его товарищей по газете, – и мы его воспринимали почти как старика. («Старику» только что исполнилось тридцать лет, автор мемуаров был на шесть лет моложе. – И. С.) По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой», – вспоминал Катаев.

Действительно, на сохранившихся фотографиях даже внешне – галстук или бабочка, шляпа, монокль, тщательная причёска – Булгаков резко отличается от *красной богемы*, напоминая людей, навсегда оставшихся по ту сторону разлома, в эпохе белого снега («С виду был похож на Чехова...»), или оказавшихся по ту сторону границы, в Константинополе, Берлине, Париже.

Но если бы дело было только в одежде... Литературные вкусы и симпатии Булгакова были ещё более вызывающими. Он не признавал не только современных кумиров, к эпохе модернизма, которую назовут *Серебряным веком*, он тоже относился без особого почтения.

Молодые писатели двадцатых «молились» (словцо Катаева) на «Петербург» Андрея Белого. «Русская проза тронется вперёд, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы...» – предсказывал Мандельштам

вскоре после булгаковского появления в Москве. («Литературная Москва. Рождение фавулы», 1922).

Булгаков эту вершину не только не преодолевал, но словно не замечал. Как и других – главных – авторов Серебряного века. «Блок, Бунин – они, по моим представлениям, для него не должны были существовать! Его литературные вкусы должны были заканчиваться где-то раньше...» (В. Катаев).

Раньше, значит, – в *золотом* XIX веке.

В своей прозе Булгаков (как по-иному и Бунин) как бы продолжал русскую литературу прошедшего века, обращался к тем же жанрам, связывал оборванные нити, клялся в верности не новым богам, а старым учителям – Пушкину, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Толстому, Достоевскому, Чехову (пусть временами диалог превращался и в серьёзную полемику с ними).

Булгаков опирается на разработанную технику русской классической прозы: персонажи с психологией, портретными и речевыми характеристиками, фабула, пейзаж и точные детали, прямые авторские включения, «лирические отступления», не отменяющие действия, а лишь аккомпанирующие ему. Даже многочисленные «сны» (а Булгаков – один из самых значительных *сновидцев* в русской литературе) не романтически прихотливы, а, при всей своей причудливости, словно продолжают реальность, объясняют, комментируют её.

Придуманное Достоевским определение *фантастического реализма* прекрасно подходит к булгаковской прозе. Но для одних строгих критиков в ней оказывалось слишком много фантастики, для других – много реализма. «Помню, как он читал нам “Белую гвардию”», – это не произвело впечатления, – признавался через много лет В. Катаев. – Мне это казалось на уровне Потапенки. И что это за выдуманные фамилии – Турбины! <...> Вообще это казалось вторичным, традиционным».

Но и старомодные бытовые привычки, и традиционные эстетические вкусы (и в музыке он предпочитал популярные оперные арии всем авангардным новациям, и в театре «переживание» Станиславского для него было дороже «биомеханики» Мейерхольда) были следствием более фундаментального расхождения с гудковцами и, вообще, с советской литературной средой (включая, между прочим, и Андрея Платонова, и Михаила Зощенко). Для них, как чуть раньше для Маяковского, не было сомнений, *принимать или не принимать* произошедшее в России. Они приняли новый строй как «безвыборную» реальность и, как могли, служили ему, пытались понять его природу, исходя из него самого. Они смотрели на прошлое сквозь современные очки. Они были *модернистами*, даже если, как Фадеев или Алексей Толстой, сочиняли романы в духе Льва Толстого.

То, что для многих оставшихся в России-СССР современников было фактом, для Булгакова оставалось *проблемой*. Его проза и драматургия двадцатых годов, при всей её внешней живописности, это, прежде всего, – попытка понять все заинтересованные стороны, взвесить разные социальные и психологические «правды» – и лишь затем сделать выбор. Его повествовательная точка зрения находится по ту сторону, в том легендарном времени, которое оборвалось то ли в четырнадцатом, то ли в семнадцатом году. Он остается *архаистом*, даже когда, как Олеша или Катаев, сочиняет в «Гудке» заказные фельетоны на злобу дня.

Автор статьи «Литературной энциклопедии» (1929), по сути, был прав, отказываясь считать автора «Белой гвардии» не только соратником, но и «попутчиком». «Булгаков вошёл в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни... Задача автора – моральная реабилитация прошлого... Весь творческий путь Булгакова – путь классово-враждебного советской действительности человека. Булгаков – типичный выразитель тенденций «внутренней эмиграции».»

Врачебные очерки, торопливые заказные фельетоны «Гудка», «Записки на манжетах» и другие московские зарисовки, печатающиеся в газете «Накануне», сатирическая трилогия, последний текст которой появится в СССР лишь через шестьдесят лет, пьесы и инсценировки – всё это складывается в целостное художественное высказывание – *мир Булгакова*, – центром которого оказываются два романа – о *гибели Дома и судьбах мира*.

ранний опыт, но и понять некоторые тенденции русской жизни, определившие судьбу Города и вырвавшегося в нем неудачливого поколения.

По сути «Записки...» — *физиологические очерки*, точная, почти натуралистическая фиксация «случаев», которые происходят с молодым, не названным по имени, земским врачом, приобретающим первый опыт в глухом углу старой России, вдали от театров и блестящих клиник. Обозначенный в начале «Полотенца с петухом» «незабываемый» 1917 год никак не отзывается на проблематике цикла; она полностью связана с дореволюционной эпохой, тут ещё никто не знает об исторической телеграмме депутата Бубликова.

Герой-рассказчик наивен, полон сил, вынужденно смел, многие трудные вопросы должен решать с ходу, вспоминая страницы медицинских справочников и лекции университетских профессоров. Но ему везёт. Ему ни разу не приходится переживать того, от чего мучится чеховский доктор Астров, у которого больной умер на операционном столе («Дядя Ваня»). Единственная смерть, которую он видит и ненавидит, происходит не по его вине («Вьюга»).

В «Записках» есть повествовательное бравирование резкостью медицинских описаний (чего почти лишены рассказы того же Чехова).

«Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. <...> Я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. “Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!”

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культёй. “Еще, еще немножко... не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни!” («Полотенце с петухом»).

«Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколочил в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошёл с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чём дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. “Все против меня, судьба, — подумал я, — теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, — и мысленно строго добавил: — только дойду домой — и застрелюсь...”» («Стальное горло»).

Но помимо собственно медицинской, в рассказах есть и другая, проступающая лишь на фоне других булгаковских текстов двадцатых годов, тема. Мир вокруг героя-рассказчика чудовищно далёк от него и эмпирически, и психологически. Оставленная предшественником Леопольдом Леопольдовичем больница с «богатым инструментарием» и аптекой, в которой «не было только птичьего молока», кажется каким-то чудесным обломком другого мира, лучом света во «тьме египетской».

«Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? люди? небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдёт в полночь с воём скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребённая в буране. Разве что занесёт пути...

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воеет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывёт тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни.

— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору».

Спасая других, выполняя, насколько хватает сил, клятву Гиппократу, в этой тьме герой чувствует себя совершенно одиноким. Смешно, конечно («анекдот-с!»), когда страдающий лихорадкой «интеллигентный мельник» зараз принимает лошадиную дозу хинина, подобно потомку лошади Симеонову-Пищуху из чеховского «Вишнёвого сада» («Тьма египетская»). Но когда недоверчивый сифилитик («Плохо лечит. Молодой.<...> Глотка болит, а он мazi на ноги даёт») лишь чудом не заражает жену, тут уже не до смеха. «Он пошёл передо мной разнообразный и коварный. То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на жёлтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отравлённым наказанием за тьму отцов на ребятах, с носами, похожими на казачьи сёдла. <...> Я

расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал иодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и неполностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен» («Звёздная сыпь»).

Тьма египетская покрывает эту бедную землю.

Уже в «Записках юного врача» заметно, что Булгакову чуждо привычное для русской литературы преклонение перед «почвой», мужицкой мудростью. Сочувствие «бедным людям», «униженным и оскорблённым» объясняется здесь профессиональной позицией, а не бесконтрольной эмоцией. Таким же трезвым взглядом смотрел на «народ» Чехов. «Во мне течёт мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями», – писал он, полемизируя с идеями «опрощения» позднего Толстого. – «Толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно...» (А. С. Суворину, 27 марта. 1894 г.).

Во «Вьюге» тоже, кажется, ни с того ни с сего возникает имя Толстого: «Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

“Ему хорошо было в Ясной Поляне, – думал я, – много не возили к умирающим...”»

У Толстого есть рассказ о заблудившихся в метели людях. Но дело, пожалуй, не в ситуации, а в идеологии. Булгаков, как и Чехов, не понимает и не принимает толстовского недоверия к интеллигентному сословию, в частности, к врачам, и его преклонения перед «мужицкими добродетелями».

«Деревня ещё бурлила. Крестьяне то подождут помещицью усадьбу, то учинят расправу над самим помещиком. Булгаков шутит: “Ликуйте и радуйтесь! Это же ваш народ-богоносец! Это же ваши Платоны Каратаевы!”» (И. Овчинников. «В редакции «Гудка»).

В «Белой гвардии» на место Льва Николаевича Булгаков подставит Федора Михайловича, не делая в этом случае между классиками особого различия. «А, чёрт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские!.. у-у... вашу мать!» – ругается Мышлаевский, рассказывая о нападении, на свою замерзающую в метели часть (глава 2).

Чуть позднее ещё один герой «Белой гвардии», Алексей Турбин, сталкивается на улицах Города с похоронной процессией: «– Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? <...> – Офицеров, что порезали в Попелюхе, – торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос, – выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали...» (глава 6).

Таившиеся во тьме египетской наивность и ненависть неизбежно должны были вырваться на поверхность. Этому посвящен другой несобранный булгаковский цикл двадцатых годов: *необыкновенные приключения доктора*.

4

«Необыкновенные приключения доктора» (1922) – «просто вопль» (название первой главки рассказа). Несчастливого доктора Н многократно мобилизуют, уплотняют, куда-то везут. В его лихорадочных записях смешиваются красные и белые, конные и пешие, кубанцы, чеченцы, многочисленные раненые и убитые, обезумевшие толпы.

В конце он видит море (надежда на эвакуацию) и посылает «проклятие войнам отныне и во веки». Но две из трёх версий пролога предполагают его гибель. Третья версия – с эмиграцией в Буэнос-Айрес – кажется иронической вариацией пропажи без вести.

«Красная корона» (1922) по заглавию и психологическому облику главного героя напоминает «Красный смех» Л. Андреева и – ещё глубже – гаршинских людей «потрясенной совести» («Четыре дня», «Трус»). Два события дают на сознание рассказчика: гибель на его глазах старшего брата и смерть рабочего, повешенного на фонаре по приказу генерала (сцена, которая откликнется в «Беге»). Призраки убитого и посланного на смерть другого являются в его палату № 27 и навсегда заслоняют прошлое: гостиную с уютным креслом, солнечный луч на пианино, партитуру «Фауста». К этим милым подробностям исчезнувшей жизни больше нет возврата. «Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна – старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает время. И в ночь покорно жду, что придёт знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

– Я не могу оставить эскадрон.

Да. Я безнадежен. Он замучит меня».

В «Налёте» (1923) бандиты расстреливают еврея-часового, тот чудом выживает и потом рассказывает свою историю, как будто о чужом человеке (и этот рассказ кажется этюдом, наброском сцены петлюровского погрома в «Белой гвардии»).

Героем рассказа «Я убил» (1926) становится «хирург с пистолетом». Доктор Яшвиль убивает садиста-петлюровца, нарушая и клятву Гиппократата, и евангельское «не убий». Действие рассказа происходит в Киеве в феврале грозного 1919-го, а доктор вспоминает о нём из другого, более спокойного времени: «Вот семь лет почти живу в Москве, а всё-таки тянет меня на родину».

Структурно «военные» рассказы строятся по-иному, чем «Записки юного врача». «Записки...» – антология острых случаев, мозаика впечатлений, общая перспектива которых не очевидна. Рассказы о гражданской войне – постановка общих проблем, каждая из которых кровотоцит в своей мучительной неразрешимости и тяготеет к универсальности. Каждый из подобных рассказов кажется конспектом большого произведения.

Точкой кристаллизации становится для Булгакова история семьи и память о десяти киевских переворотах. На этом фундаменте вырастает «Белая гвардия» (1923 – 1924).

5

История создания первого булгаковского романа кратко изложена в начале «Записок покойника».

«Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило моё одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. <...>

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным чёрным небом. Меня развеселила мысль о движении. <...>

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен. <...> Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы. – Боже! Это апрель! – воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец!» («Записки покойника», гл. 2).

Жанровыми ориентирами для Булгакова в золотом девятнадцатом веке, безусловно, были Пушкин (эта связь подчеркнута уже в эпиграфе) и Лев Толстой, любовно-иронически упоминаемый в тексте. «Если угодно знать, “Войну и мир” читал... Вот, действительно, книга. До самого конца прочитал – и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, артиллерийский офицер», – оправдывается в своей необразованности Мышлаевский во время карточной игры.

Один из критиков предлагал назвать толстовскую эпопею чуть по-иному: «Война и семья». На этом контрасте строится и булгаковская книга (толстовский ген почувствовали в романе первые же внимательные читатели). Мира здесь много меньше, чем в толстовском романе, его с большим трудом пытаются сохранить в турбинском доме. Вокруг же задувают ветры истории – безо всякой надежды на близкое спокойствие.

«Белая гвардия» свободно сочетает традиции исторической хроники и семейного романа. По ним, как по камертону, настроены уже первые фразы романа.

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилён летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

Высокий строй то ли библейского пророчества, то ли «Повести временных лет» сменяется в следующем абзаце лирической интонацией сентиментальной повести, семейного альбома: «Но

дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, ёлочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?»

Эти же два семантических пласта отражают эпиграфы: символический буран «Капитанской дочки» сменяется фразой Апокалипсиса.

Дом Турбиных является исходной точкой повествования и местом финала. Но вокруг него Булгаков выстраивает сложную мозаику, в которой находится место соседу Василисе, Петлюре, гетману, футуристу-цинику Шполянскому, герою-полковнику Най-Турсу, пророчествующему сифилитику Русакову, женщине-спасительнице Юлии Рейс, мальчишке Петьке Щеглову. Множество безымянных персонажей появляются в массовых сценах, которые Булгаков тоже пишет по-толстовски, как выявление психологии толпы, коллективных настроений, страхов и фобий.

Голос и позиция повествователя при этом далеки от эпической объективности. «Я люблю указать, кто сволочь», – говорил, кажется, Маяковский. В безумии наступивших времен Булгаков сохраняет чёткие нравственные ориентиры. «Сволочь» – заботящийся о своей шкуре Тальберг. Вполне достоин его и Шполянский, со вкусом предающий своих бывших соратников. Омерзительны погромщики-петлюровцы.

На противоположном полюсе – полковник Най-Турс, герой, который жертвует жизнью «за други своя», спасая растерянных мальчишек-юнкеров, включая Николку Турбина, этого булгаковского Николая Ростова.

Но и военные, и штатские, связанные с семьей Турбиных, – при всех своих недостатках (В. Ходасевич не мог простить Шервинскому позаимствованный у гетмана портсигар) – обладают человеческой значительностью и внутренним обаянием.

Рыжая, прекрасная Елена, похожий на молодого щенка Николка, фатоватый враль Шервинский, «военная косточка» Студзинский, нелепый Лариосик – создают целостный образ того уходящего на дно мира, символом которого стал белый цвет и ласковый снег Города.

Они пытаются жить, как прежде. Похоронив мать, Елена берет на себя роль хозяйки дома: заботится, волнуется, хлопочет, страстно молится за брата, собирает семью за столом. Пережив предательство мужа, она привычно находит новое мужское плечо, к которому можно прислониться. Старые привычки, перенесённые в новую реальность, создают ощущение какого-то обаятельного гротеска. Лариосик прибывает из Житомира к малознакомым родственникам с завёрнутым в рубашку собранием сочинений Чехова (родственники всегда должны помогать, пусть даже вокруг рушится мир).

Может быть, самым поразительным в поведении Турбиных и их близких являются попытки сохранить семейные традиции и старые ценности после взрыва атомистической бомбы.

Старая российская история *прекратила течение своё*. Император Александр, победитель Наполеона, со всеми своими войсками не может спасти и охранить гибнущий турбинский дом. А они опять всё также собираются в гостиной с кремовыми шторами, смеются, наигрывают марш «Двуглавый орёл», строят планы на будущее.

При чёткости нравственных ориентиров Булгаков играет идеологическими знаками, проводит границы вовсе не там, где требовалось по пропагандистским канонам двадцатых годов.

За что и против кого воюют и умирают булгаковские военные?

«– ! Ребята!.. Штабные стегвы!..» – грозит кулаком небу Най-Турс за несколько минут до гибели (гл. 11).

«– Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков», – произносит безымянный командир батареи перед тем, как выстрелить себе в рот.

«– Ежели бы мне попало это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить...», – добрым словом поминает Шервинский бежавшего гетмана и его главнокомандующего.

Будничная смелость и высокий героизм *простых* офицеров сочетаются с трусостью, шкурничеством, бездарностью *начальства*, будь то гетман Скоропадский или Петлюра, немецкие генералы или Тальберг.

В заглавии романа, кажется, есть горькая авторская ирония, почти не воспринимаемая позднее из-за подмены контекста. *Белый* – так повелось с эпохи Великой французской революции – цвет монархии, императорской власти. С марта семнадцатого, который был ознаменован в Городе телеграммой депутата Бубликова, он был выведен из игры, чтобы потом, в советской идеологической риторике, окрасить совсем иные социальные течения и группы.

«В большинстве своем идейные монархисты вообще избегали участия в гражданской войне. Это была не их война. Им **не за кого** было воевать. <...> Герои романа “Белая гвардия”, называющие себя монархистами, на исходе 1918 года вовсе не намерены участвовать в разгорающейся гражданской войне, причём никакого противоречия тут не видят. Его и нет. Монарх отрёкся, служить некому. Пропитания ради можно служить хоть украинскому гетману, а можно и вовсе не служить, когда есть другие источники дохода. Вот если б монарх появился, если бы призвал монархистов служить ему, о чём в романе сказано не раз, была бы и служба обязательна, и воевать бы пришлось» (Д. Фельдман).

Конечно, в горячем пьяном застолье герои Булгакова могут помечтать, что захвативший Москву гетман положит Украину «к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича», выпить за его здоровье и спеть старый гимн. «— На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!» — покачиваясь, кричал Мышлаевский.» (гл. 3).

Однако Алексей, «болезненно сморщившись», скажет, что уже слышал эту *легенду*. И закончится всё страшной рвотой Мышлаевского, его обещанием никогда не мешать водку с пивом и первым сном Турбина.

«Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

— Голым профилем на ежа не сядешь?.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя». (В бесчестии перед сном Турбин обвинял Тальберга).

Лучшие булгаковские герои — очередные *лишние люди*, первое *потерянное поколение* новой эпохи, потерявшее монарха, империю, родину. От монархии им остались лишь ненужная присяга и бремя чести, от империи — островок Дома посреди бушующих самостийных бурь, от родины — горсточка родных и друзей.

В последней главе «Белой гвардии» Булгаков волевым авторским усилием ещё сохраняет зыбкое равновесие ужаса и надежды.

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней».

Вслед за этим пророчеством-констатацией следует очередное убийство петлюровцами несчастного еврея (кажется, этот труп мучит сознание героя «Записок покойника»: с воспоминания об убитом и звуков гармонике начинается роман «Чёрный снег»).

Но то ли молитва сестры, то ли снадобья доктора спасают Алексея, Елена находит новую мужскую опору, все близкие пока ещё живы, и расцветает в финале сюита сновидений, обнажающая страхи героев и проясняющая их мечты.

Турбин-старший убегает от пуль, всё-таки гибнет во сне, и просыпается со слабой улыбкой и надеждой, что Петлюры больше не будет никогда.

Весёлые поросята, приснившиеся Василисе, и вовсе делают бывшее небывшим: «— Так—то оно и лучше... А то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя...» Правда, потом у тех же поросят вырастают страшные клыки.

Читающий Апокалипсис библиотекарь Русаков от вынесенных в эпиграф строк о Страшном суде переходит к словам о новом небе и новой земле, избавляется от своей болезни и страха жизни: «По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошёл до слов: “...слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло”».

Часовому у бронепоезда «Пролетарий» видятся то пятиконечная звезда Марс, заполняющая, в конце концов, отражениями весь небосвод, то зарытая в снегах родная деревня Малые Чугры.

Во сне Елены попеременно появляются Тальберг с рождественской звездой, поющий арию Демона, и Николка с окровавленной шеей и венчиком с иконками на лбу, поющий частушку «А смерть придёт — помирать будем».

Наконец, Петька Щеглов видит сверкающий алмазный шар на лугу, обдающий его сверкающими брызгами (Ребёнок со своим счастливым сном — едва ли не контрастная рифма к эпилогу «Войны и мира», где вещий сон о будущих катаклизмах видит Николенька Болконский. Содержание же этого сна напоминает о сне другого толстовского героя, Пьера Безухова.).

Финальные строки романа – своеобразное стихотворение в прозе, но уже не экзальтированно-сентиментальное, как в начале, а пророчески-возвышенное, философское. Творится грандиозная мистерия природы: расцветает ночь, занавес Бога покрывается чистыми звёздами, за ним, где-то в неизмеримой высоте, служат всеночную и зажигают огоньки в алтаре. Однако крест над храмом Святого Владимира превращается «в угрожающий острый меч».

«Но он не страшен. Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» – задает повествователь последний безответный вопрос.

Скачок от живописного бытового повествования в область поэтической метафизики не единственный в книге. Первый эпизод двадцатой главы (сцена убийства еврея) завершается горькой сентенцией.

«А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдёт зеленая украинская трава, заплетёт землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать её не будет.

Никто».

На этой высоте скорбный голос повествователя сливается с другими голосами, кажется, бесконечно далёкими от него по жизненному опыту и эстетическим установкам.

«Травой зарастают могилы, – давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших, – время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дожждётся, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...» (Тихий Дон. Кн. 2, ч. 5, гл. 1).

Пути шолоховского казачьего Гамлета и булгаковских белогвардейцев из потерянного поколения временами оказываются параллельными. В каких-то точках сливаются голоса повествователей, пытающихся взглянуть на происходящее откуда-то сверху и издалека.

Ещё раз подобную точку зрения Булгаков демонстрирует в пятой главе. В сне Алексея Турбина убитый ещё в шестнадцатом году вахмистр Жилин является к Богу в рай, встречается там ещё живого в основном романном времени Най-Турса и с удивлением узнаёт, что по соседству апостол Пётр уже приготовил огромную казарму для большевиков, погибших на Перекопе. На недоуменный вопрос, как можно допускать туда безбожников, Бог, как мудрый деревенский старик, отвечает: «Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пуцай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Беда в том, что в «годину смуты и разврата» такие сны видит лишь художник.

6

Между окончанием романа и завершением пьесы «Дни Турбиных» (1926) проходит всего два года. Однако в пьесе авторские трактовка событий и точка зрения существенно изменяются, что объясняется не только законами драмы.

В пьесе смерть входит в дом Турбиных, а не просто останавливается у порога. Здесь гибнет уже не Най-Турс, а Алексей Турбин, превратившийся из врача в полковника-артиллериста, командира дивизиона. С другой стороны, большевики, бывшие в романе страшным мифом, дальним отзвуком, в монологе Мышлаевского (в романе как раз он кричал о вере православной, власти самодержавной) приобретают более конкретные черты спасителей России. Мышлаевский отказывается от предложения Студзинского пробираться на Дон к Деникину, проклинает мерзавцев генералов и соглашается на мобилизацию большевиками, которые изгоняют Петлюру и за которыми «мужики тучей».

Конец спора Студзинского и Мышлаевского предсказывает следующую булгаковскую пьесу.

Студзинский. Была у нас Россия – великая держава.

Мышлаевский. И будет, будет.

Студзинский. Да, будет, – ждите!

Мышлаевский. Препней не будет, новая будет. А ты вот что мне скажи. Когда вас расхлопают на Дону, а что расхлопают, я вам предсказываю, и когда ваш Деникин даст дёру за границу... а я вам это тоже предсказываю, тогда куда?

Студзинский. Также за границу.

Мышлаевский. Нужны вы там, как пушке третье колесо, куда ни приедете, в харю наплюют. Я не поеду, буду здесь, в России. И будь с ней что будет... Ну и конечно, довольно, я закрываю собрание.

В отличие от символического финального многоточия, безответного вопроса «Белой гвардии», в «Днях Турбиных» Булгаков строит концовку на твёрдых точках.

Встреча за праздничным турбинским столом – уже без старшего Турбина – сдвигается из февраля девятнадцатого года на крещенский сочельник. У зажжённой елки прекраснотушный Лариосик произносит высокопарно-поэтический, но, по сути, точный монолог о трудном и страшном времени, жизненных драмах, кремовых шторах, утлом корабле, завершающийся чеховской цитатой «Мы отдохнём, мы отдохнём...» После чего раздаются далекие пушечные удары, комментируемые репликой язвительного Мышлаевского: «Так! Отдохнули!»

Так ещё раз подчеркнута граница между прошлым и настоящим. Самыми страшными тогда, в мире «Дяди Вани», были безрезультатные выстрелы незадачливого влюблённого Войницкого из револьвера, сопровождаемые нелепым «бац». Теперь же счастья Елене Васильевне желают под залпы, под пушечные удары, которые мало кого пугают.

Далее следует резкий стык, контрапункт настоящего и будущего.

Елена. Неужто бой опять?

Шервинский. Нет. Знаете что: это салют.

Мышлаевский. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

Далекая глухая музыка.

...Большевики идут!

Все идут к окну.

Николка. Господа, знаете, сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе.

Студзинский. Для кого – пролог, а для меня – эпилог.

В спектакле МХАТа за сценой пели «Интернационал», но и без этого нажима смысл финала очевиден: некоторые обитатели турбинского дома соглашаются на участие в новой исторической пьесе.

Финальная сцена в романе строилась в философском, метафизическом плане. Пьеса переводит финал в область конкретной истории, сближаясь с проблематикой советской литературы двадцатых годов.

Недопечатанный и изруганный в СССР роман и тоже раскритикованная, но с большим успехом поставленная пьеса вызвали отклики двух лучших критиков русской эмиграции в Париже.

Георгий Адамович, сразу заметив в романе толстовское влияние, толстовское умение изобразить живого человека, а не тип или социальную маску «белогвардейца», так определил смысл авторской позиции: «Но с высот, откуда ему открывается вся “панорама” человеческой жизни, он смотрит на нас с суховатой и довольно грустной усмешкой. Несомненно, эти высоты настолько значительны, что на них сливаются для глаза красное и белое – во всяком случае, эти различия теряют свое значение» («Дни Турбиных» Булгакова, 1927).

Владислав Ходасевич, не только прочитавший книгу, но и увидевший постановку чешского театра, тоже отметил объективность, отстранённость авторской позиции, но объяснил её менее выгодным для Булгакова образом: «Итак, личный моральный уровень людей, составляющих белую гвардию, довольно высок. Но вот тут-то, установив это обстоятельство, автор и наносит белой гвардии свой хорошо рассчитанный удар, вполне согласованный с тем, что полагается о ней говорить и думать в СССР. <...>

Белая гвардия гибнет не оттого, что состоит из дурных людей с дурными целями, но оттого, что никакой настоящей цели и никакого смысла для существования у неё нет. Такова центральная, руководящая мысль Булгакова. <...> Все события пьесы показаны автором как последняя судорога тонущего, обречённого мира, не имеющего во имя чего жить и не верящего в свое спасение» («Смысл и судьба «Белой гвардии», 1931).

Проблема, однако, в том, что булгаковское изображение – не умысел («хорошо рассчитанный удар»), а диагноз. Настоящую цель и смысл, действительно, предложили России большевики (в середине двадцатых годов ещё неясно, какими средствами она будет осуществляться). Они, что для писателя было очень важно, начали постепенно собирать расплавленную империю, подавляя Петлюру, Махно и прочих «самостийников».

В последнем действии «Дней Турбиных» Булгаков делает очевидный и неконъюнктурный шаг навстречу утвердившейся в России власти. Метафизическая безвыходность финала «Белой гвардии» преодолена, разомкнута апелляцией к новым социальным силам. Приход большевиков даёт надежду одним и предсказывает поражение других. За одним столом здесь сидят люди, которые окажутся по разные стороны новых фронтов.

Одна из последних реплик Мышлаевского уже предсказывает сюжет последней «белогвардейской» пьесы: уход из России и возвращение обратно – пусть даже на верную гибель.

«Бег» (1937) – эпилог всего военного цикла, возвращающий атмосферу метафизической безнадежности. Сны здесь – не иррациональное изображение сознания, а жестокое продолжение реальности, которая, в конце каждой сцены, проваливается, погружается во тьму.

В этой тьме исчез и дом Турбиных в Городе, и дом Серафимы на Караванной улице в Петербурге. Местом действия пьесы становятся публичные пространства: монастырь, станция, кабинет контрразведки, константинопольская улица, съемные квартиры в том же Константинополе или Париже.

Главный символ пьесы дан в заглавии. Но этот бег для большинства героев заканчивается не блаженным бреггом бессмертия (как в эпитафии из Жуковского), а самоубийством (Хлудов), скитаниями (Чарнота), попытками забвения или возвращения, кажется, тоже безнадежными.

«Что это было, Серёжа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне. Куда, зачем мы бежали? Фонари на перроне, чёрные мешки... потом зной!.. Я хочу опять на Караванную, я хочу опять увидеть снег! Я хочу всё забыть, как будто ничего не было!» (Серафима).

«Ничего, ничего не было, всё мерещилось! Забудь, забудь! Пройдет месяц, мы доберёмся, мы вернёмся, и тогда пойдёт снег, и наши следы заметёт...» (Голубков).

«Прощайте все! Развязала ты нас, судьба, кто в петлю, кто в Питер, а я как Вечный Жид отныне! Летучий Голландец я! Прощайте!» (Чарнота).

Самый значительный персонаж пьесы – Хлудов. Это безумный рыцарь белого дела, бескорыстный убийца, испытывающий муки совести и способный к раскаянию. Тем значительнее его последние слова. «Поганое царство! Паскудное царство! Тараканы бега!» – произносит он перед самоубийством, то ли определяя своё константинопольское житьё, то ли вспоминая исчезнувшую империю («Всё кончено. Империю Российскую ты проиграл, а в тылу у тебя фонари!» – говорит ему Чарнота), то ли «мира божьего не принимая» (обычный ход мысли идеологических героев Достоевского).

Этот персонаж, отказывающийся сделать бывшее небывшим и выбирающий небытие, предсказывает трагического героя последнего романа Булгакова (над ним уже вовсю идёт работа в тридцатые годы).

Тем же, кто вернулся или остался, выбрал советское бытие (автор «Бега» был среди них), пришлось осваивать новую реальность, *самоцветный быт* двадцатых годов.

ДВА ЭССЕ

ЧЕЛОВЕК СО ВЗДОХОМ

Он был – Иван Иванович. И отец его, и дед по отцу были Иваны Ивановичи тоже.

Зато фамилия прекрасная: Панаев. Настоящая старинная. Правнучатый племянник Державина, и всё такое.

Он родился в 1812 году на берегах Невы. Точней – на правом берегу. Которого линия на протяжении километров восьми – примерно от нынешнего моста Александра Невского до нынешнего моста Володарского и далее – принадлежала отцу его матери. Т. е. Панаев должен был со временем унаследовать почти весь Невский район – всю арендную плату от располагавшихся вдоль берега заводов, складов и мастерских.

Оба деда и отец умерли, когда Иван был ещё мальчик. А мать любила тратить, не любила считать, доходами ведал плут-управляющий – к началу 30-х годов хватало уже только на жизнь. На жизнь в большом собственном доме, с прислугой, с экипажем, с приживалками, но без затей.

Кстати, это Иван Иванович придумал слово: *приживалка*. И ввёл в литературу. Панаеву же были обязаны жизнью *хлыщ*, *лев*, *львица*, *камелия*, но век этих существ оказался недолог. Впрочем, они все удостоены погребения в словаре. Кроме *камелии*, конечно. (Нравы смягчились настолько, что хотя народный термин, обозначающий эту профессию, всё еще используется как главный замедлитель русской речи, но в обиходе светских людей обычно подменяется фонетически близким наименованием тонкой лепёшки из жидкого теста, испечённой на сковородке.)

Литературу он полюбил в Благородном пансионе при СПб. Университете: было такое, специально для дворян, учебное заведение ниже среднего, но с привилегиями высшего. Аттестат давал право на чин 10-го класса (отличникам), 12-го (троечникам), 14-го (остальным). Несмотря на нуль по математике, Панаев получил 10-й (коллежского секретаря), поскольку свободно владел французским и с эффектом произнёс речь о значении русской словесности.

Оставалось приняться за карьеру, по примеру отцовских братьев: дядюшки были довольно важные чиновники. Мамаша мечтала видеть его камер-юнкером.

Панаев обманывал её лет шесть подряд: по утрам уходил из дома, как будто на службу, а сам слонялся по Петербургу. От книжной лавки до книжной лавки, от кондитерской до кондитерской. Затесался в несколько гостиных, где собирались писатели, там и проводил свои вечера. Как заядлый околелитературный трутень: только и делал, что читал и пил. Впрочем, опубликовал две повести, но сам полагал их ничтожными. Не верил в свой талант и не понимал, зачем жить.

В 1834 году с ним случилось нечто важное. Прохаживаясь по Невскому, он заглянул в кондитерскую Вольфа – “Café chinois”, – подошёл, как обычно, к столу, на котором разложены были печатные издания, и взял свежий номер московской «Молвы». Прочитал статью Белинского «Литературные мечтания», впервые почувствовал себя счастливым, с этой минуты сделался его фанатом. Говоря более высоким слогом, обрел в нём властителя своих дум.

Белинский ставил выше всех Шекспира и Фенимора Купера (отчасти колеблясь утвердить окончательно, чей гений выше). Панаев решил их переводить – с французских переводов. В 1836 изготовил «Отелло» и принёс Якову Брянскому – актёру Александринского театра: не возьмёт ли (разумеется, даром) для своего бенефиса. Брянский трагедию взял, в следующем году её сыграли. У Брянского были две красавицы дочери. Старшая, Нимфодора, только что поступила на сцену, и Дездемона была её первая роль. И последняя: в неё влюбился и тотчас женился на ней некто Краевский, чиновник Минпроса, начинающий издатель. Панаев же по хо-

ду репетиций увлёкся младшей дочерью — семнадцатилетней Евдокией, Авдотьей. Но жениться без позволения матери (о котором не могло быть и речи) — значило ввергнуть Авдотью в нищету. Он был человек без определённого положения — работал в журнале Краевский «Отечественные записки», но будущий свояк ничего ему не платил.

Между тем Авдотье дома жилось тяжело. Сценического дарования, — следовательно, мало-мальски интересного будущего — у неё не было. Разве что имелся шанс приглянуться императору и заслужить, по обычаю, приличное приданое. Неизвестно, насколько такая перспектива ужасала молодую особу, но Панаев презирал бы себя, как предателя, если бы не попытался её спасти.

(Всё это — и многое из дальнейшего — описано в романе, всем известном, — «Что делать?» Чернышевского, — но литературная т. н. наука замела следы. Я первый настолько нагл...)

А у Панаева был ещё какой-то дедушка, не то дядюшка — страшный богач и, очевидно, самых честных правил. В конце 1838 года он скончался — и Панаеву досталось по наследству имение в Казанской губернии: большая деревня и лес. Таким образом, Иван Иванович вдруг превратился в самостоятельного хозяйствующего субъекта — стал помещиком. Не теряя ни минуты, он похитил Авдотью Яковлевну, потихоньку с нею обвенчался и увёз в Москву. Где первым делом отыскал Белинского, чтобы уговорить его перебраться в северную столицу и писать для «Отечественных записок». Добившись согласия, съездил в Казанскую губернию, на скорую руку облегчил положение доставшихся ему крестьян (отменил, само собой, барщину и убавил оброк). Оттуда опять в Москву, перезнакомился и за две недели подружился навеки со всеми передовыми людьми (благо их считалось немного: Грановский, Герцен, Огарёв, Кетчер), после чего с молодой женою и с Белинским возвратился домой, в Петербург.

Мать его простила, и вообще жизнь пошла весело и с пользой для литературы.

Он играл с Белинским в карты по маленькой, а также переводил для него и для Eudoxie французские романы и научные труды по истории, по философии: не для печати, а единственно чтобы расширить их кругозор и свой заодно. Всю неделю переводил, а по субботам читал вслух. На эти чтения допускались избранные приятели, понемногу образовался подобный московскому круг передовых людей (Тургенев, Анненков, Григорович, Некрасов). И Белинский произносил потрясающие монологи, писал потрясающие статьи, а сам Панаев писал очень даже недурные повести и фельетоны, и все вокруг только и говорили что об «Отечественных записках». А Eudoxie разливала чай.

Кроме того, она родила девочку. Но девочка очень скоро умерла.

Чтобы развеяться, Панаевы предприняли путешествие за границу.

В Париже Иван Иванович познакомился с отличным, тоже передовым, человеком по имени Григорий Михайлович Толстой. Который поделился с ним своей мечтой: всю жизнь и все силы, главное — всё свое достояние (сотни крестьянских душ и тысячи десятин земли) отдать на борьбу за освобождение человечества. Он уже сделал соответствующее предложение одному немецкому публицисту — доктору Карлу Марксу, — тот отнёсся благосклонно, однако сказал, что должен подумать. А Григорию Михайловичу не терпелось, и он советовался с Панаевым — как быть.

По возвращении в Петербург этот парижский разговор припомнился как нельзя кстати. Белинский был плох. Болел и бедствовал. Его угораздило жениться, и шести тысяч, которые платил ему в год Краевский, не хватало катастрофически. Дружественные литераторы как раз уговорились было собрать альманах (составился уже пухлый том под условным названием «Левиафан») — от кого повесть, от кого статья, и никакого никому гонорара, весь барыш — великому критику. Но теперь возникла идея получше. Имея оборотный капитал, можно было завести новый журнал. В котором Белинский писал бы, что хочет, печатал, кого хочет (ясно, что гениальных друзей), получал бы денег, сколько хочет.

Так всё удачно сложилось, всё необходимое было в наличии. Во-первых, груда первоклассных материалов («Левиафан»); во-вторых, высококвалифицированный менеджер (каким уже проявил себя Некрасов; кстати, Белинский нашел у него и поэтический талант); в-третьих, творческий коллектив из самых ярких русских писателей; в-четвёртых, харизматический лидер. А теперь намечалась, в-пятых, и финансовая база в виде сотен душ этого замечательного Толстого (хотя Панаев планировал и своё доленое участие: решился продать лес).

И летом 1846 года Панаевы и Некрасов отправились к Толстому в гости: обсудить детали, заодно и поохотиться на дупелей, а Eudoxie пусть разливает чай.

Поохотились действительно славно, и договорились обо всем. И вскоре приобрели пребывавший в анабиозе петербургский журнал «Современник», и в 1847 году пустили его в ход.

Правда, Григорий Толстой оказался обыкновенным фанфароном, не дал ни копейки, так что Панаеву пришлось продать не только лес, но и деревню.

И передавать редакцию Белинскому оказалось неразумно. Некрасов считал: это было бы всё равно что расписаться в политической неблагонадёжности, да и просто – никто не позволит. И долю в прибыли выписывать умирающему нелепо, разбирайся потом с вдовой. Белинский действительно умирал – и в 1848 году умер. Панаеву тоже никакого пая не досталось, верней – неудобно стало насчёт него спрашивать, поскольку выяснилось, что Некрасов и Авдотья Яковлевна, что называется, любят друг друга, и теперь они с Панаевым (предполагалось и прибавление) – одна семья, с общим бюджетом, в коммунальной, стало быть, квартире.

Как это выяснилось и устроилось – рассказано (пересочинено) опять же в романе «Что делать?». Дескать, Лопухов сам уговорил Кирсанова и сам развеял предрассудки Веры Павловны. («– Муча себя, ты будешь мучить меня.

– Так, мой милый; но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое – ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне! я проклинаю его!

– Как оно родилось, зачем оно родилось, – это всё равно, этого уже нельзя переменить. Теперь остаётся только один выбор: или чтобы ты страдала – и я страдал через это; или чтобы ты перестала страдать – и я также».)

Чернышевский вообще симпатизировал Авдотье Яковлевне. Хотя, как сам кое-кому после говорил:

– Невозможная она была женщина.

На самом-то деле она просто была принципиальная. Но принцип у нее был один: не отказывать себе ни в чём. И она никогда им не поступалась.

У Некрасова принципов было несколько разных.

Жизнь этой странной семьи протекала как сплошной скандал. То он занеможет и всю Россию заставит его оплакивать, пока Авдотья Яковлевна не найдёт толкового врача, способного отличить от горловой чахотки тривиальный сифилис. То её потянут к суду за кражу больших денег у близкой подруги, а Некрасову платить, да еще терпеть от Герцена презрительную брань.

Любовь и деньги шли тёмными волнами – прибывали, убывали. Обходя Панаева.

Пока Некрасов с его как бы женой мирился и ссорился, разъезжался и съезжался в Париже и в Риме – и сочинял про всё про это стихи для «Современника», – Иван Иванович редактировал журнал и вообще занимался исключительно литературой. Попивал – но слегка, насколько позволяли гонорары. Вообще – приближаясь к пятидесяти, окончательно присмирел. Говорил, прикладывая руку к груди: я человек со вздохом.

– Я знаю, что мои писания с точки зрения высшей, с художественной точки рассматривать нельзя, да я и не имел никогда на это претензии; я на них смотрел всегда как на беллетристические произведения, удовлетворяющие требованиям минуты, способствующие журналу так, как неглупый и небезталантливый актёр способствует ходу пьесы, в которой играют высшие таланты. Я себя считаю литературно полезностью (utilité), вот и всё. Мне было бы только тяжело расстаться с этим убеждением...

Последний день масленицы 1862 года прошёл так: Некрасов отправился, по обыкновению, в Английский клуб, Панаев – к двоюродной сестре на блины (тонкие лепёшки из жидкого теста, испечённые на сковороде), Eudoxie – в театр.

Спектакль ей надоел, она уехала, не досмотрев последнего акта. Дома лакей сказал, что Иван Иванович дурно себя чувствует. Она зашла в его комнату. Он лежал на кровати, но приподнялся, сказал:

– Прости, я во многом ви...

На этом умер. А она и Некрасов жили ещё долго и несчастливо.

Иван Иванович всегда, возвращаясь с чьих-нибудь похорон, говорил ей, «что не желал бы лежать ни на одном из петербургских кладбищ, кроме Фарфорового завода, расположенного на возвышенном, песчаном берегу Невы».

Поэтому могилы Панаева не существует. Там, где она была, – станция метро.

ЗЛАК ЗЕМНОЙ

Суки дорожной ради – отчего бы и не поворошить чужую тайну? Верней – насыпанную над нею груду слов.

Добудем из-под басни – сплетню. Это, по крайней мере, жанр взрослых людей: подтверждает, что жить не умеет никто; тем самым утешает.

О женщинах (по крайней мере, о своих) Фёдор Тютчев думал – как бы это сказать? – не по долгу. Гораздо больше, чем о детях, но меньше, чем, например, о стихах.

Это не мешало им (разумею женщин) поочерёдно разорять и благоустраивать его жизнь, разорять и благоустраивать, словно какое-нибудь завоёванное королевство. И он переходил из рук в руки, не оказывая сопротивления. Будучи постоянно занят заботами поважней.

Если бы, скажем, цыганка нагадала Тютчеву, что через двести лет его будут помнить лишь как поэта, – он только усмехнулся бы снисходительно. Для себя – и для всех, кто его любил, – он был пророк.

Теперь это называется – политтехнолог, политконсультант, правильной всего – политсценарист. Человек, умеющий вообразить последствия происходящих событий. Уловить смысл своего времени – как бы разгадать, куда клонится сюжет сериала и кого какая ждёт судьба.

Европейские державы были для Тютчева живые существа с человеческими характерами, толпящиеся вокруг огромного игорного стола. Себя же он чувствовал зрителем – но каким! Единственный в зале, он знал расклад и, сверх того, умел читать мысли. Тот из игроков, кто прислушался бы к его шёпоту, неизбежно сорвал бы банк.

Император Николай, вообще-то, был извещён, что, дескать, есть в МИДе чиновник с таким удивительным даром. Прочитал пару меморандумов с прогнозами. Ничему не поверил.

И, конечно, был прав: прогнозы строились на таких диагнозах, которые свидетельствовали только о пламенной любви камергера Тютчева к отчизне, где он четверть века отсутствовал. Типа того, что если российское самодержавие, как истинный оплот демократии, не примет срочных мер, то Западной Европе – конец: её ждёт всеобщая революция, вслед за которой восторжествует диктатура Папы Римского. И т. д., и т. п.

Короче, Тютчев был праздный мечтатель. Пикейный жилет. Но красноречивый неотразимо, поскольку предсказывал то, что предчувствовал. Искренне принимая свою личную хроническую тревогу – за гениальность.

Перед которой ни одна слушательница устоять не могла.

Уж на что практичная дама была вторая супруга (урожденная Пфэффель, в прежнем браке баронесса Дёрнберг). До того трезво смотрела на вещи, что, начиная прямо с медового месяца, сохраняла все счета, по которым платила за Тютчева и его дочерей, когда он на несколько лет был отставлен (из-за неё, между прочим) от должности и оклада. Но вот что писала из Петербурга (в 1850 году) мюнхенскому кузену:

«Он думает (он – мой муж), что в интересах ваших детей, в частности ради будущего вашего сына, вам следует до наступления новых катастроф реализовать ваше состояние и переселиться всем домом в Россию, где с вашими капиталами вы ещё сможете приобрести земли на юге, получать хороший доход, воспитать сына для русской службы и выбраться из крушения, которого, по его мнению, Западной Европе совершенно невозможно избежать. Что до меня, дорогой друг, я уверена в его правоте и очень хотела бы внушить вам свою убежденность...»

И все они так понимали: что у Тютчева сверхчеловеческий ум, и сам он не совсем человек, а высшее существо. И чуть ли не каждая говорила ему, что готова в любую минуту за него умереть (он это пересказывал – им в похвалу). И каждая была убеждена: во-первых, что не нужна ему; а во-вторых, что без неё он пропадет. И то и другое, разумеется, было правдой.

К своему счастью, они не читали его стихов. Одна Денисьева, к своему несчастью, читала (и приходила в такое исступление, что швыряла ему в голову тяжёлые предметы; чуть не убила однажды каким-то пресс-папье; но всё равно требовала стихов ещё и ещё).

Он писал про любовь, которой в нем нет или уже нет, или даже никогда не было. (Денисьевой – просто с какой-то иезуитской прямоотой: дескать, прямо восхищаюсь и завидую – до чего сильно ты меня любишь; даже совестно, что мне так чувствовать не дано.)

1835 год, Мюнхен, дом где-то на Каролинентрассе, кабинет, камин, кресло, сигара. Тщедушный большоголовый карлик в круглых очках.

Сижу задумчив и один (слышен акцент, не правда ли?),
На потухающий камин
Сквозь слёз гляжу...
С тоскою мыслю о былом,

Но слов, в унынии моем,
Не нахожу.

Былое – было ли когда?..
Что ныне – будет ли всегда?..

И т. д. Разные общие места, с носовым таким призвуком. Всё проходит, благодаря чему природа обновляется; и ты, земной знак по имени человек, знай своё место в круговороте и не ропщи, поскольку на смену тебе придут другие такие же растения.

Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветёшь...

Ты сорван был моей рукой
С каким блаженством и тоской –
То знает Бог?
Покойся ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох...

Немножко забавно: цветок на груди у злака. Но первая m-me Тютчева – Эмилия-Элеонора, урожденная графиня Ботмер, в предыдущем браке – Петерсон, владеет она русским языком, рыдала бы всю ночь, вникнув, что тут ведь не обещание любить до последнего вздоха, – наоборот: ожидание последнего вздоха любви!

А наутро, глядишь, раздумалась бы: неужели это про неё Теодор сочиняет, что сорвал её, как цветок? Про женщину старше себя, мать четверых сыновей, изменявшую Петерсону с ним, тогда двадцатидвухлетним?

Но если не про неё, то кто же сей бедный, бледный цвет? Не Эрнестина же Дёрнберг, та очень даже яркая. Да и тоже вдовушка, не ландыш.

Амалия Лёрхенфельд? Она теперь Крюденер, и далеко, в Петербурге, и флиртует с императором...

Ботмеры – странный род, причудливые люди. С Элеоноры стало бы обыскать ящики письменного стола.

И ей, чего доброго, попался бы на глаза ещё и такой листок:

ДВУМ СЁСТРАМ

Обеих вас я видел вместе –
И всю тебя узнал я в ней..
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж свежесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!..

И всё, как в зеркале волшебном,
Всё обозначилось вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

Давнишнее стихотворение – 1829 еще года, – и в нём уж недомолвок никаких. Это точно про неё, про Элеонору – что свою молодость отдала другому. Это про любовь к ней – погибшая любовь! А та – прекрасное отражение – конечно, Клотильда.

Клотильда, графиня Ботмер! Младшая, неразлучная сестра. Сколько ей было, когда Тютчев появился в Мюнхене, – тринадцать, четырнадцать? В 29-м – двадцать. У неё с Гейне всё уже было кончено. А пока продолжалось, Теодор не ревновал, вчетвером было так весело. Его погибшая любовь! Погибшая любовь!

Это всё беллетристика. Русский язык труден, изучать его Элеоноре, рожавшей за дочерью дочь, было некогда.

И текст 1836 года остался ей неизвестен:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь...

И т. д. Ни этих строф, ни, само собой, «Лолиты» не прочитав, бедная Элеонора, тем не менее, в том же 1836 году, в начале мая (когда весенний первый гром), почувствовала «неизъяснимую тоску и желание освободиться от неё во что бы то ни стало... Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. Вид стали приковал её внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь... Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в трехстах шагах от дома, падает без чувств...»

Умерла она, впрочем, только в 1838 году, после пожара на пароходе, долго рассказывать.

Тютчев был буквально убит (по семейной легенде – посидел за одну ночь), буквально сходил с ума (в письмах к Жуковскому и другим) и появился на публике об руку с баронессой Дёрнберг только через полгода.

Тотчас же Клотильда Ботмер, взявшая было осиротевших племянниц к себе, уведомила его письмом, что приняла предложение барона Мальтица.

Это было очень кстати: ввиду беременности Эрнестины откладывать венчание на сколько-нибудь приличный срок не приходилось. Тютчев написал министру:

«Мною было принято твердое решение надолго еще отсрочить этот шаг. Однако одно обстоятельство, касающееся моих детей, поневоле вынуждает меня к другому решению. Я поручил их прошлой осенью заботам своей свояченицы, графини Ботмер, живущей в Мюнхене. Последняя в будущем месяце выходит замуж и тотчас же после свадьбы должна уехать из Мюнхена в Гаагу. Итак, я вижу себя вынужденным, взяв их к себе, как можно скорее озаботиться о том, чтобы доставить им необходимый уход и надзор, которые я один не мог бы им обеспечить...»

Вот, стало быть, и дети пригодились. И были вознаграждены. Во всяком случае, их бабушку и бабушку (своих, то есть, папеньку и маменьку) в далёком Овстуге Тютчев порадовал:

«...Меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом... Я не буду говорить вам про её любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы её чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это её нежностью к детям и заботой о них... Утрата, понесённая ими, для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Мюнхен мы взяли их к себе, и две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери...»

Впоследствии оказалось, что всё не так замечательно. И старшая дочь – Анна – записала монолог:

«— Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провёл их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними всё исчезло безвозвратно. Теперь та пора моей жизни – всего лишь далёкая точка, которая отдаляется все более и более и которую настичь ты не могу...»

Предстоял еще роман, и за ним – трагикомическая старость.

В которой под конец – после всего – случилось и свидание с г-жой Мальтиц. И было воспето подобающим образом – с галантным таким, расслабленным умилением:

...Как после вековой разлуки
Гляжу на вас, как бы во сне,

И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Вообще так себе стишки — тенором, тенором! — если бы не инициалы **К. Б.** над ними да не восклицательный знак в конце:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Из наслаждений жизни любовь уступает лишь иностранным газетам.
Но хорошо, что предсказание ни одно не сбылось.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ «ЕВРЕЙСКОГО ВЕКА»

На фоне нового обострения «еврейского вопроса», обречённого, кажется, на утомительную вечность, Юрий Слёзкин (выходец из России, ныне профессор Беркли) назвал свою книгу вызывающе: «The Jewish Century» (Princeton University Press, 2005). Быть может, ему надоело, что слово «еврей» ассоциируется лишь с Холокостом и кризисом на Ближнем Востоке. Он ищет ему другие смыслы и на иных путях. «Современная эра – еврейская эра, а 20-й век – еврейский век... Модернизация – это когда все становятся евреями... Век национализма – это когда каждая нация становится еврейской... Время евреев было также веком антисемитизма». Автор не боится полемики, он, что называется, идёт на грозу. Гигантский, как и подобает американскому профессору, материал, напор статистических данных может послужить «первоисточником» как для отъявленного еврейского националиста, так и для оголтелого антисемита. Как минимум, книга будоражит. С автором хочется соглашаться, противоречить, симпатизировать, скандалить. В книге четыре главы, из которых каждая могла бы послужить темой для диссертаций так же, как и для романов (евреи и другие кочевники, евреи и другие европейцы, евреи и русская революция, евреи и три Земли Обетованные). Разумеется, эти краткие заметки могут затронуть лишь одну-другую точку на поверхности айсберга ...

1. The jewish century

Пафосу привычной оппозиции «аполлонического» и «дионисийского» наш автор противопоставляет оппозицию людей Аполлона и людей Меркурия. Если «аполлонийцы» (они же на досуге «дионисийцы») – земледельцы, воины, князья – короче, «местные», то «меркурианцы» – те, кто «не пасет стада, не возделывает землю, не живет мечом» – «пришлые». Их главный ресурс – «люди, а не природа». Их специальность – «иностранные дела», они суть «защитники мастерства, искусства и хитроумия», наследники Улисса. И дело даже не столько в том, что они «странники и скитальцы», сколько в том, что в пределах аграрного уклада они «чужие», и именно в качестве «чужих» («других») они только и могли заниматься тем, что для «аполлонийцев» было «табу» или не принято, но для общественной жизни необходимо – будь то денежные операции, врачевание или посредничество. Существование, нередко основанное на взаимном недоверии, презрении, иногда на гонении было, таким образом, взаимовыгодно.

Едва ли надо упоминать, что, лишь утратив историческую родину и перейдя на положение странников, евреи диаспоры оказались образцовыми людьми Меркурия. Религиозная и даже этническая коннотации слова «еврей» теряют у Слёзкина авторитет, уступая место функции: быть «чужими» со всеми вытекающими последствиями. Тем самым они встраиваются в длинный ряд этнических, религиозных и прочих переселенческих групп меркурианского толка.... Встречая на улицах Варанаси религиозных джайнов в белых одеждах, с метёлочкой, чтобы не раздавить букашку, я и не подозревала, что в диаспоре они преуспели в банковских операциях, а «по объёму международной торговли алмазами уступают только евреям»; что бомбейские парсы-зороастрийцы «стали видными финансистами... Британской Индии». («Ницше не знал, – заметил не без ехидства парсийский поэт Адил Джуссавала, – что сверхчеловек Заратустра приходился

евреям родным братом»; а ныне самую большую меркурианскую общину составляют заокеанские китайцы.

Символический статус «чужого», по мнению Слёзкина, «народу Книги» обеспечило, однако, то обстоятельство, что странническая судьба забросила его в колыбель прогресса и грядущего капитализма — в Европу. Автор нигде не ссылается на школу Анналов, но представить себе подобный поворот темы помимо её исследований, обративших внимание на ментальные, экономические и прочие цивилизационные процессы — вместо деяний правителей и восстаний народов — трудно. С этой точки зрения становится понятно, почему евреи — исконно грамотные, поневоле кочевые, причастные ресурсам лишь денег и образования — становятся двигателем и резервом капитализма. По меткому замечанию автора, «евреями» петровской Руси были немцы, приглашенные царём в качестве «других». «Русские немцы были для России тем, чем немецкие евреи для Германии». В этой системе координат даже метафора «евреи и протестанты» не выглядит нон-сенсом, ибо именно протестанты Макса Вебера открыли «чопорно-безрадостный и морально-безукоризненный способ быть евреями» и строить капитализм в Новом Свете.

2. Эра Меркурия

Русское издание книги Слёзкина, наступающее на пятки оригиналу, озаглавлено эвфемизмом: «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» (НЛО, 2005). Ибо не только в позднесоветской, но и в постсоветской России, пережившей очередной «исход» реальных евреев, «еврейский вопрос» остался в числе «проклятых». Никто иной, как Солженицын, призвал евреев признать «моральную ответственность» и «коллективную вину» соучастия в Октябрьской революции и покаяться «за долю расстрелов... за свою долю в коллективизации... во всех мерзостях советского управления» (в чём, кстати, не покаяться и титульная нация). Слёзкин, не отягощенный российскими табу на все советское, приводит практические резоны «засилья евреев», высказанные первым большевистским комиссаром просвещения Луначарским: «...дело объясняется очень просто: нашу революцию сделало городское население, оно по преимуществу и заняло руководящее положение, среди него еврейство составляет значительный процент». Но не это житейское объяснение артикулирует автор и даже не то очевидное обстоятельство, что процент жертв не уступал проценту деятелей революции и террора среди евреев. Главное, что для них — комиссаров или нэпманов, чекистов или «врагов народа», учёных и деятелей искусства — этнический и религиозный признак не был, как нынче говорят, релевантным. Что бы — дурное или славное, с любой точки зрения, — они ни совершили, они совершали не как евреи. Ибо внутри потрясшей мир русской революции произошла, как показывает автор, еврейская революция, исход меркурианцев в аполлонийскую культуру, бунт против отцов (об одном из таких ранних бунтарей, Аврааме-Урии Ковнере, мне пришлось писать). Отдавшись стихии русского языка, культуры и истории, они влились в русскую, потом советскую интеллигенцию в качестве революционеров, «лишенцев», инженеров, врачей, учителей («служащих»), управленцев всех уровней и художников всех видов творчества, приняв понятие «интеллигенция» как символ веры и как судьбу. Нацизм и война принесли с собой то, что можно назвать вторичной «этнизацией» советских евреев. «Проклятый вопрос» возродился из пепла крематориев в виде пресловутого «пятого пункта».

Очередная российская революция принесла с собой кличку «русскоязычные». Слово не воробей: еврейские интеллигенты русского разлива и впрямь были усыновлены «великим и могучим»; они ответили ему такими именами, как Мандельштам, Пастернак, Бродский... Но вернемся к Слёзкину.

Четвёртая глава «Евреи и три Земли Обетованные» отслеживает параллельную (что является «know how» автора) историю трёх эмиграций в 20-м веке. В качестве приёма он выбирает сюжет Тевье-молочника и его дочерей, не раз инсценированный советским театром, а на Западе более известный по мюзиклу «Скрипач на крыше». Подобно тому, как американский мюзикл принаравливает Шолом-Алейхема к самосознанию эмиграции, так и автор книги переналаживает будущее дочерей Тевье для притчи о «трёх дорогах». Они призваны олицетворить тех, кто остался (Цейтл), а также эмигрировал из местечка в Америку (Бейлка), Палестину (Хава) и в СССР (Годл) — переезд из «черты оседлости» в Россию приравнивается к эмиграции. При этом верные местечку (таких тоже было немало) выступают у автора лишь в символическом значении жертв Холокоста. Зато драматические перипетии трех эмиграций в обстоятельствах «поистине жестокого» 20-го века занимают почти половину работы и являются книгой в книге.

3. На распутии трёх дорог...

...Размечая карту меркурианско-аполлонийских маршрутов бывших обитателей местечка, автор постулирует, что США «олицетворяли неприкрытое меркурианство», земля Израйля – «безудержный аполлонизм», а советская Россия – «конец всех различий и окончательное слияние всего меркурианского и аполлонийского». При этом «Новым светом» казалась тогда вовсе не Америка, а Палестина и, более всего, СССР. «Три дороги» сделали евреев на некоторое время оселком истории. Как сказано, охватить огромную, фундированную работу Слэзкина на этих страницах невозможно, и я ограничусь замечаниями на полях. Революция действительно одним махом уравнила в правах евреев (так же, как и женщин), и это в её «списке благодеяний» были козыри. Вопреки постсоветским стереотипам простой перелицовки истории наизнанку автор даёт себе труд принять во внимание дух эпохи «войн и революций» и вернуть эмигрантам в страну объявленного социализма его первоначальный «challenge». В аграрной стране им действительно сопутствовала «привилегия»: веками воспитанная тяга к образованию (теперь нечто подобное можно наблюдать в китайской диаспоре). Она перекрывалась то «непролетарско-некрестьянским», а то и прямо «буржуазным» происхождением, но чаще всего приводила всё же в ряды малоуважаемой «прослойки», как тогда именовали интеллигенцию. Из огромного спектра еврейского присутствия – от вождей-комиссаров-идеологов-чекистки, от наркомов и командиров пятилетки, а также беспартийных «спецов», аполитичных ученых, ИТР всех профессий, бессчётных учительниц и врачей до ушлых нэпманов и затаившихся «бывших» (вроде ювелирши, в квартиру которой вселился булгаковский Воланд) – из сажающих и сажаемых, награждаемых, расстреливаемых, трудящихся в поте лица и в лагерях – автор выбирает один извод: «очарованных странников». Дети Годл (которую автор самостийно наделил статусом «старой большевички»), «лобастые мальчики невиданной революции», пережившие своё «счастливое сталинское детство», боевую комсомольскую юность, Отечественную войну, зачисленные впоследствии в «безродные космополиты» и ставшие диссидентами, эмигрантами и авторами мемуаров, они «оглянулись во гневе» и осудили свои утраченные иллюзии, иначе – выбор Годл. Как правило, мемуары пишут люди «пассионарные». Лев Копелев и Рая Орлова, цитируемые автором, были моими дорогими друзьями, но у меня – по обстоятельствам жизни и характера – не было комсомольской юности с раскулачиваниями, чистками и прочим «списком преступлений», но не было и ГУЛАГа – и таких всё же большинство. Но что было общим для всего поколения детей Годл – это отсутствие национализма (тогдашнее весёлое слово «интернационализм» нынче звучит почти обценно). А также причастие Пушкина, к которому Слэзкин относится с особой язвительностью. Дискрепанс между врожденной этничностью и благоприобретенными языком и культурой, перед лицом которых советское прошлое оставило поколение детей Годл, каждый решает сам для себя. В пределе это и есть проблема ассимиляции.

Из сородичей, избравших в те поры наиболее консервативный путь в Америку, автор, верный себе, выделяет примерно тот же извод ангажированных политических активистов. «Самое замечательное в довоенной истории еврейских студентов в Советском Союзе и Соединенных Штатах состояло в том, что в то время, как советские вузы выращивали коммунистов, американские тоже выращивали коммунистов». Разумеется, доля пассионариев там и тут была существенно меньше доли рядовых строителей – как капитализма (который переживал эпоху кризисов и «гроздьев гнева»), так и социализма (который казался маяком). Но, действительно – история величия и падения «левой утопии» в присутствии и при участии СССР, а также евреев – одна из самых впечатляющих и драматических в 20-м веке. Судьбы ровесников и детей Бейлки она все же не исчерпывает. Сошлюсь для примера на книгу Neal Gabler «An Empire of Their Own. How the Jews Invented Hollywood». Она посвящена другому изводу – бедняков из Восточной Европы, неласково встреченных новой родиной, но, как истые меркурианцы, поспевших к колыбели бастарда высоких искусств – кино. Им выпало выпестовать не только новую индустрию, но – с помощью «гения студий» – собственную мечту об Америке, оказавшейся на поверку знаменитой American Dream. Чаще всего они были ярыми антикоммунистами. Зато их утопия, осуществлённая в целлулоиде, оказалась наименее разрушительной и наиболее терапевтической. Секрет их успеха, впрочем, изложен у Слэзкина, в его общей теории меркурианства.

Что касается Палестины, то «попытка создать «нормальное» еврейское государство, – пишет Слэзкин, – привела к созданию удивительно анахроничного исключения» – духа завязатого аполлонизма во времена повальной меркуризации. Действительно, задача стать «местными» для выходцев из диаспоры была не менее сложна, нежели нынешняя российская головоломка

перехода от социализма обратно к капитализму. Автора как всегда интересует судьба наиболее пассионарного извода – палестинских пионеров. Впрочем, ставши земледельцами и воинами, они сумели доказать, что почти первобытная коммуна в масштабах «киббуца» не вовсе утопия, и выиграть свои первые войны. Но понятно, что ситуация вечно «осажденной крепости» (на которую так любил ссылаться тов. Сталин на очередном витке репрессий) плохо способствует становлению меркурианского или более привычно, демократического и экономически развитого общества в краю «местных». Впрочем, если отвлечься от сегодняшних тревог текущей политики и заглянуть в человеческую мозаику Израиля, то надо будет признать, что жизнь ещё раз сделала судьбу евреев испытательным стендом для будущего человечества. Кто хоть раз был в Израиле и наблюдал, какую «смесь имен и лиц, племен, наречий, разговоров» представляет эта малогабаритная страна, где не размежуеться ни на соединенные штаты, ни на республики – сабра и прочих – русских, немецких, украинских, грузинских, эфиопских, бухарских, китайских и прочих выходцев, тот невольно задаётся вопросом о будущем нашей ставшей небольшой и уязвимой планеты. Сумеет ли это человечество в миниатюре найти *modus vivendi* для потомков евреев, читающих слева направо и справа налево; для смотрящих Интернет, сидя на стуле и на ковре; для кошерных и нет; для белых, чёрных, жёлтых – по сути, людей разных рас, но одной «химической национальности», по Слёзкину? That is the question. («Гамлет»).

... Слёзкин заканчивает историю трёх эмиграций чем-то вроде эпилога и тут, странным образом, уподобляется им же описанным пророкам утопий. Итак, Цейтл и её дети, оставшиеся анонимными, погибли, обеспечив прочим статус жертвы, а нацизму – абсолютного зла. Дети Годл осудили свой путь и, тем самым, её выбор. «Еврейская революция кончилась вместе с русской». Дети Хавы (которая, впрочем, и не отправлялась в Палестину) ищут баланс между государственностью и этничностью. В выигрыше оказались американские наследники скромной Бейлки и сомнительного Педоцура. Но если киномагнаты практиковали свою этничность приватно, дома, создав на вынос блеск и нищету Голливуда, то в нынешней меркурианской Америке этничность стала не только респектабельна, но престижна.. «Национализм как таковой одержал победу над социализмом». Ладно бы, если бы на стр. 452 автор не употребил по тому же поводу слово «окончательно». Если бы речь шла о *Fin de siecle*, а не о своего рода «конце истории». Но конец истории в лучшем случае конец того, что данный автор под этим подразумевает.

Дело, разумеется, не в несостоятельном социализме советского образца, да и не в современном взрыве этничностей ввиду унификации образа жизни. Дело в том, что жизнь вообще не пишет эпилогов. Она видоизменяется: в Мальстреме глобализации и анти, демографических кризисов и бумов, необъявленного кочевничества народов, их сшибок и смешения, старых и новых способов военных действий. Книга едва успела появиться, но многое уже изменилось. Все ли и повсюду ли разделяют постулаты автора о жертве и абсолютном зле? Действительно ли нынче «для большинства людей в большинстве обществ «стремление к счастью» означает стремление к плодовитости и воспитанию детей»? Навсегда ли похоронена «великая левая утопия»? Поиски общей идеи (в пределе Бога)? Надежда на внеземной разум? Что день грядущий нам готовит?

...Впрочем, книгу с вызывающим названием автор и сам заканчивает вопросом вопросов Тевье-молочника: «Что такое еврей и нееврей? И зачем Бог создал евреев и неевреев?»...

ЭМИГРАЦИЯ КАК УХОД ИЗ ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ

К выходу романа Л.Гиршовича «Обмененные головы» по-французски. Интервью для журнала «Трансфюз» взяла РАШЕЛЬ НЭФ.

– Что побудило Вас написать эту книгу? На какого читателя она рассчитана?

Идея написания романа возникла под влиянием двух обстоятельств. Первое. К тому времени я уже восемь лет, как жил в Германии и у меня появился новый жизненный опыт, если угодно, строительный материал, который хотелось использовать. И второе. Я соблазнился перспективой литературного заработка в надежде, что остросюжетная книга, к тому же под соусом «Германия глазами иностранца», да еще русского еврея, может заинтересовать немецкого читателя, тем паче, что интеллектуальный пошиб, когда он необременителен, льстит читательскому самолюбию. Увы, всё вышло с точностью до наоборот. Книга имела успех в России, в течение десяти лет трижды переиздавалась (не считая журнальной публикации в Израиле), но немецкими издательствами была отвергнута с нескрываемым раздражением, порой в оскорбительной манере. Очевидно, я задел какие-то струнки, задевать которые нельзя. Мне-то казалось, что всё «обидное» для немцев сбалансировано достаточно неприязненным отношением к антинемецкому пафосу в духе «не забудем, не простим», за которым нередко стоит политическая или иная корысть, порой даже неосознанная.

– Какой Вам представляется Ваша литературная родословная?

Говоря о своей литературной родословной, я не скажу ничего такого, чего не мог бы сказать о себе любой пишущий: от Гомера и Библии до Пруста и Толстого — всё мое. Пожалуй, я всегда несколько робел перед английской литературой. Насколько мои политические симпатии носят атлантический характер, настолько же эстетически я континентален. Но то, что Англия мне не по зубам, моя проблема. Как мечтатель, я вписан в треугольник Франция — Германия — Россия. Как русский писатель (в праве считаться таковым мне, впрочем, часто отказывают, и не только в силу расового предубеждения: меня упрекают в отсутствии «русской духовности», русской проблематики, наконец, в «нелюбви к России», с чем я даже не очень спорю, о'кэй, я — «русско-еврейский», «русскоязычный»), — так вот, как писатель, пишущий по-русски, я, естественно, нахожусь в особых — языковых — отношениях с русской литературой. Для меня она как бы набрана более крупным шрифтом. Но, вообще, упомянуть интереснее не тех, от кого ты произошёл, а тех, кому ты ничем не обязан, это показательней. Я почти не читал Тургенева, несколько раз принимался и тут же срывался. Назову Чехова, которого, как и всякий русский, я знаю хорошо, но не люблю — особенно его драматургию — элементарно не люблю читать, хотя, как мазохист, регулярно этим занимаюсь. Ещё лет десять назад я бы включил в свой антиканон «Доктора Живаго», но вдруг всё перевернулось, и этот роман для меня, наряду с «Чевенгуром» Платонова и «Даром» Набокова, теперь является главным русским романом двадцатого века, одним из трёх китов, на которых стоит русская проза минувшего столетия. К сожалению, я не представляю себе «Дар» и «Чевенгур» адекватно переведёнными и боюсь, что иностранный читатель никогда не сможет их оценить. Так Монтерлан в своих «Дневниках» пишет, что «Мёртвые души» плохая книга. Уверю Вас, Гоголь тут ни при чём. Чтобы перевести «Мертвые души», надо быть гениальным переводчиком — недавно появился новый французский перевод, может, это тот самый случай?

Говоря о русской прозе, надо помнить, что в двадцатом веке её проутюжил такой каток террора в соединении с директивами, как писать (как Лев Толстой, марширующий по Красной

площади в крестьянской рубаше с красным знаменем в мозолистых руках), что русская литература превратилась в карикатуру на самоё себя. Даже тот, кто, рискуя всем, пытался сохранить независимость, в действительности мало чем отличался от выдрессированных властью авторов – точно так же маршировал с флагом, только другой политической окраски.

– Название романа «Обменённые головы» взято Вами у Томаса Манна. Какая здесь связь?

Неудивительно, что постмодернистский текст, который в идеале, по словам Вальтера Бениамина, должен состоять из одних цитат, своим названием избирает название другого сочинения – малоизвестной повести Томаса Манна. Сюжетная перекличка налицо, с тою лишь разницей, что в романе дело представлено так, будто Томас Манн позаимствовал название у композитора Кунце, одного из моих персонажей. Я использую всякую возможность, чтобы породить у читателя иллюзию правдоподобия – чтобы читатель бросился искать в энциклопедическом словаре фамилию Кунце. С русскими читателями это случалось.

В ранней, «донабоковской», «допрустовской» юности я сотворил себе из Томаса Манна кумира. Я «исходил его вдоль и поперёк», чтобы потом с меньшим же пылом отречься – так отрекаются от низвергнутого божества. Сегодня Томас Манн «Буденброкков» мне милей Томаса Манна «Волшебной горы» – признание, лет сорок назад показавшееся бы мне кощунством. В Томасе Манне есть та же «опосредствованность», та же экспозиция своей «культурности», что и у Юнгера – у последнего она совершенно чудовищна: смотрите на нас, сейчас мы любимся природой, сейчас мы размышляем о судьбах мира, сейчас мы грешим...

Возвращаясь к вопросу о названии романа – почему он назван так, а не по-другому? Признаться, я не очень долго об этом думал, в конце концов, он должен как-то называться. Книги сживаются со своими названиями, как люди с именами (что бы там ни писал по этому поводу Стерн в «Тристраме Шенди»). Первоначальное, рабочее название было «Памяти Хичкока», о чём я пишу в примечаниях. Но это было бы то же, что назвать роман «Береги себя», или «Бога ради», или еще как-нибудь в этом роде.

– В Вашем романе «Прайс» было создано некое воображаемое пространство. Является ли Ваша Германия таким же вымышленным миром? Ваше отношение к Германии?

Я из тех русских, о ком Пушкин говорил, что они «ленивы и нелюбопытны». Немецкого толком не знаю, вожусь с себе подобными эмигрантами. Я глухонемой, наделённый острым зрением и компенсирующий семантический голод воображением. Это не жизнь, конечно, но для писателя моего склада это не так уж плохо. Как сказал Андрей Битов, одни живут, другие пишут. Так что предоставляю Вам решать, насколько моя Германия – сон, а насколько – явь. Если же говорить о моём отношении к этой стране (т. е. об отношении еврея к Германии), то Германия подобна жизненно важному органу, не знаю какому – сердцу, печени, легким, – без которого наше существование невозможно. Когда у человека порок сердца, требуется хирургическое вмешательство. Сегодня пациент выздоровел.

– Роль музыки в книге огромна. Создаётся впечатление, что европейская культура, да и история, для Вас замешаны на музыке.

Та музыка, которая, согласно Пушкину, уступает лишь «одной любви», есть порождение христианства. Я буду неприлично краток и несколько упрощу ситуацию. В европейской музыке нашла своё абсолютное выражение идея отпущения греха через разрешение диссонанса в консонанс. Тоника – субдоминанта – доминанта – тоника – формула спасения души. Такая музыка, просуществовав несколько веков, прекратила своё существование. Я её вечный пленник.

– Можно ли считать авторские примечания в конце книги частью самого произведения, еще одним её художественным пластом?

Роман писался в 1988 году. Ко второму изданию (1995 год) я написал примечания: многое ускользало от читательского понимания – отчасти потому, что для живших в России западные

реалии всё еще оставались непонятными (теперь это уже не так), но также требовались некоторые разъяснения и безотносительно к местожительству читателя. В ходе написания примечаний я понял, что даже в них автор не должен говорить о Кунце как о вымышленном персонаже. Это как бы деликатная тема, которую надо обходить стороной. У примечаний сразу появилось двойное дно, что не могло не привнести элемент игры. К тому же любой текст для меня – художественный, поскольку прежде всего я оцениваю его стилистически.

– Французский читатель сталкивается в Вашей книге с ломкой привычных клише. В какой мере обусловлена этим фактура текста?

Чтобы сознательно восставать против клише, надо их знать. Я, читающий только по-русски, в конце восьмидесятых, когда писалась книга, не имел о них ни малейшего понятия. Недаром я не мог понять причину столь неприязненной реакции на свой роман в немецких издательствах – как если б я нанёс личную обиду читавшим его редактриссам. Ведь я впервые услышал выражение «политкорректность» в середине девяностых, от сына-гимназиста, который должен был об этом что-то писать. Помню, я тогда решил, что речь идёт о нравственности в политике. В русском мире, включая эмигрантский, до конца советской власти очень многих понятий не существовало.

Что до фактуры текста, то я вынужден был пользоваться лишь косвенной речью: в общении на чужом языке не существует прямой речи. В книге эмиграция определяется в первую очередь как неизбежный уход из прямой речи в косвенную. Я реалист в том смысле, что имитирую реальность, правдоподобие – важнейший эстетический критерий. Девятая глава аристотелевой «Поэтики» начинается словами: «Задача поэта говорить не о том, что было, но о том, что могло бы быть».

– Когда читаешь Ваши книги, возникает отчетливое впечатление, что эстетика для Вас первична...

Мой выбор, примат эстетического над этическим, парадоксальным образом сделан во имя «всеобщей порядочности» (Орвелл). Я дерзну процитировать себя самого: «Совершенство формы есть залог нравственного совершенства». В эстетике невозможно предательство, эстетика – это гвардия, которая умирает, но не сдаётся – в отличие от этики, которая легко приноравливается к требованиям момента и может себя убедить в чём угодно. Мой эстетизм питается нравственным чувством: как известно, красота спасёт мир.

– Как русский писатель Вы сформировались в эмиграции. Могли бы Вы как-то охарактеризовать этот феномен?

Я эмигрировал рано – двадцати четырёх лет. Но не только по этой причине как писатель я сложился в эмиграции. Как русский писатель я был обречён стать эмигрантом. Я вырос в городе мёртвых, который назывался диким словом «Ленинград». Москва после революции в качестве советской столицы дышала полной грудью, насыщалась новой культурой – розовощёкая, активная. Ленинград был саркофагом Петербурга, это была жизнь после смерти. Я пишу на мёртвом языке, верней, на языке мёртвых. Москвич не может быть эмигрантом, даже эмигрировав, родившийся в Ленинграде, наоборот, становится эмигрантом, даже никуда не уезжая. Советский Союз культурно не является продолжением России, по крайней мере, её непосредственным продолжением. Это совсем другая страна, совсем другое общество, формировавшее своих советских (или антисоветских) писателей. Причём сами они это прекрасно понимали и оттого испытывали чудовищный комплекс неполноценности, который творчески деструктивен в условиях несвободы – именно в условиях несвободы, я это подчёркиваю, поскольку в иных условиях может оказаться благоприятным. Меня, эмигранта, изначально во времени, а далее и в пространстве, миновала чаша сия, боюсь, я никогда не узнаю, как сладко в аду всем вместе поджариваться на одной сковородке.

БЕСЕДА СЛОВЕНСКОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЫ ЛИЯНЫ ДЕЯК С МАРИНОЙ ПАЛЕЙ

Л. Д. Марина, я много раз слышала о вас такие определения: будоражащий, загадочный, таинственный автор. Ваше имя вызывает интерес и ожесточённые споры у знатоков русской словесности, но живёт оно – как бы это сказать? – словно отдельно от автора...

М. П. А бывает иначе?

Л. Д. Ситуация в целом выглядит так: ваша проза переведена на пятнадцать языков; романы и повести входят в финалы престижных российских премий; работы включены в обязательную программу изучения текущей российской литературы – как в России, так и за рубежом...

М. П. Охотно поменялась бы местами с моим именем...

Л. Д. А при этом ваша человеческая жизнь, про которую ходят разнообразные слухи и легенды, остаётся тайной. Вряд ли кто-нибудь может похвастаться, что видел вас на каком-либо российском «мероприятии»... Да и на зарубежном тоже... Я, например, случайно столкнулась с вами на одном из островов Эгейского моря (на Родосе – *прим. переводчика*). Теперь, зная вас немного лучше, понимаю, что остров – это, пожалуй, неслучайное – и даже символичное – место, где вас можно встретить вообще. За восемнадцать лет своей писательской работы вы, несмотря на проявляемый к вам интерес, не дали ни одного интервью. Возможно, так сказывается опасение допустить в устной речи огрехи – неряшливость, «неперфектность», – опасение, какое всегда было, например, у Набокова?

М. П. В устной речи я могу оставаться такой же точной, как и в письменной. И всё же устная речь для меня – это словно бы вынужденный перевод на чей-то язык. Родным я считаю только тот язык, на котором пишу. Он даже глубже во мне, чем «родной»: это – интимный язык. А можно сказать и так: мой настоящий (т. е. литературный) язык – это агентурная шифровка, код которой известен немногим. Когда меня называют «загадочным автором», я надеюсь, это относится не к деталям моей частной жизни, а к художественному результату.

Л. Д. За вами закреплена слава блистательного стилиста. Насколько я знаю, когда в 1995 году вы приехали в Роттердам на Международный фестиваль литературы, журналисты наградили вас титулом «Russische Stijlprinses» («Русская Принцесса Стиля»).

М. П. Когда слышу о ком-нибудь, что он – «стилист», буквально впадаю в тоску. На мой взгляд, «стилист» – это всего лишь автор, который, как сказал классик, *неукоснительно соблюдает все пункты художественного договора с читателем*. А разве не бесстыдно со стороны пишущего – эти «пункты» не соблюдать? Не может быть двух литератур – «литературы высокого качества» и «просто литературы» – искусство высокосортно по определению. Масс-культура с чудовищной мощью, эффективно и безостановочно, то есть на корню, истребляет в сознании читателей само представление о критерии качества. Фраза «автор, да еще и стилист» – трагикомична до абсурда. Это всё равно, что вам бы сказали: такой-то является танцовщиком балета и, знаете, вдобавок к тому он ещё и танцует!

Л. Д. Марина, ваша проза публикуется в Словении впервые. Как автор вы здесь пока не известны. Могли бы вы рассказать о себе вкратце – откуда вы родом? Где вы живете сейчас?

М. П. Начну с конца. Где я живу? Как сказал один мой любимый автор, «живу в мастерской – среди неподошедших конечностей и недоделанных торсов».

Л. Д. Насколько я понимаю, «мастерская» в данном контексте – это пространство творческого сознания?

М. П. Абсолютно верно.

Л. Д. А можно ли узнать, где географически находится сам «носитель сознания»? В вашем конкретном случае?

М. П. «Носитель моего сознания» уже немало лет живёт в Нидерландах, на берегу Северного моря. Последние три года – в очаровательном городке четырнадцатого века, название которого переводится как «Маасский шлюз» (Маас – ветвь Рейна в его дельте – *прим. переводчика*). Тип земли, на котором я живу, именуется polder. Словарь, с положенной ему нейтральностью, пере-

водит этот термин как «плодородный участок суши, лежащий ниже уровня моря и окруженный дамбами».

А на практике polder значит то, что этой суши в природе не существовало. И ещё это означает, что миллионы голландцев – поколение за поколением, столетие за столетием, обливаясь потом, – с безостановочным упорством и маниакальностью муравьёв – отвоевывали землю у вод Атлантики. Для чего? Получается, для того, чтобы здесь, на этом клочке рукотворной тверди, в который они вложили миллионы жизней, принять и обустроить представителей всех уголков планеты.

То есть пришельцев. Которые, по причине «тканевой несовместимости» (медицинский термин), оказались чужеродны на своей «родине» и, как следствие, ею вытеснены.

Загадочная миссия голландцев! В итоге здесь нашла своё место и я. Даже больше: именно здесь, в этой крошечной стране, я впервые ощутила то, что Бродский называл the Earths width (земная ширь, простор). Парадоксально, не так ли? Ведь я говорю сейчас о стране, которая территориально меньше страны моего происхождения почти в пятьсот раз.

Л. Д. Расскажите немного о городке, где живёте.

М. П. В нём белым-бело от морских птиц... Огромные стаи мощных пернатых – хищных, крепкоклювых, царственных... Я даже скажу – венценосных... Казалось бы, это должно напоминать повесть Дафны Дюморье «Птицы» (или/и одноименный фильм Хичкока) – но... Ландшафт, по моему ощущению, крайне далёк от зловещего – он дарит покой и свободу. Кстати, к морю здесь следует подниматься по лесенке... Выходишь на берег... На севере – Англия, на закате солнца – Атлантика.

Л. Д. Короче говоря, северо-запад Европы...

М. П. Именно так. А при этом меня, в нашем районе, вы узнали бы сразу. Я – одна из немногих здесь женщин без мусульманского головного платка.

Л. Д. Я знаю, что вы живёте крайне уединённо, почти отшельнически...

М. П. Мои берберо-марокканско-индонезийско-суринамские соседи по кварталу считают, что я немецко-австрийская шпионка французского происхождения. Эпизодические приятели (квотирующие, соответственно, этнические группы планеты) знают меня исключительно под другими именами.

Л. Д. В одном из ваших документов оказалось записано, что вы родом из Южной Африки. Как это случилось?

М. П. Когда на вопрос «Waar komt u vandaan?» («Откуда вы приехали?») я отвечала – «Из Санкт-Петербурга», ответная реплика бывала такой: «О, Вы говорите на африканос?» То есть вместо «Санкт-Петербург» им, историческим предкам буров, зачастую слышалось «Йоханнесбург».

Л. Д. Надеюсь, мы сможем избежать подобных недоразумений... Расскажите, пожалуйста, чему и где вы учились?

М. П. Мне повезло получить медицинское образование в Петербурге (сейчас этот институт называется Медицинской академией имени И. И. Мечникова) и работать там же врачом – видимо, для того, чтобы потом с отличием закончить в Москве отделение критики Литературного института. А закончила я отделение критики, видимо, для того, чтобы писать во всех жанрах, кроме критики, – и всё это произошло перед тем, как, перелетев на голландский берег, я нырнула очертя голову в штормовой океан нидерландского языка – со спасательными островами английского.

Л. Д. Где живет ваша семья? В Петербурге или с вами, в Нидерландах?

М. П. В середине девяностых годов произошло следующее. Мой сын, в свои семнадцать лет, один, вынужден был уехать в Израиль. Мой отец, будучи пенсионером и инвалидом, вынужден был эмигрировать в Германию. Моя мать в тот период оставалась ещё в России... Я же, после довольно долгих скитаний, осела наконец в Нидерландах. В результате к концу прошлого тысячелетия итог для нашей семьи оказался таков: мы, четверо близких людей, стали жить на четыре страны (стороны): каждый член семьи – в отдельной стране. Весело, правда?

Л. Д. По-моему, ничего весёлого.

М. П. А я могу сделать из этого невероятно весёлый текст. Просто до слёз. «Gone with the Wind-2».

Л. Д. А как развивалась история вашей семьи дальше, с началом нового тысячелетия?

М. П. Мой отец через несколько лет умер. То есть отправился в конечную (бесконечную?) эмиграцию. В России он, разумеется, умер бы гораздо раньше. А мать переехала из Питера в Бонн. В итоге – мы так и живем на четыре стороны, включая теперь уже инобытийное измерение.

Л. Д. Вы однажды сказали: «Моя жизнь в условиях монокультуры казалась бы мне искусственно усечённой». Можете пояснить свою мысль?

М. П. По сути, я никогда и не жила в условиях монокультуры. Например, кое-что я унаследовала от «заграничного» отца. Он родился и рос в Румынии, говорил до восьми лет на идиш и румынском. В сорок первом, с приходом фашистов, его мать, с двумя маленькими сыновьями, бежала на восток. Причём бежала так долго, что попала в Сибирь. В посёлок под Карлагом. (Воистину широк выбор европейца двадцатого века – между Освенцимом и Карлагом!) Там, под этим самым Карлагом, мой будущий отец и заговорил по-русски. (Получается – благодаря немцам.) Он до конца своих дней оставался довольно отстранённым от «традиционного русского уклада». Не припомню, чтобы когда-либо он оперировал ключевым русским словом «мы».

Л. Д. Но вы-то ведь родились в Петербурге?

М. П. Да. В городе, который геополитически тяготеет к Финляндии, вообще к Скандинавии – а при закладке своей был задуман как полис центрально-европейского типа – то есть как структура, принципиально альтернативная российской.

Моё дошкольное детство – это Ингерманландия. Так издревле называлась территория (то шведская, то финская, то российская) между Финским заливом и южной частью Ладоги. Короткий вариант названия – Ингрия.

Сосны, ели, озёра, валуны... Снега и льды... Мхи... Тишина... Именно Ингерманландии я обязана всем, что чувствую, что умею в литературе. Там во времена моего детства царила грустная, словно заплаканная красота. Угрюмый уют хвойных лесов, покой... Какое-то итоговое утешение.

Л. Д. Я знаю, что существует несколько статей финской и шведской переводчицы, славистики Янины Орлов, касающихся вашей огромной любви к природе и быту Финляндии, говоря шире – к Скандинавии. Кроме того, вы и сами как-то сказали, что Финляндия – это «словно смягчённая и расцвеченная снами, отмытая от ила и слизи будней» страна вашего детства...

М. П. Нечто схожее чувствовали и некоторые другие петербургские авторы: «...в Финляндии, оставшейся в душе как что-то более русское, чем сама Россия...», – писал (живя в Германии) Набоков; «Маленькая аномалия: тоску по родине я испытываю не о России, а о Финляндии», – писал (из Франции) Мандельштам. Вы знаете, что уже несколько лет набирает силу движение ингерманландских сепаратистов?

Л. Д. Нет, не слышала...

М. П. Всей душой поддерживаю.

Л. Д. Однако эта «ингерманландская идиллия» длилась, насколько я знаю, недолго... Что было потом?

М. П. В подростковые годы я сменила около двадцати школ. Моя мать занималась пуском и наладкой новых химических производств. А такие предприятия крайне далеки от столиц и «культурных центров». В результате наш путь проходил через забытые богом населённые пункты самых разных республик и областей: Казахстана, Чувашии, Украины... через степи Поволжья...

Л. Д. Богатый материал для писателя...

М. П. Да, как говорят американцы, *what doesn't kill you, it makes you stronger* («что не угробит, то укрепит»). Потому что то были, скорей, довольно жестокие скитания, чем просто «деловые командировки». Вспоминать о них невероятно тягостно. Если же говорить о «разнообразии культур»... В тот период (конец шестидесятых – начало семидесятых) мне нигде не встретилось естественное – национальное или хотя бы территориальное – «своеобразие». Всё намертво уравнивали дикость и нищета.

Но меня, с момента, как я стала писать, примиряет с жизнью её неистощимый артистизм. И тот сугубо художественный результат, который она безостановочно производит. Что я имею в виду? Например, в набоковском романе «Защита Лужина» (моём любимом) главный герой, в какой-то миг, начинает сознавать, что, хочет он того или нет, вторая часть его жизни – с зеркальной точностью – дублирует узоры и хитросплетения первой. То же самое произошло и со мной.

Л. Д. Что вы имеете в виду?

М. П. Я отчётливо вижу, что мои отроческие скитания – хочу того или нет – во многом повторили себя, начиная с моей жизни вне России.

Только осуществился этот повтор уже словно бы *на новом витке*. Мои маршруты проходили уже не через республики Советского Союза, но через государства Европейского Союза: Швеция, Германия, Австрия, снова Германия, Бельгия, снова Швеция, затем Италия, Франция... Географи-

ческая амплитуда нарастает: Соединённые Штаты Америки...Утром – Флорида, вечером – Сиэтл... Калейдоскопически (уже не могу разделить их в своей памяти) мелькают Айова, Вермонт, Массачусетс, Огайо, Иллинойс – and so on, and so forth – можно по алфавиту.

Л. Д. Не исключено, что благодаря такому образу жизни и формируется экзистенциальный тип сознания... Вот что я прочитала о вас в статье Сергея Боровикова (журнал «Новый мир») – это анализ вашей книги, которая выходила в престижной петербургской серии «Мастер»...

М. П. «Месторождение ветра»?

Л. Д. Да. Кстати сказать, великолепное лирическое название! Так вот что пишет рецензент: «От прозы Марины Палей исходит обаяние силы. Не женской, терпеливицей, кроткой. И не мужской силы подавления и преобладания. Силы экзистенциального сознания. По-моему, Палей экзистенциальна, как никто в современной русской прозе, экзистенциальна в квадрате».

М. П. Эта книга, «Месторождение ветра», была написана, кстати сказать, ещё в России. В тот период я ещё ни разу не была в «дальнем зарубежье».. Но оптическая система моего видения уже и тогда не замыкалась на... как бы это помягче сказать? – на местной специфике, да?

Один поэт, с печальным сарказмом, писал: «Спасибо Сталину, что *отвлекал* // От ужаса существования». В моём случае «ужас существования» я ощутила уже с рождения – точнее, с момента, когда прорезалась память, – и меня не могли «отвлечь» от этого ужаса или сбить с толку никакие социоисторические, политические, этноантропологические и любые прочие сиюминутные «причины». Сколько себя помню, я с большим недоверием относилась к такого рода цепочкам «причин» и «следствий».

С экзистенциальным (как и с любым другим) типом сознания индивиды, конечно, рождаются. А последующие страницы жизни – под тип сознания – просто «подвёрстываются». Сознание первично. Утверждаю как врач.

Л. Д. Как ведёт себя ваш русский язык в условиях других наречий?

М. П. В повседневной жизни я уже десять лет говорю по-нидерландски или по-английски. Таким образом, русский язык словно изменил свою природу. Для меня он уже никак не связан с бытом, «приватизован» – и сакрален в абсолютной степени. А для окружающих полностью скрыт – как внутренний орган, который придаёт странность поведению собеседника, но не поддается обнаружению даже рентгеном.

Л. Д. Я слышала, что вы, помимо писательства, создаёте своё one-person-show?

М. П. Да. Дело в том, что в своих прозаических текстах я обнаружила довольно много лирических фрагментов. Самодостаточных и тяготеющих к собственному развитию. Это спонтанные стихотворения в прозе. Их фонетическую музыку я соединила с музыкой инструментальной...

И оторопела от результата. Получилась не мелодекламация, не авторское чтение, не пение. Возник некий качественно новый жанр (результат, художественный продукт), которому дать название я пока не могу.

Л. Д. Как проходят ваше выступления?

М. П. Я выступаю, увы, не часто – и большей частью за границей. Среди зрителей бывают совсем не близкие мне люди – с навеки приросшей маской... И вот, по ходу действия, краем глаза, я начинаю замечать, как эти маски у них сметает – наотмашь – как взрывом.

Остаются лица. Искверканные болью. И для меня становится ценным то, что зрители уже не могут, как бы они ни старались, защитить себя от чувств, которыми я их накачиваю. От моей воли, которой я их набиваю. При этом я погружаю их в поток – и заставляю пропускать его сквозь себя, по всему створу, под максимальным напором, причём в очень «плотном режиме». Как именно это я делаю? Не знаю. Неким *суммарным* на них воздействием, которому не берусь дать определение.

Л. Д. Мне говорили, это похоже на шаманство.

М. П. Возможно. Кстати, иногда я исхожу от обратного: специально пишу текст на музыку, которая уже существует (то есть первична). Иногда пишу текст даже на песню. В этом случае слова монолога, который произносит мой персонаж, ложатся на готовую песню с её собственными словами – то есть на песню, которая звучит «за кадром» (за занавесом) и является отличным экспрессивным фоном. Такое сочетание придаёт действию кинематографическую динамику и резко очерчивает драматургические границы.

Л. Д. Ваша фотография, которая помещена в газете, входит, как вы мне пояснили, в серию «La filoché» («Сеть для бабочек», франц. – *прим. переводчика*). Вы также упоминали вскользь о других сериях, например, «Les faces contraires de la Lune» («Обратные лица Луны») и «De la vie

des clowns et des arlequins» («Из жизни клоунов и арлекинов»). Можете ли рассказать об этом роде своих занятий?

М. П. Мне бы хотелось включить в свои выступления дополнительные элементы: игру со светом, а также мои фотографии и фотодизайнерские работы, в определённом ритме проецируемые на экран... Такая изопродукция уже существует, я создавала её в гаагской Королевской академии художеств.

Л. Д. Вы выступали там в качестве модели?

М. П. Не только. Натурщицей я работала давно, в Питере. А в Гааге я была также дизайнером и постановщиком. «Фототеатр Марины Палей» – это галерея моих ролей из спектаклей моего же воображения. Роли при этом (как и спектакли) самые что ни на есть разнообразные: это арлекины, клоуны, клоунессы, цыганки, маски комедии дель арте, постимпрессионистские персонажи в стиле Тулуз-Лотрека и экспрессионистские в стиле Отто Дикса, знатные испанские синьоры времен Гойи – и вполне вневременные космополитичные проститутки... И вот этот «Фототеатр» я хотела бы органично соединить с тем, что я делаю в моих нынешних выступлениях, где пока доминирует звук.

То есть я очень хочу преобразовать свои выступления в полноценное театральное действие. Но тому, к сожалению, препятствует мой уединённый образ жизни. И, как вполне закономерный результат, отсутствие спонсоров.

Л. Д. Вряд ли у вас, даже при желании, есть время их искать. Ведь вы занимаетесь также и переводами?

М. П. Да, я делаю поэтические переводы с европейских языков.

Л. Д. Переводчик, как сказал русский поэт Жуковский, является «не рабом автора, но его соперником»...

М. П. Очень точно. Переводила я (с вашего, если помните, Лияна, подстрочника) и словенского поэта Каэтана Ковича...

Л. Д. Возвратимся к мысли о моно- и мультикультуре...

М. П. Мультикультура никогда не была моей целью. Мои странствия, разумеется, не имели целенаправленной эстетической задачи. У меня была другая цель, сугубо инстинктивная, – сохранить своё достоинство и свой художественный дар – что, конечно, неразделимо.

А в итоге я обрела новое зрение. Обновила и усовершенствовала свою оптическую систему. Которая баснословно раздвинула границы моего сознания. Будучи писателем, то есть человеком, постоянно ставящим острый опыт на себе, я не делю свой опыт на «положительный» и «отрицательный». Я делю его только на старый и новый. Новый опыт был и остаётся моей целью, наградой и смыслом происходящего.

А ведь при этом дистанцию – от объекта художественной переработки – иметь просто необходимо. И, конечно, не умозрительную. Дистанция – это главный компонент в технологии творчества – по крайней мере, в моей. Я подразумеваю дистанцию (дорогу), которую познаёшь на своей шкуре.

Л. Д. Видимо, поэтому статья об одной из ваших книг так и называется: “Sprechende Körper” («Говорящее тело», нем. – прим. переводчика.)

М. П. Видимо, так. Мы «знаем», что Земля – круглая. То есть принимаем на веру сведения из школы, картинки из телевизора. Но ведь эта «вера», ясное дело, не есть наше личностное зрение, боль, опыт.

А видели Землю – такой, как она есть, – только те, кто побывал в космосе. Только те. Только они, единицы, действительно видели, причём в деталях, как именно выглядит Земля. Я отношу себя к таким единицам. Живя уже десять лет на значительной дистанции от своей изначальной культуры («дистанция» – ключевое для меня слово: одна из моих книг так и называется – «Long Distance, или «Славянский акцент»), я наконец-то эту культуру разглядела.

Л. Д. Как же она выглядит в ваших глазах сейчас? Лучше или хуже?

М. П. Мы сейчас не рассуждаем в категориях «лучше» – «хуже», ведь так? Суть вопроса в том, что свою исходную культуру, благодаря мультикультуральному опыту, я наконец уточнила. Гораздо чётче разглядела. Осознала глубже, острее. Вообще говоря – увидела целиком.

Я и есть астронавт, шагнувший в открытый космос и наконец узревший – ни много ни мало – Землю. И это – моё огромное, добытое в боях, преимущество. Исполинское преимущество – в сравнении с положением моих коллег, которые не располагают этой фантастической призмой.

Л. Д. Хочу закончить наше интервью словами того же Сергея Боровикова: «В том, что Марина Палей не желает быть предсказуемой, залог её силы.»

М.П. Возможно, он и прав. В скромных пределах, отпущенных человеку, мне удалось пройти через сотни ролей.

То небольшое, до чего у меня пока не дошли руки в так называемой «реальности», – это мой цвет кожи, пол и имущественный статус. Мне есть куда развиваться: я могу стать, например, пенджабским магараджей, безбедным тяньцзиньским мандарином или культовым афро-американским джазменом.

Знакомый озабоченно спросил меня в связи с этим: «Тогда подмигнёшь нам, о'кей? Дашь какой-нибудь знак, что это ты?»

И я ответила: «О чём речь! Конечно, я так и сделаю».

*30.07.05.
Maassluis West*

ТРАЕКТОРИЯ СОСТРАДАНИЯ

Давно уже отшумели страсти и волнения по поводу романа Гюнтера Грасса «Траектория краба». И даже стихает скандал, связанный с его именем и новым романом «*Beim Häuten der Zwiebel*» («Очищая луковицу», или «Луковица воспоминаний», как обозначил эту метафору Борис Хлебников, германист и переводчик Грасса), а мысли нобелевского лауреата продолжают оставаться для нас важными и интересными.

Александр Мелихов снова обращается к «Траектории краба», предупреждая, однако, что воздержится «от разбора полностью отсутствующих художественных достоинств» романа – на нет, как говорится, и суда нет – и начинает выделять очень интересную публицистическую схему, «почти аллегорию, которая была бы даже способна сделать произведение значительным». Напомним – это при полном-то отсутствии художественных достоинств. Мелихов, будем справедливы, тут же объясняет своё строгое суждение – «плотность художественных находок на единицу текста заметно ниже предельно допустимой концентрации».

К слову, ужасно хочется здесь отвлечься и установить эту самую *предельно допустимую концентрацию*, или норму художественных находок, это же сулит решительный переворот в серьёзном литературоведении вообще и в придирчивой критике, в частности.

Однако продолжим и обратимся к схеме Гюнтера Грасса, которую нет никакой необходимости снова пересказывать. Это уже сделано в статье «Траектория покаяния». Собственно, даже не к этой схеме-аллегии, а к выводам, которые делает на основании её рассмотрения Александр Мелихов: «Трудно и даже почти невозможно применять уголовную статью о разжигании межнациональной розни, ибо для этого самого разжигания вполне достаточно рассказывать народам правду об их совместной истории». Действительно, на первый взгляд, всё правильно. Своя рубашка ближе к телу, «люди всегда будут принимать ближе к сердцу свои, а не чужие страдания».

Да, это так, но какое-то сомнение или смущение закрадывается в...ну, куда они обычно закрадываются...ну, пусть – в душу. Из этой мысли никакого продолжения не следует, а хочется... Ведь что-то делать всё-таки надо. Однако Александр Мелихов здесь останавливается и заканчивает свою статью такими словами: «...требовать от нашкотивших народов какого-то более глубокого покаяния означает лишь возбуждать в них сначала раздражение, а затем уже и открытую злобу». Да, так бывает. Толкают в спину злого мальчишку: «А ну извинись перед бабушкой!», – а он упирается и ни в какую, да еще и ведёрком на старушку замахнётся. А другого никто не толкает, но он сам просит прощения и плачет: «Прости меня, прости, не знаю, что на меня нашло... прости, я сделал тебе больно...» Причём эти мальчишки могут быть из одной семьи, то есть они братья и воспитывались родителями, казалось бы, совершенно одинаково. И остаётся согласиться с Мелиховым, и развести руками, и признать принципиальную загадочность человеческой природы, подверженной всяческому светлым «грёзам», с одной стороны, и злостному, мстительному расчёсыванию затянувшихся ран – с другой.

Но... не получается согласиться, что-то смущает меня.

Александр Мелихов представляет народ таким единым огромным существом, агрессивным подростком, непредсказуемым и ужасным, склонным к неконтролируемому раздражению и злобе. Поаккуратнее надо с ним.

И ещё вот такой у меня вопрос: может быть, Александр Мелихов знает какие-нибудь не нашкотившие народы? Чур, не упоминать продрогших эскимосов – у них руки короткие, и вообще – замёрзли, хотя и за ними, думаю, кой-какие грешки тоже водятся.

К чему это я клоню? А вот к чему.

Покаяние, ответственность, стыд за свою жестокость и трусость и даже стыд за грехи другого возникают в душе каждого отдельного человека не по требованию, а просто возникают...и всё.

«Так они и возникнут сами собой, держи карман», – усмехается скептик. А вот представьте – возникают. Ну, не совсем сами собой...

Несколько лет назад в Мюнхене, в городском музее на площади Якобсплац проходила выставка «Преступления вермахта». Очередь на выставку начиналась где-то на середине площади и тянулась, извиваясь, как это принято у всякой очереди, ко входу в музей. Редко в Мюнхене случаются такие длинные очереди. Но ничего не поделаешь, пришлось и мне постоять, и, чтобы скоротать время, я начала разглядывать соседней. Первое, что бросилось в глаза, – молодые лица, очень мало было пожилых людей, а второе – удивительное молчание. И в залах, по которым потом эти молодые люди бродили, поразила полная и сосредоточенная тишина. И ещё – лица у них, у этих немецких мальчиков и девочек, были особенные, как бы это сказать – думающие и... подавленные. Призывал ли кто-нибудь их к какому-то глубокому покаянию за преступления национал-социализма? Ведь это были уже внуки и правнуки. И тем не менее... Им просто предлагали думать. Им предлагали смотреть короткие фильмы о том, что делали солдаты вермахта и СС в оккупированных странах, им показывали письма, личные письма этих солдат на родину, в Германию, и были в этих письмах фотографии улыбающихся арийцев на фоне виселиц и мёртвых тел во рвах, а были слова ужаса о бесчеловечных приказах, которые приходилось выполнять. Не знаю уж, правда ли это, но мой учитель немецкого рассказывал, что в современном уставе бундесвера есть запрет на выполнение приказа, если подчинённый считает его бесчеловечным, это после Нюрнбергского процесса якобы ввели, когда нацистские преступники пытались оправдаться тем, что они просто выполняли приказ. Я с недоверием посмотрела на этого старого немца, я ему не поверила – как может солдат решить, правильный приказ или нет, – но то, что этот старый человек сам в такое верит, тоже о чём-то говорит.

В Германии есть неонацисты, время от времени проходят бурные дебаты, что с ними делать: запрещать или разрешать, находятся сторонники у той и другой позиции. Но ни разу я не слышала, что бы кто-то с экрана телевизора пытался их оправдать или как-то объяснить их поведение – слишком часто напоминают в прессе, какую цену заплатило человечество и сами немцы за годы нацизма.

Можно ли представить, чтобы по улицам немецких городов прошёл «немецкий марш», подобный тому, что только что прошёл, под названием «русский марш», по некоторым городам России? Нет, это абсолютно невозможно.

Да, шествия неонацистов разрешены, но... без свастик, без лозунгов, без этих фашистских вскидываний рук. Пришлось случайно наблюдать такое шествие. Неонацисты в количестве приблизительно пятидесяти, ну, может быть, семидесяти человек в чёрных (по-видимому, насчёт цвета одежды не нашлось в законодательстве никакого указания) рубашечках шли неровной колонной по улице Линдвурмштрассе в Мюнхене и, как мне показалось, чувствовали себя очень неуверенно. Их точно было не более ста человек, но зато вдоль всех улиц, по которым шли эти чернорубашечники, выстроились тысячи немцев, и никто их сюда не сгонял, тысячи, тысячи немцев кричали: «Наци – раус!!!», т. е. наци – вон!

Да, неонацисты имеют свои сайты в Интернете, но многие журналисты считают, что это не так уж страшно, это даёт возможность за ними наблюдать и купировать их пропаганду новыми инъекциями, которыми являются и такие выставки и, между прочим, романы Гюнтера Грасса. Разоблачает ли Грасс сладенькую сказку «немцы покаялись»? Думаю, что такая постановка вопроса некорректна. Так же, как некорректно представлять весь народ рассерженным мстительным подростком. Какие-то немцы искренне покаялись, причём в душе, и даже ничего нам не сказали, а другие просто не хотят об этом думать, а третьи вспоминают гибель «Вильгельма Густлова» с тонущими детьми и ранеными, но оправдывают Маринеско: «...ведь была война, а корабль шёл, хоть и ярко освещённый, но под свастикой, а Маринеско патрулировал этот участок», а четвёртые рассказывают, округлив глаза, что в немецких городках, в которые вошла Советская армия, не осталось ни одной неизнасилованной девушки. (А вот я слышала рассказ моего родственника Николая Васильевича Конашёнка, который прошёл всю войну до самого Берлина, – там, в Берлине, девушки-связистки из их части носились по газону, смеялись, как безумные, – победа, победа! – и рвали дивные майские цветы; на них стал кричать старый немец, потрясая палкой, девушки повалили его на газон и написали ему на лысину – так потом был суд, их сильно наказали: как посмели унижить старого человека? – вот так, и куда-то сослали, а ведь тоже всю войну прошли – дуры, одно слово...)

Следующим шагом после покаяния, по мнению Александра Мелихова, является самооправдание: «да, мол, мы наделали ужасных вещей, но это была ужасная ошибка, в которую нас вовлекли ужасные люди». Но ведь не у всех же самооправдание. Вот очень пожилая, чтобы не сказать — старая, но очень ещё крепкая немка рыщет по всей Германии, находит по дешёвке какую-то одежду, инвалидные кресла, медицинские специальные кровати и что-то ещё, необходимое старикам в российской провинции, везет всё это за свой счёт через все кордоны и зверскую нашу таможеню, которая подозрительно изучает её груз и требует ещё каких-то доплат. Совсем старый немец, о котором я уже говорила, помогает абсолютно бескорыстно нашим эмигрантам, учит их немецкому, составляет письма, ходит с ними в качестве переводчика по всяким чиновникам. Детей, облучённых Чернобылем, каждое лето принимают немецкие семьи. Говорят ли эти люди, что хотят загладить вину? Нет, конечно. Так же, как ничего не говорила о сострадании еврейская девочка, которая отдавала в послевоенной Москве пленным немцам свой школьный завтрак. Она и слова такого не знала.

И последний вопрос. Надо ли всё-таки рассказывать «народам правду об их совместной истории»? Должны ли они обладать, так сказать, всей полнотой информации? За народы не скажу, народ остаётся для меня, в значительной мере, категорией мифической, но человек с душой, страдающей другому человеку, и с умом, способным к анализу, имеет право на правду. Остаётся совершеннейший пустяк — научиться развивать человеческую душу и приучать ум к эффективной работе.

ВРАЩАЯ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГЛОБУС

Продолжение¹

После Крестовых походов и Реконксты Европа на долгое время была избавлена от опасности мусульманской экспансии. Турция, «Блистательная Порта», господствовала на всем Ближнем и Среднем Востоке, турецкий султан Селим I в 1517 году узурпировал священный титул «халифа», повелителя правоверных. Он не был потомком пророка, и на самом деле, если придерживаться буквы закона, права так именоваться не имел. Многие богословы протестовали, выпускали фетвы против такого поворота событий. Султан Турции остался халифом, как и его потомки или преемники. Заметили: с воззрениями даже известных богословов никто не считается, если они не согласны с мнением высших властей, в случае чего мобилизующих «мусульманскую улицу» при посредстве послушных мулл, ежедневно произносящих то, что властям выгодно. Тем не менее, прекращение халифата уже почти в наше время, в 1924 году, вызвало серьезные волнения в Британской Индии и голландской Индонезии – так называемые «хилафатские» бунты.

Впрочем, это можно квалифицировать и как попытки восстания против чужеземных колонизаторов. Лозунги безудержной экспансии ислама, столь популярные в наше время, после Крестовых походов даже не упоминались. Лишь один из коранических принципов: то, что завоевано воинами ислама, навсегда остается в их руках – был однажды реализован. Это было мало кому известное «восстание морисков», или «мятеж Альпухарры», в освобожденной от власти мавров Испании, в 1568 году.

Странное время – подвиги Реконксты уже уходили в прошлое, но мавры, разгромленные в многочисленных битвах в Андалусии, перебрались в горы, где, несмотря на формальное обращение в христианство, продолжали исповедовать ислам. Это было не просто «параллельное сообщество» – это было государство в государстве, объединение мелких и труднодоступных населенных пунктов на склонах Сьерра-Невады, называемых «Альпухаррас». Испанцев – кастильцев, строго говоря, – там было совсем немного, но слухи, что мориски, крещеные мавры, открыто продолжают молиться Аллаху, дошли до Мадрида. Правил тогда отпрыск Габсбургов, нелюдимый и жестокий Филипп II. В дело включилась инквизиция, и морискам было запрещено не только молиться Аллаху (это как бы предусматривалось самим фактом крещения), но и разговаривать на родном языке, носить национальную одежду. Это вызвало целый взрыв возмущения.

Мориски (иногда переводят «маленькие мавры») были относительно новым понятием для Испании, как и мараны, – и те и другие были обращены в христианство насильно уже после того, как Испания отвоевала весь Пиренейский полуостров и запретила любую веру, кроме католической. По большей части мориски, наследники павшей Гранады, не были даже арабами – это были берберы, выходцы из Северной Африки, относительно недавно принявшие ислам и, как все неопиты, крайне упорные в соблюдении любых нюансов этой веры. Зародившееся в Сенегале в XI веке движение альморавидов (араб. *аль-мурабитун*, то есть выходцы из *рибат*ов, укрепленных поселений для воинов-монахов, посвятивших себя священной войне) под знаменем джихада покорило всю Северную Африку и вскоре разгромило потомков Омейядов в Испании. Династия Альморавидов стала властителями «Биляд аль-Андалус» – мусульманской Испании. Терпимость и образованность омейядского общества очень быстро уступила место жестокости и обскурантизму новых хозяев. В испанских владениях произошло то же самое, что чуть раньше в Африке, – обширные районы, служившие житницей еще Римской империи и процветавшие при Омейядах, были превращены в пустыню. Еще хуже стало при Альмохадах (араб. *аль-муваххидун*, «ревнители единобожия»), другой берберской династии, сменившей Альморавидов в конце XII века. Все трепетало и гнулось под их тяжелой рукой. В их владениях воцарилась суровая дисциплина,

¹ См. №№ 6, 7, 8, 9.

одна вера и один закон – шариат. Альмохады беспощадно карали всех, кто придерживался других убеждений. Их политика *тимъяза* (чистки) сопровождалась массовыми казнями, репрессиями и крупными перемещениями населения. Евреям, католикам, да и мусульманам, не разрешавшим ригористические взгляды Альмохадов, предлагалось выбирать между смертью и обращением в «истинную веру». Во время правления альмохадов прекратили существование многочисленные иудаистские конгрегации и африканская церковь. Евреям, даже обращенным в ислам, было предписано носить желтые одежды и тюрбаны. Под страхом тяжелых наказаний населению не разрешалось петь и музицировать, женщины закрывали лицо, мужчины спешили на молитву. Из-за широко разветвленной системы шпионажа люди боялись собираться группами, ходили в одиночку и предпочитали держаться подальше от властей. Это и было началом конца. Вскоре мусульманская Испания, мощный халифат, распался на десятки мелких эмиратов, что существенно облегчило их отвоевание христианами государями Испании. Мелка, наконец, и Гранада, последнее мусульманское владение на земле Европы. Условия сдачи ее были исключительно мягкими, что, в конечном итоге, и привело к кровопролитию. Почти через столетие после победоносного окончания Реконкисты мусульмане, формально обращенные в христианство, восстали. В рождественскую ночь 1568 года мориски бросились в атаку. Сотни христианских семей были вырезаны, церкви осквернились, священников пытали, бросали в кипящие котлы на улицах. Целью восстания было, ни больше ни меньше, восстановление мусульманского государства в Испании и передача его под суверенитет Османской империи, корабли которой постоянно курсировали у испанских берегов. Вождем (или, по испанской традиции, королем) был провозглашен молодой Абен Умейя – потомок султанской династии Гранады и, как можно судить по имени, претендовавший на родство с Омейядами. Увы, как и его гранадские предки, он был полностью лишен каких-либо государственных или стратегических талантов; зато любил легкую жизнь, завел гарем и неделями предавался разгулу. Вскоре его сподвижники его же и удавили, передав власть его дяде Абен Абу Абдаллаху, опытному воину и неплохому организатору. Морискам удалось собрать вполне боеспособное войско, которое смогло даже ненадолго взять Гранаду.

Маркизы Мондехар и Велес, властвовавшие над южными провинциями, не смогли эффективно справиться с мятежом. К счастью, морские порты, такие как Малага и Альмерия, оставались в руках испанцев, в ином случае через них могли хлынуть «военные советники» из Турции и вассальных ей Туниса и Алжира – главных пиратских баз Средиземноморья. Разумеется, и турки, и берберские пираты постоянно находились у испанских берегов, но оказать реальную помощь не могли. Тем не менее опасность была велика, и Филипп II поручил дело своему сводному брату Хуану Австрийскому. Тот собрал большую армию (более 30 тысяч) и, двинувшись на юг, вскоре нанес первое поражение повстанцам. В течение короткого времени восстание было полностью подавлено, 400 (по некоторым данным, 700) тысяч морисков были отправлены в Северную Африку – кстати, на кораблях тех же берберских пиратов и, скорее всего, проданы в рабство. Десятки тысяч, как утверждают, были казнены по приговору инквизиции. Остальных расселили по дальним провинциям Испании, которая с этих пор была навсегда избавлена от исламской опасности.

Это была не самая громкая и не самая почетная победа испанского оружия, но дон Хуан, как утверждали современники, сам настойчиво добивался этой миссии.

В начале 1547 года у дочери регенсбургского бургомистра (по другим сведениям, простого ремесленника) Бломберга Барбары родился сын. Отцом мальчика был Карл V, король Испании и император Священной Римской империи – к тому времени, после смерти Изабеллы Португальской, вдовец уже в течение восьми лет. Поначалу отец не признавал маленького Хуана (тогда его звали Херонимо), и он воспитывался вдали от императорского двора. Лишь после своего отречения от престола в 1555 году Карл, замаливавший грехи, официально объявил Хуана своим сыном. Девятилетний мальчик, не по годам развитый, стал вскоре любимцем двора и предводителем высочеродной молодежной компании, к которой принадлежал и дон Карлос – будущий наследник престола и герой многочисленных литературных произведений (и великой оперы Верди). Но если дон Карлос в своей короткой жизни так ничего и не совершил, то дон Хуан еще в шестнадцатилетнем возрасте участвовал в морских сражениях у берегов Испании против турецких и пиратских эскадр, безраздельно властвовавших в Средиземном море. Очевидцы отмечали и его безудержную отвагу, и не по годам пришедшую рассудительность, стратегический талант. Все это проявилось в полную силу в 1571 году, когда нашему герою исполнилось лишь 24 года. Годом раньше Турция захватила принадлежавший Венеции Кипр; Папе Римскому удалось

создать широкую коалицию, «Священную лигу», в которую вошли австрийские и испанские Габсбурги, Португалия, Мальтийский орден и итальянские города-государства, располагавшие солидным боевым флотом. Папские послы добрались даже до запорожских казаков, которые предприняли набеги на турецкие позиции в Молдавии, в Крыму и Северном Причерноморье. Командовать объединенным флотом Лиги был назначен дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный брат Филиппа II, короля Испании. Средиземноморская армада католических государств дала первый серьезный бой могущественному турецкому флоту у берегов Ионического моря, при городе Лепанто – и 7 октября 1571 года одержала первую серьезную победу. Французский историк Ф. Бродель писал, что она положила конец реальному комплексу неполноценности христианства и не менее реальному турецкому преимуществу.

Это было последнее сражение гребных флотов в мировой истории. Парусные корабли, конечно, к тому времени были – ведь Колумб на своих каравеллах уже покорил Атлантику, да еще задолго до этого Ричард Львиное Сердце переправлял своих воинов в Палестину именно на парусных судах. Но для боя они мало годились, настоящая парусная навигация пришла позже. Против боевых галер не могло устоять ни одно парусное судно; но если в Древней Греции или во владениях норманнов гребцами были сами же воины, то в более позднее время в Европе – каторжники и пленники, а в Османской империи – рабы. Но тут двадцатичетырехлетний дон Хуан решился на отчаянно смелый шаг – перед сражением он расковал и вооружил гребцов, которые были готовы сражаться за христианское дело. И – пообещал им свободу. В боевой силе турки и так уступали христианам – аркебуз было маловато, в основном луки и стрелы. А на галерах христианского воинства – бронированная пехота с огнестрельным оружием, обученная идти на abordаж, да еще усиленная отчаянной решимостью раскованных каторжников. Турки маневрировали, пытались смять фланги, но вскоре сражение превратилось в побоище. В abordажном бою потерял руку мало кому известный тогда Мигель Сервантес, командир взвода мушкетеров на галере «Маркиза», но и он продолжал сражаться. Потом написал: «Это была величайшая битва всех времен и народов, едва ли такая повторится». Флот алжирских пиратов попытался было исправить положение, но бежал, увидев, что исправить уже ничего нельзя. Меньше одной пятой кораблей турок, всего 48 судов, смогли бежать с поля боя. И потери в живой силе составили 30 тысяч человек.

Увы, флот «Священной лиги» вскоре разбежался по своим базам, мелкие суверены союзных государств отказались продолжать кампанию до победного конца. Торговое мореплавание по Средиземному морю стало безопасней – но всего на несколько лет, пока Турция не восстановила свои силы. А дон Хуан с испанским флотом отправился на Сицилию, в Мессину, где ему в том же году поставили памятник. Он стоит там до сих пор, а копия – в Регенсбурге, у городской ратуши.

Много было приключений и поворотов судьбы у славного дона Хуана, его имя гремело по всей Европе. За битву при Лепанто папский престол пожаловал ему королевский титул – вот только королевства не было. Он сам его отвоевал, захватив двумя годами позже Тунис. Сводный брат Филипп II отказался признать его королем – а, стало быть, отказав и в поддержке испанской армии. Хуан был фактически наследником престола – ведь у царствующего брата не было наследников мужского пола, сын, будущий Филипп III, появится только в 1578 году... Нет, братец Хуан был слишком знаменит, чтобы расчищать ему, бастарду, дорогу к испанскому престолу. Запланированный уже брак с Марией Стюарт – запретить. Вместо этого – штатгальтером в неспокойные Нидерланды, где уже вовсю шла война за независимость. Ему не удалось ни решительных военных побед одержать, ни перетянуть на свою сторону восставших. Что ж, ссылка – она и есть ссылка. Военную удачу при Жамблу закрепить не удалось, сводный брат не прислал подкреплений. В покинутой армии начались болезни, и дон Хуан, старавшийся разделять с солдатами их тяготы, стал жертвой разразившейся чумы. Кто-то говорит – нет, тифа. Есть и слухи, что он был отравлен посланцами из Мадрида, от ревнивого брата... В сентябре 1578 года, в момент смерти, полководцу был 31 год.

Ах, история... Полководец должен быть полководцем – и никем больше. А дон Хуан еще с шестнадцати лет, когда он снискал первую известность в морских сражениях с берберскими пиратами, испытывал непреодолимую тягу к женскому полу. Его победы на этом фронте – неисчислимы. В Италии он оттачивал это свое мастерство, а позже, красавец и герой, стал кумиром придворных дам Мадрида. Рыцарем он оставался всегда, и это было известно всем. Сотни, даже тысячи дуэлей – и всегда он выходил победителем. Гордый и своенравный, умница и философ, бастард, мятежный дух – и нет никаких сомнений, что он оказал решающее влияние

на европейскую легенду о Дон Жуане (это в русском варианте, через французский, а повсюду почти – все-таки дон Хуан, или, у итальянцев, – Дон Джованни).

Обычно легенду ведут от севильского гранда XIII века дона Хуана Тенорио, который ничем не прославился, кроме многочисленных соблазнений замужних севильских матрон. И своим поединком с командором ордена Калатравы, пожилым Гонсало де Ульоа. В общем-то обычный плейбой, вовсе не кандидат в герои знаменитой легенды. Образ Дон Жуана наверняка изменялся, обогащался со временем. Герой пьесы Тирсо де Молины – это один человек, герой Байрона – совсем другой. Донжуанские подвиги дона Хуана Австрийского гремели по всей Европе и не могли не повлиять на эволюцию образа. И вот – поэтическая догадка графа А. К. Толстого, автора драмы, в которой всем известная «Серенада Дон Жуана», превращенная Чайковским в популярный романс. Итак: «Гаснут дальней Альпухары/ Золотистые края...» Откуда бы Алексею Константиновичу знать про Альпухарру? Ни красот, ни достопримечательностей – лишь история: восстание Альпухарры, которое подавил дон Хуан Австрийский! И дальше: «От Севильи до Гренады/ В тихом сумраке ночей/ Раздаются серенады./ Раздается звон мечей». В XIII веке Гранада была под властью мавров, отвоевана лишь в 1492 году! А если «гаснут Альпухары золотистые края», то наблюдатель находится к востоку, а Севилья – далеко на западе, оттуда Альпухарры на закате не увидишь. Из Гренады – можно, и горные отроги на западе близко. Значит – вовсе не XIII век, когда Хуан Тенорио был в аскетическом общественном мнении просто моральным уродом. Скорее – конец XVI века, когда европейское Высокое Возрождение докатилось и до затурканной инквизицией Испании. И в Гранаде, конечно же, бывал дон Хуан Австрийский – после бесчинств, которые там вытворяли мусульманские мятежники. Наверняка он одержал там немало и романтических побед...

Так или иначе, главное в образе героя вовсе не его подвиги на дамском поприще. Мятежный дух, страсть к приключениям, нахождение выхода из безвыходных ситуаций, безграничная свобода личности – таков Дон Жуан и Мольера, и Байрона, и Пушкина. И конечно же, сложная и неоднозначная музыка Моцарта. Особенно важна свобода личности – вместе с позже появившимся образом доктора Фауста Дон Жуан стал своего рода идеалом, если не всего европейского общества, то уж наверняка его элитарного слоя, и, в конечном счете, именно осознанный, интеллектом поддержанный индивидуализм породил и американскую независимость, и французскую революцию, и последующие демократические изменения западного общества, его самоидентификацию как сообщества свободных людей, в котором права личности выше, чем права государства. Это естественный и благотворный процесс; именно люди, сообщество свободных личностей, и должны ощущать себя хозяевами страны, а правительство – это те, кого общество нанимает, чтобы вести текущие дела. Иначе говоря, государство существует для исполнения требований образовавшегося его общества.

Увы, это лишь в идеале. За редчайшими исключениями, весь Восток (включая Россию) – это обширный регион, где именно государство стоит на первом месте, а его граждане – послушная инертная масса, мало чем отличающаяся от рабов. О правах личности там обычно и не упоминают, да и каждый отдельный человек ощущает себя не столько отдельной суверенной личностью, сколько членом определенного сообщества (семьи, клана, землячества, религиозной или партийно-политической общины, этнокультурной общности и т. п.). Государство или поддерживаемое государством духовенство, узурпирующее в таких случаях права «верховного жреца» того или иного культа, имеет неоспоримый авторитет. Особенно если на первый план выходят имперские амбиции или идея национальной или религиозной исключительности – и то и другое особенно импонирует не разделенная на личности массе.

Впрочем, примат личности в обществе тоже имеет свои недостатки. Безусловно, это неотъемлемое и обязательное условие демократии, с этим и спорить-то не стоит. Но – это не единственное условие демократии, как не являются им, скажем, свободные выборы – мы знаем их результаты в Германии в 1933 году, мы видели их совсем недавно – в Иране, в Ливане, в Палестине. В России, лишенной реального выбора и на прошлых, и на грядущих выборах. Мы можем сейчас не принимать подобные режимы во внимание – у стран, где будущее определяется не волей народа, а обещаниями правителей, или чиновников, или жрецов – будущего нет.

Мне представляется, что наряду с безграничными правами личности должна существовать и подчеркнутая ответственность личности за общество, в котором она существует. Все-таки человек – животное общественное, и вне общества существовать не может, многочисленные «робинзонады» последнего столетия, и вынужденные, и намеренно сконструированные, показали это достаточно убедительно. Поэтому и самое демократическое правительство – вовсе не просто

выразитель воли большинства, это самостоятельно думающий орган, заботящийся о благосостоянии общества не на основании его сиюминутных пожеланий, а в соответствии с трезвым анализом и научно обоснованными прогнозами. Представьте: при нынешних средствах массовой коммуникации очень легко сделать так, что все решения правительства будут приниматься на основе ежедневных референдумов, – технически это и несложно, и недорого. Где бы уже в самое ближайшее время оказались и это правительство, и это государство?

Это, безусловно, ложная посылка – что мнение общества всегда значит больше и более продуктивно, чем мнение личности. Есть промежуточное понятие: «толпа». На рубеже XIX – XX веков французский ученый Гюстав Лебон обобщил свои исследования в 1895 году в книге, названной «Психология народов и масс» (в других переводах – «Психология толпы»). Он полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. Здесь происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. Цитата: «Не в достоинстве какого-нибудь доказательства следует искать существенные элементы механизма убеждения. Внушают свои идеи престижем, которым обладают, или обращаясь к страстям, но нельзя иметь никакого влияния, если обращаться только к разуму. Массы не дают себя никогда убеждать доказательствами, но только утверждениями, и авторитет этих утверждений зависит от того обаяния, каким пользуется тот, кто их высказывает». Утверждают, что труд Лебона был настольной книгой Ленина и Гитлера, и его идеи немало способствовали утверждению и укреплению и коммунистической, и нацистской власти.

В те времена за ненужностью не обращали внимания на по сути пророческое высказывание Лебона: «Если законы будущего должны быть такими же, как законы прошедшего, то можно сказать, что для народа самое вредное – если он достигает слишком высокой ступени развития и культуры. Народы гибнут по мере того, как портятся качества их характера, составляющие основу их души, и эти качества портятся по мере того, как растут их цивилизация и развитие». И что же мы имеем сейчас, когда лебоновское будущее уже наступило?

Примат личности, без которой культура Запада была бы вообще невозможна, как раз на наивысшей ступени развития из двигателя общества превратился в самоцель – и тормоз. Индивидуальная инициатива уступила место индивидуальному безразличию и превращению индивидуума в послушный элемент толпы. В то же время способы манипуляции мнением толпы изменились кардинально, и изменились (скорее: сменились) манипуляторы. О таких естественных вещах, как «национальная политика», «национальные интересы», «национальные цели», могут говорить лишь члены правительства на закрытых заседаниях. Телевидение, газеты, журналы, переполненные высоколобыми аналитиками, говорят лишь о том (или громче всего о том), что тот или иной шаг правительства, государственных институтов наносит вред соблюдению прав человека. Заведомых, установленных преступников могут выпустить на свободу из-за несущественной ошибки в приговоре суда...

Мы забыли о том, что со времен Возрождения главной ценностью и главным достижением европейской (или, более широко, иудеохристианской) цивилизации, отличающей ее от многих других, стал гуманизм. Его очень легко спутать с правами человека, даже подменить ими это понятие; хотя, разумеется, это вовсе не одно и то же. Главная идея гуманизма, восходящего к временам Возрождения, это социальная справедливость. Иными словами, те же права человека, но по отношению к обществу, и общества по отношению к человеку. Собственно, зачатки гуманизма заложены в библейских заповедях – не убий, не укради, не прелюбодействуй, или в равнинной мудрости – не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Согласитесь, это сильно отличается от либерального понятия безграничной индивидуальной свободы, формулируемой вежливо как «неотъемлемое право человека спать под дождем».

Возможно, либеральные принципы смогли бы даже улучшить Европу, будь она изолирована от других частей света, в том числе и тех, где эти принципы не воспринимаются и считаются простейшей слабостью. Во Франции – выходцы из мусульманских государств Магриба и Черной Африки, в Германии – турки и арабы, в Испании – марокканцы, а за последние годы – десятки тысяч беженцев из Западной Африки. Гуманизмом в этих обществах и не пахнет, и поэтому стоит ли удивляться, что пришельцы воспринимают либеральные свободы как очевидную слабость и даже видят в Европе легкую добычу. Выпады против европейского гражданского общества становятся все чаще – и все чаще общество демонстрирует неспособность себя защитить. Мы уже говорили об образовании параллельных сообществ мусульман, этнически даже не слишком разделенных, практически по всей Европе. Анклавы, где люди живут сами по себе,

устанавливают собственные порядки, не признавая законов страны, в которой живут. Полиция боится туда заходить, случайно забредшего прохожего могут ограбить, закидать камнями, просто убить. Бесчинства во Франции, о которых с тревогой говорил весь мир, устроили юнцы из этих кварталов – неграмотные и не желающие учиться, безработные и не желающие работать. Подавление волнений было очень уж неубедительным – кого-то арестовали, но тут же выпустили. Отсидевшие в участке стали героями в глазах сверстников. Ровно через год все повторилось, хоть и в меньшем масштабе. В самих анклавах ничего не изменилось.

Параллельные сообщества и не готовы изменяться, они для того и появились, чтобы под флагом сохранения национальной и религиозной самобытности (читай: исключительности) повторить на чужой земле в миниатюре общество, в котором они привыкли жить. А раз им это удалось, то они считают эту землю своей и никому не согласны ее отдать. Согласно Корану – земля, завоеванная исламом, не может быть возвращена обратно. Ну, это экстремисты, они не выражают мнения большинства, – скажут некоторые критики. Но вполне представительный опрос мусульманского населения Англии показал, что 60 процентов опрошенных требуют введения в этой стране шариатского правления. Это значит, что «наивысшую ступень развития цивилизации» они не воспринимают, считают ее чуждой и для себя неприемлемой. Они видят в ней слишком много того, что они не желают принимать и воспринимать как свое, пусть даже гипотетическое, будущее.

Сама идея поступательного развития цивилизации, ставшая для европейских и близких к ним народов центральной и дающей перспективу будущего, сделала немало и для понимания времени как вектора, однонаправленного бесконечного процесса, каждый день приносящего что-то новое. Это требует напряжения ума, непрерывной учебы, от дошкольного возраста до глубокой старости.

Для обществ, находящихся на более ранней стадии развития, характерно иное понимание времени. Вспомним Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Движение времени очевидно, человек его не может не заметить – ведь есть вчера и сегодня; завтрашний день покрыт мраком неизвестности, а дальше и заглядывать страшно. В медленном существовании патриархального (чтобы не сказать: примитивного) общества движение времени неизбежно рассматривается как круговое («все возвращается на круги своя»). Параллельные общества не задумываются о времени, как этого не делали тысячелетия назад их предки. Я заметил: в индонезийских языках (их многие сотни) нет собственного слова для обозначения понятия «время»! Сначала заимствования были из санскрита, но и в нем не было понятия конкретного, «сиюминутного» времени. «Пора», «эпоха», охватывающие либо десятилетия, либо тысячелетия. В Древней Индии не писали истории, не было хроник – события не располагались по временной оси, а занимали свое место в сюжетах развитой, изощренной мифологии. Недостающие понятия были взяты у арабских мореходов и торговцев на рубеже VII – VIII веков, в период мирной исламизации островов.

Для России кажется неоспоримым: соседние народы убежали далеко в своем развитии, надо срочно их догонять. Удвоим ВВП, создадим гражданское общество, станем впереди всех! А в реальном обществе время все движется и движется по кругу...

Замкнутое время порождает химеры. Как алхимический «уроборос», змей, пожирающий свой хвост, – символ бесконечного возрождения. В развернутой в круг истории любой пункт может служить либо примером для подражания, свидетельством золотого века, нуждающегося в повторении, либо, наоборот, примером для отрицания. Но – лишь в пределах этого круга, ограниченного реальной или мифологизированной историей данного общества. Очевидная экономическая, социальная и даже интеллектуальная слабость нынешнего арабского общества представляется аналогией беспросветного доисламского прозябания, а теократическое квазигосударство пророка Мухаммеда – золотым веком, к которому надо вернуться. Шариат – это ключевое слово. Нравы патриархального родового общества, побивание камнями нечестивцев и нечестивцев, отсекание рук ворисхам, многочисленные запреты для женщин и полная свобода для мужчин. Пророк женился на своей любимой Айше, когда той было шесть лет. Три года она еще играла с куклами, а потом – «познала счастье супружества»...

Это общество мусульманские пришельцы настойчиво хотят повторить и в Европе. Уже десятки лет существуют сговоренные родителями браки, в которых ни жениху не принадлежит ни малейшего слова, ни тем более невесте – ее, закутанную в черные одежды по самые глаза, не знающую ни одного языка, кроме деревенского турецкого или арабского, просто привозят и отдают в ру-

ки семьи, а потом и жениха. Таможни не возражают ни в Турции (хоть и светской стране, но все-таки с большинством мусульманского населения), ни, что странно, и в Европе. Среди законодателей время от времени вспыхивают лозунги: «Прекратить насильственные браки!» Прецеденты возникают, когда сама женщина хочет избавиться от насильственно навязанного ей бремени и доходит до суда. Мало кому удается остаться в живых, обозленные родственники с обеих сторон устраивают настоящую охоту. Убийц даже не судят по-настоящему – судьи охотно принимают во внимание довод «у них так принято». Чаше всего – из опасения, что их обвинят в расизме и дискриминации по национальному признаку.

Что же такое «немец турецкого происхождения» или «англичанин пакистанского происхождения», или «француз марокканского происхождения», если он прошел обучение в афганских, иракских, сомалийских лагерях обучения террористов и совершил либо готовился к совершению террористического акта в одной из стран Запада? Не является ли это ультимативным поводом для лишения его гражданства, возможно, и без выдачи в руки правосудия страны происхождения (там его наверняка ждала бы смерть, так что гуманизм налицо)? Нет, никто ужесточать законы не собирается. Новое иммиграционное законодательство Германии требует от въезжающих достаточного знания немецкого языка; это касается евреев, «русских немцев», но коснется ли это турок, огромное большинство двухмиллионной общины которых до сих пор не сможет прочесть самую простенькую немецкую газету? Или сомалийцев, прибывающих по линии беженцев? Кстати, мне показалось, что именно сомалийки больше других упакованы в черные мусульманские одеяния, лицо закрыто черной сеткой из конского волоса. Жаль. Сомалийки мне казались раньше чуть ли не эталоном женской красоты – высокие, стройные, гордая походка, высокая грудь – принцесса на принцессе! Небесная Аида! Сейчас Верди не написал бы великой оперы...

Впрочем, мы сами виноваты. В европейской культуре очень велико опосредованное влияние Востока, начиная от моды времен Людовика XIV (я имею в виду «Мещанина во дворянстве» Мольера), «Персидских писем» Монтескье, наконец – «Западно-восточный диван» Гёте. Востока именно того, что сейчас переполняет Европу своими эмигрантами, то есть того, что тогда было великой и непобедимой, инертной и неграмотной Османской империей. Об Индии, Китае, загадочной Юго-Восточной Азии речи еще не было – лишь потом пришло время Пьера Лоти и Ван Гога, Густава Малера и Эзры Паунда, Блаватской и Рерихов, западных интеллектуалов, увлеченных идеями буддизма и кришнаизма. Этот Восток (условно – Дальний) оказал серьезное влияние на европейскую культуру, но он никогда не выступал в качестве завоевателя Европы. Заметьте, даже самонадеянные японские стратеги, спланировавшие удачное нападение на Перл-Харбор, никогда и не помышляли о завоевании Америки!

Конечно же, и Ближний Восток, в лице Османской империи, в эпоху европейского Просвещения уже не мог помышлять о завоевании Европы. Да и в самом исламском обществе такая эпоха уже давно закончилась и оставила память лишь в умах немногих интеллектуалов – слишком немногих, чтобы влиять на общественное развитие. Оно по-прежнему шло по кругу, как идет и сейчас. «Мещанин во дворянстве», «Персидские письма» представляли собой лишь жестокую критику современного авторам французского общества – Восток в них был только умозрительным средоточием мудрости, которой на самом деле не было. Гёте копал глубже, познакомился со стихами великого персидского поэта Хафиза, вдохновился его мыслями (хоть и в немецком переводе). Увы, Хафиза, писавшего в XIV веке, османское общество ко временам Гёте уже прочно и навсегда забыло, и мудрость Востока перестала существовать. Ее сменило всеислие чиновников и рабская покорность масс; это и стало причиной того, что круг арабско-мусульманской истории в конце концов был разорван. Началась эпоха колониальной экспансии Европы, достигшая своего пика в середине или даже к концу XIX века. В колониальную гонку включились и Франция, и Бельгия, и Германия, и, еще позже, по итогам Первой мировой войны, даже Латвия, получившая Гамбию в Западной Африке.

Завоевание Индии вовсе не было «безудержной эксплуатацией» местного населения или простым ограблением, как было раньше, во время завоевания Америки Испанией и Португалией. Английские власти в Индии делали все возможное, чтобы привить местному населению навыки эффективного хозяйствования; этому, как могла, мешала давно сложившаяся система помещичьего землевладения («заминдари»). Несмотря на феодальные порядки, англичанам удалось создать функционирующую до сих пор административную систему, стимулировать переработку сырья, создание местных промышленных предприятий. Иными словами, ввести в отсталой феодальной стране элементы и принципы капиталистического хозяйствования. Это привело к зарождению гражданского общества и, в конечном итоге, к потере англичанами политической власти.

Что ж, таково «бремя белого человека», по названию стихотворения Р. Киплинга, написанного в 1899 году:

Возьми на себя это бремя:
 Воюй за чужой покой,
 Заставь болезнь отступить
 И голоду рот закрой...
 Неси на себе это Бремя —
 Ты будешь вознагражден:
 Придирками командиров
 И ненавистью племён...

Так оно и было — «жестокие колонизаторы» в поте лица трудились, чтобы приблизить колонию к современному обществу, и слишком часто встречали в ответ черную неблагодарность, выражавшуюся и в недоверии, и в убийствах из-за угла, и в мятежах племен, которые так трудно усмирить... Прошло время, и сейчас и в Индии, и в Пакистане, и в Бангладеш очень многие, независимо от уровня образования, испытывают настоящий пиетет перед англичанами и всем, что связано с Англией. Что ж, «бремя белого человека» принесло и такие плоды.

Период деколонизации, наступивший, на мой взгляд, слишком поспешно, вовсе не приблизил, за некоторыми исключениями, бывшие колонии к цивилизационному уровню европейских метрополий. Особенно это касается «стран с остановившимся временем», то есть большинства стран арабского мира и мусульманской Африки. Стремление европейских держав превратить остальные районы мира в полновесных торговых партнеров (своего рода прообраз нынешней глобализации) было понято как эгоистический грабеж, и раз колониальная эпоха ушла в прошлое, надо, дескать, платить за причиненный ущерб. Европа и стала платить.

Профессор Нью-Йоркского университета У. Истерли весьма смело озаглавил свою книгу «Бремя белого человека». Он считает: «Если мы хотим реально помочь бедным странам (а не просто упиться собственной щедростью), мы, западные богачи, должны забыть свои грандиозные амбиции преобразователей. Успешно можно решать проблемы только поштучно, небольшими порциями, изучая местные нравы. Иногда добиться *заметных* улучшений можно, меняя *малозаметные* мелочи».

Акцентируя неэффективность западной помощи, Истерли пишет: «Две трагедии характерны для стран третьего мира. Первая трагедия — в том, что не хватает дешевых, доступных лекарств. Вторая трагедия — в том, что Запад потратил 2 триллиона 300 миллиардов на гуманитарную помощь этим странам, но африканские дети все еще не могут получить двенадцатицентное лекарство, спасающее от смерти при малярии, или четырехдолларовую москитную сетку над кроватью». Более 500 миллионов человек в мире ежегодно заболевают малярией, и 80 процентов смертей приходится на страны Африки. Самое эффективное средство — москитные сетки. В рамках помощи их в огромных количествах привозят туда, но... жители используют их как рыболовные сети или вместо свадебной фаты. И лишь в крошечном Малави, где сетки не бесплатно раздавались, а продавались по 50 центов, ими пользуются по назначению уже 55 процентов детей. Как просто — бесплатное не может быть хорошим, так ведь думают далеко не только африканцы! Принцип «бремени белого человека» все-таки может действовать в Африке, но едва ли на арабском Ближнем Востоке. Ежегодно туда уходят огромные деньги из Европы (и Америки), но их воспринимает вовсе не как помощь — либо как «возмещение ущерба, нанесенного европейским колониальным правлением» (оно продолжалось чуть больше двух десятилетий после Первой мировой войны, и за эти годы были созданы все нынешние государства региона — до того не было ни Ливана, ни Сирии, ни Ирака, ни Иордании), либо как просто положенную дань, которую платят завоевателям (!) вассальные государства. Именно этот аргумент, по мере радикализации ислама на Ближнем Востоке, выдвигается все чаще и служит одной из причин растущей наглости и агрессивности мусульманских параллельных сообществ в Европе. По сути дела, уже сейчас они выглядят в Европе как «внутренний враг», как «пятая колонна», вооруженная лозунгами радикальных исламистов о том, что Франция будет мусульманской, Рим падет под ударами ислама, да и многими подобными.

Европа встревожена. Что-то надо делать, но то, что хотелось бы сделать, лежит за пределами доминирующего в общественной элите представления о «правах личности». Нужно, вроде бы, ужесточать законы или хотя бы жестче, последовательнее применять существующие. Не получает-

ся – из боязни быть обвиненными в дискриминации или, не приведи Господь, в расизме. Спасительный выход – не сработала политика интеграции, нужно лучше преподавать язык и культуру, чтобы эмигранты не чувствовали себя чужими в принявшей их стране. И только очень редко раздаются протестующие возгласы: они же не хотят интегрироваться, они культуру турецкой или арабской деревни ставят куда выше великой европейской! Соответственно, центром культуры становится мечеть, поскольку эта культура неотъемлема от религии. И христианская Европа строит мечети, да в таких количествах, что скоро и вид древних церквей и соборов начнет оскорблять чувства праведных мусульман, и они потребуют их сноса.

Сколько раз и европейские политики, и американский президент, и Папа Римский повторяли: мы не против ислама, ислам – это религия мира! Доказательства противного мы видим каждый день в газетах, на экранах телевизоров. И сам собой встает вопрос: а действительно ли ислам так миролюбив, как это утверждают общающиеся с Европой мусульманские авторитеты и вторящие им лидеры Запада? Что ж, говорят, – почитайте Коран. И действительно, с самого почти начала – проповедь мира и социальной справедливости. Все ясно, дальше читать и смысла нет. Но мало кому известно, что суры Корана, призывающие к миру, больше не действуют, они отменены! Действует принцип «насха» (отмены), заложенный в самом Коране, – более ранние стихи отменяются более поздними. Мухаммед начинал Коран в Мекке, где его позиции были довольно слабыми – отсюда проповедь мира, просто как способа выживания. После бегства в Медину (хиджры), где ему удалось снискать множество воинственных сторонников, тон проповеди резко изменился. Мир – на меч. «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; когда же произведете великое избиение их, то укрепляйте узы. Либо милость потом, либо выкуп, пока война не сложит своих нош». Подобных пассажей много, и все они относятся к действующей в наши дни части Корана. В то же время мусульманские теологи, обращающиеся к западной аудитории, постоянно цитируют места, где говорится о мире, – места отмененные! Налицо явный обман, что, впрочем, не является чем-то зазорным для мусульман, имеющих дело с «неверными». Зазорным это является для европейцев, до сих пор не представляющих, с кем они имеют дело и кого они хотят «интегрировать», и с готовностью иметь своими соседями по стране, по городу, по улице, по дому. Прозрение наступает слишком медленно – но лишь бы не оказалось слишком поздно. Надежда есть – мужество европейских народов, их умение принимать верные, пусть жесткие, решения хорошо известно. Когда государственные мужи не способны на решительные шаги, их делает само общество. Наберемся терпения, будем ждать.

Продолжение следует

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Илья МИЛЬШТЕЙН

ПАРОДИИ

ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Журналистика – довольно точная наука. Вырваться за привычные рамки репортажа, рецензии, комментария, расследования нелегко. Да и нужно ли? Литературщина в моей профессии – это, как правило, отсутствие вкуса. Прозаические экзерсисы затемняют мысль. Однако порой устаешь от шаблонов.

Вдруг эти рамки становятся тесны. То ли событие случилось такого рода, что обычные клише не годятся. То ли отношение к случившемуся заставляет обращаться к иным средствам общения с читателем.

Тогда на помощь приходит литература. Точнее, жанр литературной пародии, в котором крошечный абсурд, с которым чаще всего имеет дело человек, пишущий о политике, отражается ярче и полней.

Размышляя о вещах страшных, типа ксенофобии или особенностей национальной борьбы с террором, устаешь от своих и чужих обличений. Высмеивая, освобождаешься от боли. И мир предстает не таким безнадежным, как на самом деле.

Июль 2001 года. Россия и мир читают второй том капитального труда Александра Солженицына «Двести лет вместе», посвященного двум векам совместного проживания в стране русских и евреев. Одновременно Александр Исаевич возвышает свой голос в защиту смертной казни.

Двести лет как жизни нет

Обоестороннее исследование русско-еврейских связей

Евреев мы всё бесперечь ругаем, а взглянуть бы по-доброму, без косноглазия и залыганья: так ли уж зловиновны иудеи российские в раскалённых красноязыких пожарах наших? Во всех ли бедах и горестных недомоганиях земель славянских змеится подлая тень мохнатохвостых раппопортов и циперовичей? Всегда ли в истории Российской гнездились лишь крючкотворные грязные лапы троцко-большевицких пригнётчиков?

Взглянем по-доброму.

Не всё и у нас ладно с разноравными пришельцами из песков сыпучих израильских. Рассмотрим хоть объёмно и равновесно историю погромов на нехристей чужестранных, распространившихся по-тараканьи по сочным чернозёмам Русской земли. Если не переклонно, но обоесторонне осветить нам этот калёный клин, то увидим: случались и такие, пусть мелкие, но досадительные происшествия. Метнём великодушно взор со стороны богопротивной: хорошо ли им жилось при погромах? Да не очень. Иным и не жилось даже вовсе.

А – и нам не жилось. Прочтём непомешливо полицейские рапорты тех безвозвратных лет: в них – Историей подтверждённая безукоризненная точность и отчётливая бесприемная правда. Внимем: «евреи г. Макашовска... в последнее время стали вести себя

прихотливо и гордо: плевали на Городовых, сталкивали офицерских Жён в Лужу, срывали погоны с Генералов-от-кавалерии и рисовали шестиконечную звезду на Церквах Православных и Синагогах Жидовских, всячески подчёркивая своё превосходство над мещанами Макашовского уезда». В другом таком же источнике находим, что «иудеи г. Молдаванка с крайним непотребством вели себя при Погроме, выплёскивая на мещан, вооружённых лишь Крестами и дрекольем, бутылки с серной Кислотой и крысиным Ядом». Не погрешим против истины, если ещё и добавим: аптеками в те годы традиционно владели евреи...

Вот и срединная линия, на которой утвердимся прочно и незлобно: и мы, и они повинны двести лет вместе. На возврате дыхания и сознания покаемся отдышливо: и они, сатанинские дети, и мы с дрекольем запальчивы были. И – доброты не в избытке у нас, если по совести, обоесторонне и без захоронок. С них-то, с нехристей, что взыть, а мы вот ошиблись маленько.

Но – малой мерой покаемся, не зачёрпывая через край. Ибо невподым им каяться вместе с нами: с их-то стороны одна лишь русофобия да «вековая испорченность русского народа». Покуда бесщётливо самоограничиваемся мы, они уж наготове со своими беззастенчивыми списками и перечнями. Если б одни погромы... Тут и потасканная процентная норма, и злопамятные выселения, и напористая черта оседлости, и облыжный наш антисемитизм.

Да в чём же? Возьмём хоть университеты русские, куда так стремились еврейчата (если б в армию так шли!). А спросить народ, так ведь и справедливо было: оградить коренное население от неравноправия, чтобы навязливые дети выкрестов не заповолонили высшие учебные заведения, вытеснив оттуда незатейливых крестьянских и купеческих детей. Если по-доброму, по-христиански подойти, так ведь сами понимать должны были и догадливо сидеть в местечках, не мечтая завистливо о науках бесплодных и не высываваясь носато. Или вот выселения: да, погнали пейсатых из Ялты в 1893, да разве (если по-доброму) не было нужды гнать? А царский дворец в Ливадии, по соображениям госбезопасности, разве не следовало освободить от угрозы иудейско-террористических покушений? Или не бродил поблизости с бомбой Шнеерсон? И скажем по-доброму (из последних сил): а – что ж не жилось-то евреям в черте оседлости, куда добронравно определил их Царь, что всё в университеты да в Крым, да в революцию лезли, из нищеты и тьмы вековой?.. За что ж они нас так не любили?

Но – вырвались к образованию, в Крым, в столичные города. И куда ж подались скопом, до последнего иудёныша? В бомбисты, в адвокаты да в журналисты, научились манипулировать общественным мнением, захватили не только аптеки, но и – газеты. Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло – видно нам, к чему невозбранно, при мягкости полицейской, призывали те адвокаты картавые, змеющиеся журналисты и аптекари с бомбами.

И так – до сегодня.

Теперь, когда докатились мы до Безбожной Демократии, кто громче всех славил и славит чёрные дела её? Кто, потакая бесстыдно ваучерам и скорохватам, расчубайсил скоморошливо и Чёрное море даже, растоптал границы, вывез немеряные капиталы? Кто истаскал язык наш, засоряя его бесщадно пустыми иноязычными словесами: «рейтинг», «пудинг», «греф», «маркетинг», «лизинг», «патриотизм»?.. А мы – и слова в ответ не скажи доброго, прямо ложись в гроб и помирай без покаяния. Худо вам жилось с нами? Да что-то много мягкой мебели с вашей стороны перетаскано, сервизов чайных, столового серебра, долларов в исподвольных коробках из-под множительных устройств, а у нас – всё степь да степь, да ржавым прерывистым звоном, как всегда, бьёт подъём – молотком об рельс у штабного барака.

Но – добрые будем, без переклона.

Вот спросим себя плюралистично: надо расстреливать чернявых, с бородами, безногих шнырей с адскими взрывными машинами? Мы их гуманистично, в ГУЛАГ на вечное поселение, они же смеются прямо в лицо, а – помазать лоб зелёной по-доброму – сразу притихнут и явки с гексогеном укажут все. Это не по теме, но вот по теме: много

друзей у меня было иудейского племени, с кем и сидел, а на воле – разошлись, антисемитом и изувером меня нарекли: так что ж, терпеть или уничтожить посмертно? Им-то злопечально, что не разглядели во мне раньше того, кем я был, а и – протёрли бы очки прежде. Взглянем обоесторонне их глазом чёрным. Покуда бегал слабый телёнок по дубовой роще, пострадали мне, а как вырос да разнёс весь лес к матери, выжег напалом – не посочувствовали доброте. Как и многим другим писателям, вставшим во весь рост запальчиво против разворота рек, перестройки, демократии, приватизации, засорения телеэкрана голой, неодухотворённой плотью; плевать стали против тех писателей, да – против ветра. Или вот текст, нередко публикуемый на заборах наших: «Бей жидов, спасай Россию!» – досадителен он для иудеев или не досадителен? А – взглядимся по-доброму. Что ж дурного в том, чтобы Россию спасти?

Двести лет совместной нашей истории – время итоги подвести и выводы делать. Безбоязненно правду сказать, в лоб, но по-доброму, понимая и свою раскалённую святую злобу, но и противную сторону, со всей её подлостью и слепотой. Простить по-божески, но и чтоб мало не показалось. Найти у них, змеиных выкидышей, ростки хорошего и выволочь на свет, да за грудки, да мордой в снег, да вподдых ногами: будешь с нами, как мы с тобой, по-доброму? И – простить, худого слова не сказав, только к стенке поставить, и чтоб стоял, отвернувшись, ещё двести лет и носа не показывал.

Не в силе Бог, а в стиле.

Февраль 2002 года. На зимней Олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде «засуживают» российских спортсменов. Взрыв негодования и патриотической активности в Москве и других городах. Ненависть к Америке и американцам зашкаливает все мыслимые пределы. В кругах, близких к кремлёвским, обеспокоены ростом ксенофобии в стране. Звучат призывы к терпимости.

Демократия!..

Широкомасштабные ядерные удары возмездия, нанесённые российской армией по североамериканскому континенту после завершения полуфинальных олимпийских хоккейных матчей, вызвали в нашем обществе противоречивую реакцию. С одной стороны, социологи отмечают резко возросший рейтинг президента и увеличение доверия электората к Вооружённым силам РФ. «Служить в армии снова становится престижно», – эта точка зрения разделяется большинством экспертов и представляется несомненной. Любовь к Родине, чувство патриотизма, уверенность в завтрашнем дне, поддержка реформаторского курса правительства, активное желание платить налоги – положительный ответ по всем этим позициям дали не только пожилые люди с низким уровнем дохода и образования, но и молодые граждане России – студенты, специалисты-выпускники вузов, предприниматели. Практически во всех возрастных и социальных группах наблюдается повышенный интерес к зимним видам спорта.

С другой стороны, столь важные для построения гражданского общества вопросы, как проблема смертной казни, свобода слова, религиозная терпимость, общественный контроль за деятельностью спецслужб пока ещё не встретили понимания у большинства россиян. Несмотря на то, что достижение этих целей поставил перед гражданами сам президент в начале своего обращения к гражданам сразу после нанесения ядерных ударов возмездия, большинство наших соотечественников не сочло решение этих задач жизненно важными для себя. Напротив, вчерашний расстрел иностранных членов Международного олимпийского комитета вызвал, согласно докладам с мест полномочных представителей президента, почти единодушные одобрителные отклики россиян. В многочисленных речах, прозвучавших сегодня во время митинга на Поклонной горе, где открыт сбор пожертвований на памятник Якобы Поскользнувшемуся Антону Сихарулидзе, звучали даже огорчившие Патриарха призывы расстрелять также и членов российского ОКР, мужскую лыжную сборную нашей страны и фигуриста Авербуха. Наблюдатели отмечают, что к этим запальчивым призывам присоединились и некоторые выступившие

там представители столичной власти, губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и военнослужащие. Отрадно, что должный отпор этим горе-патриотам дали принявшие участие в митинге лидеры «Единства» и Союза правых сил, которых чуть не убили.

Что говорить, построение гражданского общества, основанного на принципах либерализма и уважения к правам личности, идёт далеко не так гладко, как всем нам хотелось бы. Это особенно тревожит в нынешней ситуации, когда перед нашей экономикой в связи с резким укреплением курса рубля по отношению к исчезнувшей условной единице открылись поистине грандиозные перспективы. Объявленная вчера президентом цена российской нефти Urals (с доставкой в порты Средиземноморья) в размере \$1 млрд. за баррель не должна никого обманывать. После окончательного завершения спецоперации «Пьер де Кубертэн» и зачистки североамериканского континента нам все ещё грозит опасность остаться сырьевым придатком условного Запада, если мы не сумеем, воспользовавшись благоприятной экономической конъюнктурой, совершить мощный рывок в сторону рынка. А это невозможно без построения подлинно демократического государства, в котором диктатура закона и прав человека должны стать неотъемлемой частью политической культуры элит и простых граждан. О чем недвусмысленно сказал президент в конце своего обращения к россиянам по поводу нанесения ядерных ударов возмездия по североамериканскому континенту, целуя знамя.

И последнее. Как только что сообщил наш корреспондент, на состоявшемся сегодня в Старых Атагах заседании Совета безопасности ООН две из трёх шайб, забитых американцами в ворота хоккейной сборной России, не засчитаны. Допинг-контроль наконец-то выявил то, что было очевидно миллионам российских телезрителей: они ударились в штангу. Не засчитаны также шесть из семи шайб, забитых канадцами голкиперу белорусской команды. Дискуссия о седьмой шайбе проходит буквально в эти минуты. После короткой рекламной паузы мы сообщим вам результат этого матча. Оставайтесь с нами!

23 марта 2003 года. Президент Путин беседует по телефону с эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой Аль Тани. Если верить кремлёвской пресс-службе, речь идет о «дальнейшем развитии российско-катарских отношений», а также «о ситуации на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива».

Между тем у президента с эмиром имеются проблемы посерьёзней, чем Персидский залив. В катарской тюрьме ждут приговора суда российские чекисты, взорвавшие в Дохе, столице Катара, экс-президента Чечни Зелимхана Яндарбиева. В тюрьме российской томятся белорусско-катарские граждане, взятые в заложники после ареста россиян. Все попытки разрешить конфликт на уровне дипломатическом пока провалились. Жутковатые угрозы министра обороны РФ «всеми средствами» содействовать освобождению сотрудников ФСБ катарский эмир оставил без внимания.

Личный звонок Путина шейху – последняя попытка не доводить дело до суда. Сегодня мы уже знаем, что россияне были приговорены к пожизненному заключению, а затем выданы Кремлю. Но тогда, весной 2004-го, можно было лишь гадать о подробностях беседы президента с эмиром.

Последний звонок в Катар

Путин. Здравствуйте, господин эмир. Звоню вам, как и договорились наши помощники.

Эмир. Зейнаб, поди погуляй. И не забудь покормить павлинов.

Путин. Очень взрывоопасная ситуация создалась на Ближнем Востоке. Вы слышали, наверное, что в Палестине погиб шейх Ахмед Ясин. Прямо в своем автомобиле.

Эмир. Что, бомбу подложили?

Путин. Нет. Удар был нанесен с вертолёта ракетой с лазерным наведением. Вы знаете, что мы последовательно боремся против терроризма. Мы не ведём переговоров «Зарубежные записки» №10/2007

с террористами, мы их уничтожаем, где бы они не находились. Мочим, как вы, наверное, слышали. Но, как мне стало известно, арабский мир встревожен, и вот я хотел бы с вами обсудить создавшуюся ситуацию. В отличие от других террористов, покойный шейх был всё-таки инвалид. Жил у себя на родине, а не искал убежища в третьих странах, как некоторые негодяи. Вы со мной согласны?

Эмир. Евреи просто звери.

Путин. Это сложный вопрос. Я только говорю, что террористы бывают разные. Иных и не жалко, а вот честных, хороших ребят, которые с ними борются, рискуя жизнью, я бы оправдал.

Эмир. Вы про евреев?

Путин. Нет, я про ситуацию в Персидском заливе. Мы осуждаем американское вторжение в Ирак. Буш там еще замучается пыль глотать по подвалам, отыскивая партизан. Я слышал, американцы помогли вам в расследовании убийства этого... чеченца, как же его фамилия?... Да, Яндарбиев. Это был очень подлый и опасный враг российского и катарского народов.

Эмир (*помолчал*). Хочу поздравить вас, господин Путин, с убедительной победой на выборах. Уверен, что ваше избрание станет залогом дальнейшего поступательного развития катарско-российских отношений.

Путин. Вот об этом я как раз хотел с вами поговорить. Мы очень дорожим российско-катарскими отношениями. Это один из приоритетов нашей внешней политики. Так же считает и российский министр обороны. Поэтому хочу задать вам чисто дружеский вопрос: не требуется ли вам помощь от России? Не нужно ли денег для... к примеру, модернизации катарской экономики, на пенсионную реформу или реструктуризацию жилищно-коммунального хозяйства? Мы могли бы обсудить данный вопрос на взаимовыгодной основе.

Эмир. Да у меня этих денег, как нефти.

Путин. А просто так, в подарок? Нефтяные вышки нуждаются в постоянной модернизации.

Эмир. Вышки?

Путин. Вышки. Кстати, это слово в русском языке имеет два значения. Второе и самое главное – смертная казнь. У нас в России смертная казнь отменена.

Эмир. Да что вы? А как же тогда с террористами боретесь?

Путин. Я уже вам говорил: мы их уничтожаем. Где бы они ни находились: в горах, в ущельях или даже на ровной местности. Вот он едет по ровной местности на своем джипе...

Эмир. Да, я знаю. А у нас смертная казнь есть.

Путин (*помолчал*). И все же мне кажется, что у нас с вами довольно близкие взгляды и на ситуацию в Персидском заливе, и по поводу событий на Ближнем Востоке. Близость наших взглядов сыграет очень важную роль в дальнейшем развитии российско-катарских отношений.

Эмир. Я подумую.

Путин. Мы вам поможем, и вы нам поможете, а в ответ на вашу помощь мы охотно поможем вам.

Эмир. Я подумую.

Путин. Спортсменов ваших освободим. Хорошие ребята, настоящие борцы. Мне докладывали, что очень тоскуют по дому. И по белорусскому дому, и по катарскому. Могут помереть с тоски.

Эмир. Я подумую.

Путин. Министр обороны тут подсказывает мне, что у нас побольше ракет, чем у израильтян. Имеются также ядерные ракеты. Мы всегда готовы помочь своим друзьям, но беспощадны к врагам, в особенности – к пособникам мирового терроризма.

Эмир. Вы хотите мне продать ядерное оружие?

Путин. Я хочу вам помочь в борьбе с мировым терроризмом.

Эмир. Я подумаю.

Путин. Вы хорошо меня поняли? Тогда Auf Wiedersehen.

Эмир. Зарема, ты что так рано? Найди Зейнаб, спроси, она покормила павлинов? Господин Путин? Goodbye, я подумаю.

Июнь 2006 года. Автор гуляет по российским интернет-форумам, читает отклики на свои и чужие статьи, постепенно проникаясь мыслями и чувствами сограждан. Когда эти мысли и чувства доходят уже до горла, автор испытывает приступ вдохновения.

Ликвидация безграмотности *Сетевые дискуссии нулевых годов*

Группа политически активных русскоязычных граждан, разбросанных по миру. Они сидят перед компьютерами и, бурно жестикулируя, обсуждают неизвестную статью.

– **комментарий удалён.**

– Аффтар жжот! Еще давай!

– Жид поганый. Дочитать до конца не мог – такое говно.

– Непонятно, о чём автор пишет.

– Тебе, мудаку, всё непонятно.

– Телеграфный столб тебе в рот, шпион пиндосский!

– Простите, не совсем понял Вашу мысль.

– Распроитать твою мать, сучара позорная, парчивилка, гондон штопаный, продырявленный, снова штопаный, заграничный!..

– А можно еще раз и по буквам?

– **комментарий удалён.**

– ...блять!

– **комментарий удалён.**

– Статья в целом понравилась, жаль только, что автор недооценивает Моральных Аспектов Исторического Развития Нашей Цивилизации. Загляните на сайт www.istina.ua-ua, и вы сразу многое поймёте. Вам откроется Истина о Настоящей Жизни Сословия Нравственных Людей.

– Заколебал свой рекламой, уйди отсюда, кашенко, дай людям поговорить!

– Не уйду. Узнайте, люди, Истину о Настоящей Жизни Сословия Нравственных Людей. www.istina.ua-ua.

– **комментарий удалён.**

– Аффтар молодец!

– Тварь продажная. Сколько баксов у бёрезы огреб?

– Он гребёт у Ходора.

– У Невзлина сосёт.

– Ты на Лубянке больше отсасываешь.

– Поцелуйся со своей Лерой, какашка либерастическая!

– Поцелуйся с Геббельсом, фашистская гнида.

– Автор, за что вы не любите Путина?

– Он любит Путина.

– Он не любит Путина.

– Плевать ему на Путина.

– А мне на тебя плевать, урод вонючий.

– Ты как сюда пролез, уёбок смешной?

– Ты, козёл, кровью дристать за такие слова будешь!!!

– Пашёл нах, мандавошка смешная, едва видимая.

– Завтра!!! Завтра, козла кусок, возле аптеки на 6-й Строительной в 23.00!!! Я тебя зубами рвать буду!!!

- **комментарий удалён.**
- Завтра!!!
- **комментарий удалён.**
- Сегодня!!!
- Удивительное хамство и полнейшее бескультурие царит на этом сайте. Модератор, куда же Вы смотрите?
- В рот тебя с твоим модератором!!!
- Автор, за что вы не любите русских?
- Он любит русских.
- Он ненавидит всё русское.
- Зато любит русских.
- Это не русские.
- Я – русский.
- И ты не русский.
- Я – РРРУССКИЙ! СЛАВА РОССИИ!!!
- Тогда я не русский.
- Где вы, русские?
- **комментарий удалён.**
- **комментарий удалён.**
- **комментарий удалён.**
- **комментарий удалён.**

Группа политически активных русскоязычных граждан сгущается в толпу. Случайный прохожий, идущий мимо: «Мужики, о чём базар?»

- С луны свалился, пидор? Не знаешь: автор статью написал? Мы обсуждаем.
- А-а.
- Х... на.
- Извините. Так я пошел?
- Стой, гад. Ты чего про статью думаешь?
- Я не читал, мужики. Ребята, вы чего... пустите! Мужики, мне домой надо!
- Пока своего мнения не выскажешь – тут стоять будешь. Стой, высказывай.
- Не хочу.
- Хочешь.
- Пустите...
- И – ыыыхх!!!
- А-а!..
- Дай-ка я ногой его!
- А-а!..
- И – ыыыхх!!!
- Неграмотный, блять!
- Ненавижу неграмотных! Как увижу – убиваю на месте. Ликвидирую безграмотность, нах.
- Пятого уж замочили за этот месяц.
- А хули он статей не читает? Это неуважение к автору и к читающей России.
- Теперь уж и не прочтёт.
- Ну чо, по домам, что ли?
- До завтра, господа, до завтра. Есть сведения, автор ночью напишет новую статью.

Переключка с утра.

Расходятся. Слышны удаляющиеся по планете голоса группы политически активных русскоязычных граждан: «Дерьмо текст», «Читал – плевался», «Не, ништяк статья-то...», «Да, блин, от души нахерачил», «Молодец этот, как его... аффтар», «Только русских не любит», «... и чего не любит?»

19 августа 2006 года. Путинская Россия отмечает 15-летие Августовской революции. Среди её главных телегероев – бывшие путчисты. Складывается впечатление, что они победили.

Антиавгуст

Танки генерала Лебеда не без труда, но довольно быстро вытеснили с площади у Белого дома толпу хулиганов, наркоманов и алкоголиков. Прицельные залпы, автоматный огонь на поражение, аккуратная зачистка территории, ночная вахта поливальных машин, смывших кровь с мостовой, несколько сотен арестов наутро – и в столице нашей Родины снова стало тихо, как и повсюду в стране. Слухи о десятках тысяч погибших были опровергнуты в газетах: 15 убитых, около 40 раненых – вот и все так называемые людские потери. Напротив, похороны четырёх бойцов «Альфы», погибших в бою с охраной Ельцина, вылились в государственное траурное мероприятие. Посмертно бойцам было присвоено звание героев Советского Союза. О судьбе Ельцина и его окружения диктор ТВ сообщил коротко и сухо: предатели понесли заслуженное наказание.

Слухи о болезни М.С. Горбачёва, к сожалению, подтвердились: он скоропостижно скончался 23 августа, успев однако, согласно официальному заявлению пресс-службы ГКЧП, от всей души поддержать действия новой власти, направленные на сохранение СССР и защиту наших коммунистических идеалов от происков врагов и их пособников. Над гробом друга и соратника один из новых руководителей государства Анатолий Лукьянов произнёс прочувствованную, яркую речь. Перестройка продолжается, заявил он, по плану, начертанному незабвенным Михаилом Сергеевичем, но с некоторыми уточнениями.

Месяц подряд западные спецслужбы и советологи скрупулёзно анализировали новый словарь перестройки под руководством ГКЧП. «Прозрачность», «вертикаль власти», «суверенная демократия» – всё это были необычные, свежие слова, заставлявшие специалистов мучительно размышлять об особом пути России и загадочной русской душе. Потуги горе-мыслителей были бесплодными, а факт оставался фактом: многонациональный советский народ поддержал ГКЧП. С этим приходилось мириться.

Поэтому западные лидеры, выразив лицемерную озабоченность событиями в СССР, вскоре возобновили контакты с новыми советскими лидерами. Проблема заключалась лишь в том, кого из них приглашать в Вашингтон и Лондон. Исполняющий обязанности президента Геннадий Янаев быстро куда-то пропал: в народе говорили, что спился, причём в одной компании с отставленным премьер-министром Валентином Павловым. Через полгода исчез из Кремля и Анатолий Лукьянов – самый демократичный, по мнению экспертов, советский руководитель. В очередях сплетничали, что он удавился на осине: сплетников отлавливали и жестоко карали. В итоге коллективное руководство возглавил Владимир Крючков, назначенный президентом СССР на закрытом съезде Верховного Совета СССР. Тихий человек в очках, встретившись в Белом доме с президентом Бушем, сообщил ему, что Советский Союз останется предсказуемой, стабильной страной, в которой ядерные ракеты находятся под его неусыпным личным контролем. «А большего от вас и не требуется», – ответил американский президент, отводя взгляд, и крепко пожал ему руку.

ГКЧП победил. Народ ему аплодировал. Всё кончилось хорошо, и только одно было плохо: этот самый аплодирующий народ надо было ежедневно кормить. Но как-то не получалось. Полки магазинов, боровшихся за звание продовольственных, опустели ещё при Горбачёве и наполняться категорически не желали. Реформы, о которых визгливо кричали в августе предатели Родины, были явной изменой пострадавшей страной коммунистическому курсу, а кредитов на Западе больше не давали вообще. Попытка в очередной раз обменять еврейскую эмиграцию на зерно, к несчастью, провалилась. Зерно стоило очень дорого, а евреи в газетах и по телевизору упорно рассказывали о

том, как счастливы они жить в СССР и с каким бесконечным презрением относятся к горстке отщепенцев, желающих удрать из страны через закрытые границы.

Еще хуже было другое. Победив в Ираке, Запад больше ни с кем не желал воевать. В итоге цены на нефть упали до совсем уж катастрофических отметок. Америка сосредоточивалась, у нее не было в мире врагов, кроме СССР и её руководства. Подлая политика двойных стандартов сводилась к тому, что на словах западные руководители признавали Советский Союз, а на деле ничем не желали помочь ни ГКЧП, ни лично товарищу Крючкову. Ну, и в так называемой «свободной прессе» продолжали муссироваться клеветнические слухи о массовых убийствах в августе, о таинственном уходе любимого Горби, о жестокой цензуре в СССР и непрерывных якобы гонениях на инакомыслящих. Антисоветские радиостанции беспрепятственно доносили это враньё до слушателей: денег на глушилки тоже уже не было.

Любимая наша страна развалилась ровно через год – в августе 1992 года. Началось с голодных бунтов в средней полосе России, которые с каждым месяцем всё труднее было усмирять, чуть позже запылали Кавказ и Средняя Азия, за ними поднялась Украина, почему-то одновременно с Прибалтикой. Голодающая армия все чаще отказывалась применять оружие против своего народа, а тут подоспела и годовщина августа. Этим воспользовались чёрные от голода полковники КГБ, учинившие заговор против жирующей на последние деньги законной власти. Президент Крючков в женском платье улетел в Китайскую Народную Республику. В толпе хулиганов, наркоманов и алкоголиков, собравшихся у Белого дома, эта новость была встречена с возмутительным, глумливым ликованием.

Первый звонок новый руководитель сделал из Кремля в Вашингтон. «Меня зовут Владимир Владимирович, – сказал он сразу по-русски и по-немецки, поскольку английским ещё не владел. – Мы тут решили отменить цензуру, распустить СССР и отпустить евреев. Денег дадите?» – «А ядерные ракеты под контролем?» – спросил собеседник в Белом доме. – «Под моим неусыпным личным контролем», – ответил собеседник в Москве. Помолчали. «Дам», – выговорил наконец через переводчика президент США, твёрдо решив уволить директора ЦРУ и пошерстить его сотрудников: опять, дармоеды, проспали переворот в России. Хотя... Какая всё-таки таинственная, непредсказуемая страна и как тянется к свободе!

Сентябрь-октябрь 2006 года. В Грузии по обвинению в шпионаже арестованы, вскоре освобождены и высланы российские военнослужащие. В ответ – транспортная блокада Грузии, высылка грузинских граждан из России, массовая антигрузинская истерия в стране. Выступая на Совете безопасности РФ, президент Путин говорит о признаках правопреемства правительства Саакашвили по отношению к политике «Лаврентия Павловича Берии как внутри страны, так и на международной арене». Обращаясь к своим силовикам, он добавляет: «Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Так ли это на самом деле?»

Чёрное солнце пустыни

Саакашвили – преемник Берии. Конспирология в аду

Чёрное солнце, заходящее в аду в точном соответствии с кремлёвскими земными часами, постепенно пропадало за горизонтом. Стало посветлее, хотя источник света был, как всегда, непонятен. Старик с тигриными глазами, щёлкнув пультом, выключил телевизор и тяжелым взглядом уставился на соседа по вечности – старика в нелепом пенсне. Тот понурил голову и глубоко вздохнул. Старик с тигриными глазами молчал, всё так же неподвижно глядя на собеседника.

– Ай, попалась птичка, стой, не уйдёшь из сети, – нарушил наконец молчание старик с тигриными глазами, и старик в пенсне почувствовал, что у него задрожали пальцы.

Они уже пообвыклись в этом регионе ада, где грешников, повинных в преступлениях против человечества, поджаривали на медленном огне. Господь милосердный даровал им уже более полувека, лишь понемногу, да и то не каждый день, увеличивая температуру пустынной земли, на которой они сидели, приговорённые к посмертному заключению. По ночам прохладный ветерок всё еще заставлял их ёжиться и припадать к заскорузлой почве в поисках тепла. Старик в пенсне пал на землю, трясая дряблыми жирными щеками.

– Газету завтра принесут, – неторопливо продолжал старик с тигриными глазами, – но я и так запомнил, в общих чертах. Он сказал, что ты проводил политику как внутри страны, так и на международной арене. А этот чудесный грузин, пилять, как его... Саакашвили – твой правопреемник.

– Он сказал про признаки правопреемства, – уточнил старик в пенсне еле слышным голосом.

– Признаки, – согласился старик с тигриными глазами и вдруг заорал, – я тебе эти признаки из жопы вырву, на горло намотаю и жрать заставлю! Он в Кремле сидит! Он на архивах сидит! Он зря говорить не будет! Признавайся, пилять, когда и как ты проводил политику как внутри страны, так и на международной арене...

– После твоей смерти, Иосиф, – пробормотал старик в пенсне, – да и то недолго. Сам знаешь, дорогой.

– После того, как ты отравил меня, Лаврентий, и оставил умирать в говне и ссаках, – сказал Сталин и жёлтыми своими глазами вцепился в Берия. – Но он имел в виду другое. Он на архивах сидит. Он знает.

– Он ни хера не знает, – с дрожью в голосе возразил Берия. – Он тебя Тамерланом называл. Он Молотова с Риббентропом путает. Он пиво пил, когда историю проходили, сам признавался. Не верь ему, Иосиф.

Сталин разжёл трубку. Помолчали. Чёрное солнце совсем закатилось за горизонт, и белый таинственный свет воссиял над медленно подогреваемой пустыней.

– Я проводил политику, – молвил старик с тигриными глазами, – как внутри страны, – он приподнял трубку и подержал её в воздухе, усугубляя паузу, – так и на международной арене. Я решал, когда назначать Ежова и когда расстреливать Ежова. Когда начинать «разберивание» и когда кончать «разберивание». Когда дружить с Гитлером и когда дружить с Черчиллем. Когда критиковать Троцкого и когда бить его ледорубом по голове. Когда награждать тебя титулом маршала и когда расстреливать тебя, баран вонючий. Только я не успел. Ты опередил меня, британский шпион. Но товарищи за меня отомстили! Советские генералы пристрелили тебя, как бешеного пса!

Берия вдруг усмехнулся, сверкнув пенсне. Он прямо и просто взглянул на Сталина, садясь на корточки и подпирая подбородок жирными пальцами. Старик с тигриными глазами раскрыл от гнева рот и с ненавистью заглянул ему прямо в душу. Лаврентий Павлович Берия взора не отвёл.

– Я тоже не буду ждать завтрашней газеты, – проговорил он торжественно. – Я тоже запомнил, что он сказал, обращаясь к своим холуям. Враги думают, сказал он, что, находясь под крышей иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Ты понял, что он имел в виду, Иосиф?

– Не думай, что твой Путин умней меня, – раздражённо откликнулся Сталин. – Хадарковского полтора года сажал. Биризовского, Гусынского достать не может. На третий срок идти не хочет. Жыдов американских боится!

Старик в пенсне хлопнул в ладоши. Он внезапно вскочил с земли и снизу вверх поглядел на вождя. Он взмахнул в воздухе жирными пальцами.

– Кто не слеп, тот видит! – воскликнул Берия. – Когда мой Путин говорил про иностранных спонсоров, он имел в виду англичан и американцев. Он намекал на Саакашвили, который берёт подачки у своих заграничных хозяев. Он имел в виду, что твоего Саакашвили рано или поздно застрелит в тюремном подвале русский генерал. Как меня, – добавил он и передёрнулся.

– Саакашвили – это Берия сегодня? – уточнил Сталин, раздвинув усы в тихой улыбке.

– Ты понял! – радостно закричал старик в пенсне. – Он ведь ещё спросил, глядя на холуев, мол, так ли на самом деле, что его враги могут чувствовать себя комфортно и в безопасности? Он орёл, мой Путин! Высоко сидит, далеко глядит. Но всё равно, – сбавил тон человек в пенсне, – с тобой, конечно, никакого сравнения. Ты у нас всегда проводил политику как внутри страны, так и на международной арене. Ты, а не я.

Старик с тигриным взглядом долго молчал, посасывая трубку и глядя себе под ноги.

– Ладно, – сказал он наконец, – может, ты и прав. Но почему он тогда меня не назвал по имени? Почему тебя назвал? Разве меня тоже не разоблачили?

– А потому что тебя до сих любят его холуи, а меня не любят. При жизни не любили и после смерти не любят. Если бы он назвал тебя, то народ решил бы, что он по земле ползает перед этим Саакашвили. Как я перед тобой.

Старик с тигриным взглядом медленно поднялся и подошел к старику в пенсне. Он сунул погасшую трубку в карман кителя и похлопал по плечу старого товарища.

– Молодец, Лаврентий, – произнес он тихо и задушевно. – Опять выкрутился. Но скажи, зачем ты отравил меня той весной?

– Заколебал, генацвале, – окончательно развеселился человек в пенсне. – Столько лет прошло, всё помнишь ерунду какую-то... Лучше включи телевизор. Поглядим, как дальше дела пойдут. Я за Путина болеть буду, а ты за кого?

Чёрное солнце медленно поднималось на востоке. Исчезал таинственный свет. Наступало утро по кремлёвским земным часам. Пустыня погружалась во мрак. Принесли свежую газету. Господь милосердный, спустившись в райский подвал и перекрестившись, медленно повернул адский кран и прибавил тепла ещё на полградуса.

Коротко об авторах

Людмила Агеева Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

Аркадий Бартов Прозаик, драматург, эссеист. Родился в Ленинграде, закончил Ленинградский политехнический институт и Ленинградский госуниверситет. Печатался в самиздате Ленинграда, Москвы, Риги и в эмигрантских изданиях, затем в петербургских, московских, рижских, екатеринбургских журналах и ряде сборников и альманахов России и зарубежья. Вошел в «Антологию мирового рассказа» (Белград, 1992), антологию писателей ленинградского андерграунда «Коллекция» (Санкт-Петербург, 2004) и в антологию «Русский рассказ XX века» (Москва, 2005). В России вышло шесть книг. Переводился и печатался в Австрии, Германии, США, Франции, Израиле, Югославии, странах Балтии. Живет в Санкт-Петербурге.

Леонид Гиринович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, а с 1979 г. – в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обменные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Андрей Грязов Поэт. Родился в 1961 г. в г. Мары Туркменской ССР. Закончил в 1985 г. Киевский медицинский институт. Нейрорадиолог, кандидат медицинских наук. Автор семи поэтических книг и многих публикаций в журналах и антологиях России, Украины, США. Главный редактор альманаха «Каштановый дом». Редактор сайтов www.poezia.ru, www.stichi.ru. Живёт в Киеве.

Елена Елагина Поэт, литературный и арт-критик. Родилась в Ленинграде. Закончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Работала программистом, референтом в Союзе писателей, последние 13 лет – теле- и радиожурналист. Автор четырех стихотворных книг и множества публикаций. Лауреат нескольких литературных премий. Стихи переведены на несколько европейских языков. Живет в Санкт-Петербурге.

Евгений Кочанов Публицист-международник. Родился в 1943 году. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. Ломоносова. С 1968 года – сотрудник международного отдела Всесоюзного радио, с 1976 по 1993 гг. – корреспондент Советского (впоследствии Российского) телевидения и радио в странах Южной и Юго-Восточной Азии, печатался в московской и зарубежной периодике. С 2000 года живет в Германии (г. Бонн), регулярно печатается в русскоязычной периодике. Член Международного союза журналистов.

Леонид Левинзон Прозаик. Родился в 1958 году в Украине. По образованию врач. Публиковался в журнале “22” и в “Иерусалимском журнале”, автор книги “Ленинград-Иерусалим” (1997). Живёт в Иерусалиме.

Самуил Лурье Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе – имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

Илья Мильштейн Журналист, политолог. Родился в Москве в 1960 г. Выпускник факультета журналистики МГУ. Работал в журналах «Огонек», «Новое время». В Германии с 1997 г. Лауреат премии журнала «Огонек» за лучший материал года. Живет в Мюнхене.

Марина Палей Прозаик, переводчик, сценарист. Родилась в Ленинграде, закончила медицинский институт, работала врачом. В 1991 году с отличием закончила Литературный институт. Печатается с 1987 года. Автор восьми книг. Переведена на двенадцать языков. Финалист премий Букера (2000, роман «Ланч»), И. П. Белкина (2005, повесть «Хутор»), «Большая книга» (2006, роман «Клеменс»). Выступает в жанре one-person-show, соединяя свою лирику, фотографию и дизайн с классической и современной музыкой. С 1995 года живёт в Нидерландах.

Дина Рубина Прозаик. Родилась в Ташкенте, закончила консерваторию по классу фортепьяно. Публикуется с 16 лет. Автор множества книг, переведенных на семнадцать языков. Лауреат литературных премий. С 1990 года живет в Израиле.

Хаим Соколин Прозаик. По образованию геолог, доктор геолого-минералогических наук, международный консультант по разведке нефти. Автор многочисленных рассказов и очерков, а также документальной повести «Есть ли нефть в Израиле? Записки идеалиста» (издана на иврите в 1990 году, на русском – в 1998 году). Публикуется в израильских русскоязычных газетах, в журналах «Время и Мы» (США) и «Гамбургская мозаика» (Германия). Живет в Иерусалиме.

Игорь Сухих Родился в 1952 году в с. Волобуево Курской области. Окончил Ленинградский университет. Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета. Автор книг «Проблемы поэтики А. П. Чехова» (1987), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996), «Книги XX века. Русский канон» (2001), «Двадцать книг XX века» (2004) и многих статей о русской литературе и критике XIX – XX вв. Составитель и комментатор сборников Толстого, Чехова, Зощенко, Булгакова, Пастернака, Высоцкого, антологий русской критики о «Грозе», «Отцах и детях», «Войне и мире». Живет в Санкт-Петербурге.

Майя Туровская Писатель, культуролог, сценарист, театровед, киновед, классик отечественной театральной и кинокритики. Родилась в г. Харькове, с детских лет жила в Москве. В 1947 г. закончила филологический факультет МГУ, в 1948 – театроведческий факультет ГИТИСа, доктор искусствоведения. Автор нескольких киносценариев (в т.ч. соавтор всемирно известного «Обыкновенного фашизма»), множества книг, журнальных и газетных публикаций по истории и проблемам театра и кино. Лауреат международной премии Станиславского. Живёт в Мюнхене.

Борис Хазанов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1928 г. в Ленинграде. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Феликс Чечик Поэт. Родился в 1961 году в г. Пинске (Беларусь). Закончил Литературный институт им. Горького. Стажировался в Институте славистики Кёльнского университета. Автор двух поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Составитель антологии современной русской поэзии «Там звезды одни». (Kirsten Gutke Verlag Köln 2001 г.) Живёт в Израиле.

Борис Юдин Прозаик. Родился в 1949 году в Латвии. В 1996 году эмигрировал в США. Автор двух прозаических книг. Публиковался во многих периодических изданиях России и зарубежья. Живёт в Нью-Йорке.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 15.06.2007

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в одиннадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Александра Кабакова (Москва),
Александра Иличевского (Москва),
Леонида Гиршовича (Ганновер),
Владимира Порудоминского (Кёльн),
Георгия Нипана (Москва),
окончание романа Хаима Соколина «Серая зона» (Иерусалим)

Стихи

Владимира Салимона (Москва),
Владимира Губайловского (Москва),
Евгения Минина (Иерусалим)

Публицистику и эссеистику

Елены Елагиной (Санкт-Петербург),
Бориса Хазанова (Мюнхен),
Марка Харитоновна (Москва),
Владимира Кантора (Москва)

и другие интересные материалы

